

Честертон Гилберт Кийт Рассказы о патере Брауне

СЛОМАННАЯ ШПАГА

Тысячи рук леса были серыми, а миллионы его пальцев — серебряными. В синезелёном сланцевом небе, как осколки льда, холодным светом мерцали звёзды. Весь этот лесистый и пустынный край был скован жестоким морозом. Чернью промежутки между стволами деревьев зияли бездонными чёрными пещерами неумолимого скандинавского ада — ада безмерного холода¹. Даже прямоугольная каменная башня церкви была обращена на север, как языческие постройки, и походила на вышку, сложенную первобытными племенами в прибрежных скалах Исландии. Ничто не располагало в такую ночь к осмотру кладбища. И всё-таки, пожалуй, его стоило осмотреть.

Кладбище лежало на холме, который вздымался над пепельными пустынями леса наподобие горба или плеча, покрытого серым при звёздном свете дёрном. Большинство могил расположено было по склону, тропа, взбегавшая к церкви, крутизною напоминала лестницу. На приплюснутой вершине холма, в самом заметном месте, стоял памятник, который прославил всю округу. Он резко выделялся среди неприметных могил, ибо создал его один из величайших скульпторов современной Европы, однако слава художника померкла в блеске славы того, чей образ он воссоздал.

Звёздный свет очерчивал своим серебряным карандашом массивную металлическую фигуру простёртого на земле солдата, сильные руки были сложены в вечной мольбе, а большая голова покоилась на ружье. Исполненное достоинства лицо обрамляла борода, вернее, бакенбарды в старомодном, тяжеловесном вкусе служаки-полковника. Мундир, намеченный несколькими скупыми деталями, был обычной формой современных войск. Справа лежала шпага с отломанным концом, слева — Библия. В солнечные летние дни сюда наезжали в переполненных линейках американцы и просвещённые местные жители, чтобы осмотреть памятник. Но даже и в такие дни их угнетала необычайная тишина одинокого круглого холма, заброшенного кладбища и церкви, возвышавшихся над чащами.

В эту тёмную морозную ночь, казалось, каждый бы мог ожидать, что останется наедине со звёздами. Но вот в тишине застывших лесов скрипнула деревянная калитка: по тропинке к памятнику солдата поднимались две смутно чернеющие фигуры. При тусклом холодном свете звёзд видно было только, что оба путника в чёрных одеждах и что один из них непомерно велик, а другой (возможно, по контрасту) удивительно мал. Они подошли к надгробью знаменитого воина и несколько минут разглядывали его. Вокруг не было ни единого живого существа; человек с болезненно-мрачной фантазией мог бы даже усомниться, смертен ли он сам. Начало их разговора, во всяком случае, было весьма странным. После минутного молчания маленький путник сказал большому:

— Где умный человек прячет камешек?

И большой тихо ответил:

— На морском берегу.

Маленький кивнул головой и, немного помолчав, снова спросил:

— А где умный человек прячет лист?

И большой ответил:

— В лесу.

Опять наступила тишина, затем большой заговорил снова:

— А когда умному человеку понадобилось спрятать настоящий алмаз, он спрятал его среди поддельных, — вы намекаете на это, не правда ли?

¹ По скандинавским поверьям, ад — место, где царствует холод.

— Нет, нет, — смеясь, возразил маленький, — не будем поминать старое.

Он потопал замёрзшими ногами и продолжал:

— Я думаю не об этом, о другом, о совсем необычном. А ну-ка, зажгите спичку.

Большой порылся в кармане, вскоре чиркнула спичка, и пламя её окрасило жёлтым светом плоскую грань памятника. На ней чёрными буквами были высечены хорошо известные слова, с благоговением прочитанные толпами американцев.

**В священную память
ГЕНЕРАЛА СЭРА АРТУРА СЕНТ-КЛЭРА,
героя и мученика, всегда побеждавшего своих
врагов и всегда щадившего их, но предательски
сраженного ими. Да вознаградит его господь,
на которого он уповал, и да отметит за его гибель.**

Спичка обожгла большому пальцы, почернела и упала. Он хотел зажечь ещё одну, но товарищ остановил его:

— Не надо, Фламбо, я видел всё, что хотел. Точнее сказать, не видел того, чего не хотел. А теперь нам предстоит пройти полторы мили до ближайшей гостиницы; там я расскажу вам обо всем. Видит бог, только за кружкой эля у камелька осмелишься рассказать такую историю.

Они спустились по обрывистой тропе, заперли ветхую калитку и, звонко топая, зашагали по мёрзлой лесной дороге. Они прошли не меньше четверти мили, прежде чем маленький заговорил снова

— Умный человек прячет камешек на морском берегу, — сказал он. — Но что ему делать, если берега нет? Знаете ли вы что-нибудь о несчастье, постигшем прославленного Сент-Клэра?

— Об английских генералах я ничего не знаю, отец Браун, — рассмеявшись, ответил большой, — только немного знаком с английскими полицейскими. Зато я отлично знаю, какую уйму времени потратил, таскаясь с вами по всем местам, связанным с именем этого молодца, кто бы он ни был. Можно подумать, его похоронили в шести разных могилах. В Вестминстерском аббатстве я видел памятник генералу Сент-Клэру. На набережной Темзы — статую генерала Сент-Клэра на вздыбленном коне. Один барельеф генерала Сент-Клэра я видел на улице, где он жил, другой — на улице, где он родился, а теперь, в глухую полночь, вы притащили меня на это сельское кладбище. Эта блистательная особа начинает мне чуточку надоедать, тем более что я понятия не имею, кто он такой. Что вы так упорно разыскиваете среди всех этих склепов и изваяний?

— Я ищу одно слово, — сказал отец Браун, — слово, которого здесь нет.

— Может быть, вы что-нибудь расскажете? — спросил Фламбо.

— Свой рассказ мне придётся разделить на две части, — заметил священник, — первая часть — это то, что знают все, вторая — то, что знаю только я. Первую можно изложить коротко и ясно. Но она далека от истины.

— Прекрасно, — весело сказал большой человек, которого звали Фламбо. — Давайте начнём с того, что знают все, — с неправды.

— Если это и не совсем ложно, то, во всяком случае, мало соответствует истине, — продолжал отец Браун. — В сущности, всё, что известно широкой публике, сводится к следующему... Ей известно, что Артур Сент-Клэр был выдающимся английским генералом. Известно, что после ряда блестящих, хотя и достаточно осторожных кампаний в Индии и в Африке он был назначен командующим войсками, сражавшимися против бразильцев, когда Оливье, великий бразильский патриот, предъявил свой ультиматум. Известно, что Сент-Клэр незначительными силами атаковал Оливье, у которого были превосходящие силы, и после героического сопротивления был захвачен в плен. Известно также, что после своего

пленения генерал, к негодованию всего цивилизованного человечества, был повешен на ближайшем дереве. После ухода бразильцев его нашли в петле, на шее у него висела поломанная шпага.

— И эта версия неверна? — поинтересовался Фламбо.

— Нет, — спокойно сказал его приятель, — всё, что я успел рассказать, верно.

— Мне кажется, вы успели рассказать довольно много, — сказал Фламбо. — Если это верно, то в чём же тайна?

Они миновали много сотен серых, похожих на призраки деревьев, прежде чем священник ответил. Задумчиво покусывая палец, он сказал:

— Тайна тут — в психологии, вернее сказать, в двух психологиях. В этом бразильском деле двое знаменитейших людей современности действовали вопреки своему характеру. Заметьте, оба они, Оливье и Сент-Клэр, были героями — в этом не приходится сомневаться. Это был поединок между Ахиллом и Гектором. Что бы вы сказали о схватке, в которой Ахилл оказался бы нерешительным, а Гектор предателем?

— Продолжайте, — нетерпеливо промолвил Фламбо, когда рассказчик снова начал покусывать палец.

— Сэр Артур Сент-Клэр был солдатом старого религиозного склада, одним из тех, кто спас нас во время Большого бунта², — продолжал Браун. — Превыше всего для него был долг, а не показная храбрость. При всей своей личной отваге он был, безусловно, осторожным военачальником и особенно негодовал, узнавая о бесполезных потерях живой силы. Однако в этой последней битве он предпринял действия, нелепость которых очевидна даже ребёнку. Не надо быть стратегом, чтобы понять всю безрассудность его затеи, как не надо быть стратегом, чтобы не попасть под автобус. Вот первая тайна: что случилось с разумом английского генерала? Вторая загадка: что случилось с сердцем бразильского генерала? Президента Оливье можно называть мечтателем или опасным фанатиком, но даже его враги признавали, что он великодушен, как странствующий рыцарь. Он отпускал на свободу почти всех, кто когда-либо попадал к нему в плен, а многих даже осыпал знаками своей милости. Люди, которые причинили ему бесспорное зло, уходили, тронутые его простотой и добросердечием. Зачем же, чёрт возьми, решился он впервые в своей жизни на такую дьявольскую месть, да ещё за нападение, которое не могло ему повредить? Вот в чём тайна. Один из разумнейших людей на свете без всякого основания поступил как идиот. Один из великодушнейших людей на свете без всякого основания поступил как изверг. Вот и всё. Об остальном, мой друг, вы можете догадаться сами.

— Э, нет, — ответил его спутник, фыркнув. — Я предоставляю это вам. Расскажите-ка мне обо всём.

— Тогда слушайте, — начал отец Браун. — Было бы несправедливо утверждать, будто все сведения исчерпываются тем, что я рассказал, и обойти молчанием два сравнительно недавних события. Нельзя сказать, чтобы они пролили свет на это дело, ибо никто не может уяснить себе их значения. Но, если так можно выразиться, они ещё более затемнили его; обнаружились новые, покрытые мраком обстоятельства. Первое событие. Врач Сент-Клэров рассорился с этим семейством и начал публиковать целую серию резких статей, в которых доказывает, что покойный генерал был религиозным маньяком; впрочем, поскольку можно судить по его собственным словам, это означает лишь чрезмерную религиозность. Как бы то ни было, его нападки кончились ничем. Разумеется, все и так знали, что Сент-Клэр был излишне строг в своём пуританском благочестии. Второе происшествие заслуживает большего внимания: в злосчастном, лишённом поддержки полку, который бросился в отчаянную атаку у Чёрной реки, служил некий капитан Кийт; в то время он был помолвлен с дочерью генерала и впоследствии на ней женился. Он был среди тех, кто попал в плен к Оливье; надо думать, что с ним, как и со всеми остальными, кроме генерала, обошлись

² Имеется в виду индийское национальное восстание 1857 – 1859 гг.

великодушно и вскоре отпустили на свободу. Около двадцати лет спустя Кийт — теперь уже полковник — выпустил в свет нечто вроде автобиографии, озаглавленной «Британский офицер в Бирме и Бразилии». В том месте книги, где читатель жадно ищет сведений о причинах поражения Сент-Клэра, он находит следующие слова:

«Везде в своей книге я описывал события точно так, как они происходили в действительности, придерживаясь того устарелого взгляда, что слава Англии не нуждается в прикрасах. Исключение из этого правила я делаю только для поражения при Чёрной реке. Для этого у меня есть основания, хотя и личные, но вполне добропорядочные и чрезвычайно веские. Однако, чтобы отдать должное памяти двух выдающихся людей, я добавлю несколько слов. Генерала Сент-Клэра обвиняли в бездарности, которую он якобы проявил в этом сражении: могу засвидетельствовать, что его действия — если только их правильно понимать — едва ли не самые талантливые и дальновидные в его жизни. По тем же источникам президент Оливье обвиняется в чудовищной несправедливости. Считаю своим долгом восстановить честь врага, заявив, что в данном случае он проявил даже больше добросердечия, чем обычно. Изъясняясь понятнее, хочу заверить своих соотечественников в том, что Сент-Клэр вовсе не был таким глупцом, а Оливье таким злодеем, какими их изображают. Вот всё, что я могу сообщить, и никакие земные побуждения не заставят меня прибавить ни слова».

Большая замёрзшая луна, похожая на блестящий снежный ком, проглядывала сквозь путаницу ветвей, и при её свете рассказчик, чтобы освежить память, заглянул в клочок бумаги, вырванный из книги капитана Кийта. Когда он сложил и убрал его в карман, Фламбо вскинул руку — жест, свойственный экспансивным французам.

— Минутку, обождите минутку! — закричал он возбуждённо. — Мне кажется, я догадываюсь.

Он шёл большими шагами, тяжело дыша, вытянув вперёд бычью шею, как спортсмен, участвующий в состязаниях по ходьбе. Священник — повеселевший и заинтересованный — семенил сбоку, едва поспевая за ним. Деревья расступились. Дорога сбегала вниз по залитой лунным светом поляне и, точно кролик, ныряла в стоявший сплошной стеной лес. Издали вход в этот лес казался маленьким и круглым, как чёрная дыра железнодорожного туннеля. Но когда Фламбо заговорил снова, отверстие было всего в нескольких сотнях ярдов от путников и зияло, как пещера.

— Понял! — вскричал он, ударяя ручищей по бедру. — Четыре минуты размышлений — и теперь я сам могу изложить всё происшедшее.

— Отлично, — согласился его друг, — рассказывайте.

Фламбо поднял голову, но понизил голос.

— Генерал Артур Сент-Клэр, — сказал он, — происходил из семьи, страдавшей наследственным сумасшествием. Он во что бы то ни стало хотел скрыть это от своей дочери и даже, если возможно, от будущего зятя. Верно или нет, но он думал, что наступает час полного затмения рассудка, и потому решил покончить с собой. Обычное самоубийство привело бы к огласке, которой он так страшился. Когда начались военные действия, разум его помутился, и в приступе безумия он пожертвовал общественным долгом ради своей личной чести. Генерал стремительно бросился в битву, рассчитывая пасть от первого же выстрела. Но когда он обнаружил, что не добился ничего, кроме позора и плена, безумие, как взрыв бомбы, поразило его сознание, он сломал собственную шпагу и повесился.

Фламбо уставился на серую стену леса с единственным чёрным отверстием, похожим на могильную яму, — туда ныряла их тропа. Должно быть, в том, что дорогу проглатывал лес, было что-то жуткое, он ещё ярче представил себе трагедию и вздрогнул.

— Страшная история, — проговорил он.

— Страшная история, — наклонив голову, подтвердил священник. — Но на самом деле произошло совсем другое. — В отчаянии откинув голову, он воскликнул: — О, если бы всё

было так, как вы описали!

Фламбо повернулся и посмотрел на него с удивлением.

— В том, что вы рассказали, нет ничего дурного, — глубоко взволнованный, заметил отец Браун. — Это рассказ о хорошем, честном, бескорыстном человеке, светлый и ясный, как эта луна. Сумасшествие и отчаяние заслуживают снисхождения. Всё значительно хуже.

Фламбо бросил испуганный взгляд на луну, которую отец Браун только что упомянул в своём сравнении, — её пересекал изогнутый чёрный сук, похожий на рог дьявола.

— Отец, отец! — с порывистым жестом вскричал Фламбо и быстрее зашагал вперёд. — Ещё хуже?

— Ещё хуже, — как эхо, мрачно откликнулся священник.

И они вступили в чёрную галерею леса, словно задёрнутую по бокам дымчатым гобеленом стволов, — такие тёмные проходы могут привидеться разве что в кошмаре.

Вскоре они достигли самых потаённых недр леса, здесь ветвей уже не было видно, путники только чувствовали их прикосновение. И снова раздался голос священника:

— Где умный человек прячет лист? В лесу. Но что ему делать, если леса нет?

— Да, да, — отозвался Фламбо раздражённо, — что ему делать?

— Он сажает лес, чтобы спрятать лист, — сказал священник приглушённым голосом. — Страшный грех!

— Послушайте! — воскликнул его товарищ нетерпеливо, так как тёмный лес и тёмные недомолвки стали действовать ему на нервы. — Расскажите вы эту историю или нет? Что вы ещё знаете?

— У меня имеются три свидетельских показания, — начал его собеседник, — которые я отыскал с немалым трудом. Я расскажу о них скорее в логической, чем в хронологической последовательности. Прежде всего о ходе и результате битвы сообщается в донесениях самого Оливье, которые достаточно ясны. Он вместе с двумя-тремя полками окопался на высотах у Чёрной реки, оба берега которой заболочены. На противоположном берегу, где местность поднималась более отлого, располагался первый английский аванпост. Основные части находились в тылу, на значительном от него расстоянии. Британские войска во много раз превосходили по численности бразильские, но этот передовой полк настолько оторвался от базы, что Оливье уже обдумывал план переправы через реку, чтобы отрезать его. Однако к вечеру он решил остаться на прежней позиции, исключительно выгодной. На рассвете следующего дня он был ошеломлен, увидев, что отбившаяся, лишённая поддержки с тыла горсточка англичан переправляется через реку — частично по мосту, частично вброд — и группируется на болотистом берегу, чуть ниже того места, где находились его войска.

То, что англичане с такими силами решились на атаку, было само по себе невероятным, но Оливье увидел нечто ещё более поразительное. Солдаты сумасшедшего полка, своей безрассудной переправой через реку отрезавшие себе путь к отступлению, даже не пытались выбраться на твёрдую почву, они бездействовали, завязнув в болоте, как мухи в патоке. Не стоит и говорить, что бразильцы пробили своей артиллерией большие бреши в рядах врагов; англичане могли противопоставить ей лишь оживлённый, но слабеющий ружейный огонь. И всё-таки они не дрогнули, краткий рапорт Оливье заканчивается горячим восхищением загадочной отвагой этих безумцев.

«Затем мы стали продвигаться вперёд развёрнутым строем, — пишет Оливье, — и загнали их в реку: мы взяли в плен самого генерала Сент-Клэра и нескольких других офицеров. Полковник и майор — оба пали в этом сражении. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что история видела не много таких прекрасных зрелищ, как последний бой этого доблестного полка; раненые офицеры подбирали ружья убитых солдат, сам генерал сражался на коне, с непокрытой головой, шпага его была сломана».

О том, что случилось с генералом позднее, Оливье умалчивает, как и капитан Кийт.

— А теперь, — проворчал Фламбо, — расскажите мне о следующем показании.

— Чтобы разыскать его, — сказал отец Браун, — мне пришлось потратить много времени, но рассказ о нём будет короток. В одной из линкольнширских богаделен мне удалось найти старого солдата, который был не только ранен у Чёрной реки, но стоял на коленях перед командиром части, когда тот умирал. Этот последний, некий полковник Кланси, здоровеннейший ирландец, надо думать, умер не столько от ран, сколько от ярости. Он-то, во всяком случае, не несёт ответственности за нелепую вылазку, — вероятно, она была навязана ему генералом. Солдат передал мне предсмертные слова полковника: «Вон едет проклятый старый осёл. Жаль, что он сломал шпагу, а не голову». Обратите внимание, все замечают эту шпагу, хотя большинство людей выражается о ней более почтительно, чем покойный полковник Кланси. Перехожу к последнему показанию...

Тропа, идущая сквозь лесную чащу, стала подниматься вверх, и священник остановился, чтобы передохнуть, прежде чем возобновить рассказ.

Затем он продолжал тем же деловым тоном:

— Всего один или два месяца назад в Англии скончался высокопоставленный бразильский чиновник. Поссорившись с Оливье, он уехал из родной страны. Это была хорошо известная личность как здесь, так и на континенте, — испанец по фамилии Эспадо, желтолицый крючконосый щёголь; я был с ним лично знаком. По некоторым причинам частного порядка я добился разрешения просмотреть оставшиеся после него бумаги. Разумеется, он был католиком, и я находился с ним до самой кончины. Среди его бумаг не нашлось ничего, что могло бы осветить тёмные места сент-клэровского дела, за исключением пяти-шести школьных тетрадей, оказавшихся дневником какого-то английского солдата. Я могу только предположить, что он был найден бразильцами на одном из убитых. К сожалению, записи обрываются накануне стычки.

Но описание последнего дня в жизни этого бедного малого, несомненно, стоит прочесть. Оно при мне, но сейчас так темно, что ничего не разобрать. Перескажу его вкратце. Первая часть наполнена шуточками, которые, как видно, были в ходу у солдат, по адресу одного человека, прозванного Стервятником. Кто он, сказать трудно; по-видимому, он не принадлежал к их рядам и даже не был англичанином. Не говорят о нём и как о враге. Скорее всего, это был какой-то нейтральный посредник из местных жителей, возможно, проводник или журналист. Он о чём-то совещался наедине со старым полковником Кланси, но значительно чаще видели, как он беседует с майором. Этот майор занимает видное место в повествовании моего солдата. По описанию, это был худощавый темноволосый человек по фамилии Меррей, пуританин, родом из Северной Ирландии. Во многих остротах суровость этого олстерца противопоставляется общительности полковника Кланси. Встречаются также словечки, высмеивающие яркую и пёструю одежду Стервятника.

Но все это легкомыслие рассеивается при первых признаках тревоги. Позади английского лагеря, почти параллельно реке, проходила одна из немногочисленных больших дорог. На западе она сворачивала к реке, пересекая её по мосту. К востоку дорога снова углублялась в дикие лесные заросли, а двумя милями дальше стоял следующий английский аванпост. В тот вечер солдаты заметили в этом направлении блеск оружия и услышали топот лёгкой кавалерии; даже неискушённый автор дневника догадался, что едет генерал со своим штабом. Он восседал на большом белом коне, которого мы часто видели в иллюстрированных газетах и на академических полотнах. Можете не сомневаться, что приветствие, которым его встретили солдаты, было не пустой церемонией. Сам он между тем не тратил времени на церемонии: соскочив с седла, он присоединился к группе офицеров и принялся оживлённо и конфиденциально беседовать с ними. Наш друг, автор дневника, заметил, что генерал охотнее всего обсуждает дела с майором Мерреем, но такое предпочтение, пока оно не стало подчёркнутым, казалось вполне естественным. Эти люди были словно созданы, для взаимного понимания: оба они, как говорится, «читали свои библии», оба были офицерами старого евангелического толка. Во всяком случае, достоверно, что когда генерал снова садился в седло, он продолжал серьёзный разговор с Мерреем, а когда пустил лошадь медленным шагом по дороге, высокий олстерец все ещё шёл у повода

коня, поглощённый беседой. Солдаты наблюдали за ними, пока они не скрылись в небольшой рощице, где дорога поворачивала к реке. Полковник Кланси возвратился к себе в палатку, солдаты отправились на посты, автор дневника задержался ещё на несколько минут и увидел изумительное зрелище.

Прямо по направлению к лагерю нёсся большой белый конь, который только что, словно на параде, медленно выступал по дороге. Он летел стрелой, точно приближаясь на скачках к финишу. Сперва солдаты подумали, что он сбросил седока, но скоро увидели, что это сам генерал — превосходный наездник — гнал его во весь опор. Конь и всадник вихрем подлетели к солдатам; круто осадив скакуна, генерал повернул к ним лицо, от которого, казалось, исходило пламя, и голосом, подобным звукам трубы в день Страшного суда, потребовал к себе полковника.

Замечу, кстати, что в головах таких людей, как наш солдат, потрясающие события этой катастрофы громоздятся друг на друга, словно груда брёвен. Не успев опомниться после сна, солдаты становятся, едва не падая, в строй и узнают, что должны немедленно переправиться через реку и начать атаку. Им сообщают: генерал и майор обнаружили что-то у моста, и теперь для спасения жизни остаётся одно: незамедлительно напасть на врага. Майор срочно отправился в тыл вызвать резервы, стоящие у дороги. Однако сомнительно, чтобы подкрепления подошли вовремя, даже несмотря на спешку. Ночью полк должен форсировать реку и к утру овладеть высотами. Этой тревожной и волнующей картиной романтического ночного марша дневник внезапно заканчивается...

Лесная тропа делалась всё уже, круче и извилистей, пока не стала походить на винтовую лестницу. Отец Браун шёл впереди, и теперь его голос доносился сверху.

— Там упоминается ещё об одной небольшой, но очень важной подробности. Когда генерал призывал их к атаке, он наполовину вытащил шпагу из ножен, но потом, устыдившись своего мелодраматического порыва, вдвинул её обратно. Как видите, опять эта шпага!

Слабый полусвет прорывался сквозь сплетение сучьев над головами путников и отбрасывал к их ногам призрачную сеть: они снова приближались к тусклому свету открытого неба. Истина окутывала Фламбо, как воздух, но он не мог выразить её. Он ответил в замешательстве:

— Что же тут особенного? Офицеры обычно носят шпаги, не так ли?

— В современной войне о них не часто упоминают, — бесстрастно произнёс рассказчик, — но в этом деле повсюду натыкаешься на проклятую шпагу.

— Ну и что же из этого? — пробурчал Фламбо. — Дешевая сенсация: шпага старого воина ломается в его последней битве. Готов побиться об заклад, что газеты прямо-таки набросились на этот случай. На всех этих гробницах и тому подобных штуках шпагу генерала всегда изображают с отломанным концом. Надеюсь, вы потащили меня в эту полярную экспедицию не только из-за того, что два романтически настроенных человека видели сломанную шпагу Сент-Клэра?

— Нет! — голос отца Брауна прозвучал резко, как револьверный выстрел. — Но кто видел шпагу целой?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул его спутник и остановился как вкопанный.

Они не заметили, как вышли из серых ворот леса на открытое место.

— Я спрашиваю, кто видел его шпагу целой? — настойчиво повторил отец Браун. — Только не тот, кто писал дневник: генерал вовремя убрал её в ножны.

Освещённый лунным сиянием, Фламбо огляделся вокруг невидящим взглядом: так человек, поражённый слепотой, смотрит на солнце, — а его товарищ, в голосе которого впервые зазвучали страстные нотки, продолжал:

— Даже обыскав все эти могилы, Фламбо, я ничего не могу доказать. Но я уверен в своей правоте. Разрешите мне добавить к своему рассказу одну небольшую подробность, которая переворачивает всё вверх дном. По странной случайности одним из первых пуля поразила полковника. Он был ранен задолго до того, как войска вошли в непосредственное

соприкосновение. Но он видел уже сломанную шпагу Сент-Клэра. Почему она была сломана? Как она была сломана? Мой друг, она сломалась ещё до сражения!

— О! — заметил его товарищ с напускной весёлостью. — А где же отломанный кусок?

— Могу вам ответить, — быстро сказал священник, — в северо-восточном углу кладбища при протестантском соборе в Белфасте.

— В самом деле? — переспросил его собеседник. — Вы уже искали его там?

— Это невозможно, — с искренним сожалением ответил Браун. — Над ним находится большой мраморный памятник — памятник майору Меррею, который пал смертью храбрых в знаменитой битве при Чёрной реке.

Казалось, по телу Фламбо пробежал гальванический ток.

— Вы хотите сказать, — сиплым голосом воскликнул он, — что генерал Сент-Клэр ненавидел Меррея и убил его на поле сражения, потому что...

— Вы все ещё полны чистых, благородных предположений, — сказал священник. — Всё было гораздо хуже.

— В таком случае, — сказал большой человек, — запас моего дурного воображения истощился.

Священник, видимо, раздумывал, с чего начать, и наконец сказал:

— Где умный человек прячет лист? В лесу.

Фламбо молчал.

— Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мёртвый лист, он сажает мёртвый лес.

Ответа опять не последовало, и священник добавил ещё мягче и тише:

— А если ему надо спрятать мёртвое тело, он прячет его под грудой мёртвых тел.

Фламбо шагал вперёд так, словно малейшая задержка во времени или пространстве была ему ненавистна, но отец Браун продолжал говорить, развивая свою последнюю мысль.

— Сэр Артур Сент-Клэр, как я уже упоминал, был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано всё. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки; мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги — только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада. Подумайте, что это может означать, и, ради всего святого, отбросьте ханжество! Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете всё, что хотел найти, похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своём поклонении бесчестности?

В каждой из таинственных знойных стран, где довелось побывать этому человеку, он заводил гарем, пытал свидетелей, накапливал грязное золото. Конечно, он сказал бы с открытым взором, что делает это во славу господина. Я выражу свои сокровенные убеждения, если спрошу: какого господина? Каждый такой поступок открывает новые двери, ведущие из круга в круг по аду. Не в том беда, что преступник становится необузданней и необузданней, а в том, что он делается подлее и подлее. Вскоре Сент-Клэр запутался во взяточничестве и шантаже, ему требовалось всё больше и больше золота. Ко времени битвы у Чёрной реки он пал уже так низко, что место ему было лишь в последнем кругу Данте.

— Что вы хотите сказать? — спросил его друг.

— А вот что, — решительно вымолвил священник и вдруг указал на лужицу, затянутую ледком, поблескивающим под лунным светом. — Вы помните, кого Данте поместил в последнем, ледяном кругу ада?

— Предателей, — сказал Фламбо и невольно вздрогнул. Он обвёл взглядом безжизненные, дразняще-бесстыдные деревья и на миг вообразил себя Данте, а священника с

журчащим, как ручеек, голосом — Вергилием, своим проводником в краю вековых грехов.

Голос продолжал:

— Как известно, Оливье отличался донкихотством: он запретил секретную службу и шпионаж. Однако запрещение, как это часто бывает, обходили за его спиной. И нарушителем был не кто иной, как наш старый друг Эспадо, тот самый пёстро одетый хлыщ, которого прозвали Стервятником за его крючковатый нос. Напялив на себя маску благотворителя, он прощупывал солдат английской армии, пока не натолкнулся на единственного продажного человека. И, о боже, он оказался тем, кто стоял на самом верху! Генералу Сент-Клэру позарез требовались деньги — целые горы денег. Незадачливый врач Сент-Клэров уже тогда угрожал теми необычайными разоблачениями, с которыми выступил впоследствии, но почему-то они были внезапно прекращены, носились слухи о чудовищных злодеяниях, совершённых некогда английским евангелистом с Парк-лейн³, — преступлениях ничуть не менее гнусных, чем человеческие жертвоприношения или продажа людей в рабство. К тому же деньги нужны были на приданое дочери: слава, которая сопутствует богатству, была ему так же дорога, как само богатство. Порвав последнюю нить, он шепнул слово бразильцам — и золото потекло к нему от врагов Англии. Но не только он, ещё один человек говорил с Эспадо-Стервятником. Каким-то образом угрюмый молодой майор из Олстера сумел догадаться об этой отвратительной сделке, и, когда они не спеша двигались по дороге к мосту, Меррей заявил генералу, что тот должен немедленно выйти в отставку, иначе он будет судим военно-полевым судом и расстрелян.

Генерал оттягивал решительный ответ, пока они не подошли к тропической роще у моста. И здесь, на берегу журчащей реки, у залитых солнцем пальм, — я отчётливо вижу это, генерал выхватил шпагу и заколол майора...

Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймлённую зловещими чёрными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звёздного света, а от огня, зажжённого человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он всё не мог оторвать взгляд от далёкого огонька.

— Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда — я готов в этом поклясться! — не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Меррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кийт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел своё оружие, чтобы убедиться, что на нём не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, которой он заколол Меррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно — так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, — Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения, оставался ещё один выход: сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов! Через двадцать минут восемьсот английских солдат двинулись навстречу гибели...

Тёплый свет, мерцающий за чёрным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун также ускорил шаг, но казалось, он целиком поглощен своим рассказом.

— Таково было мужество этих английских солдат и таков гений их командира, что, если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими, как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топах у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут

³ Парк-лейн — фешенебельная улица в Лондоне.

привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена: седовласый солдат, непорочный, как святой, отдаёт свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено! Но я предполагаю — не могу этого доказать, — я предполагаю, что, пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения и кто-то угадал правду... — Он замолчал, а потом добавил: — Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, её будущий муж.

— Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра? — спросил Фламбо.

— Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными, — объяснил рассказчик. — В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех.

— Всех, кроме генерала, — поправил высокий человек.

— Всех, — повторил священник.

Фламбо нахмурил чёрные брови.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал он.

— А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо, — таинственным полушёпотом начал Браун. — Я ничего не могу доказать, но — и это важнее! — я вижу всё. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развеваются красная рубаша и длинная чёрная борода Оливье, в руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу — простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят навытяжку позади генерала, рядом — запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны — бразильцы трогаются в путь, англичане стоят как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, восторгнувшись, они сразу ломают строй, к генералу обращаются пятьдесят лиц — лиц, которые нельзя забыть.

Фламбо подскочил от возбуждения.

— О! — воскликнул он. — Неужели?..

— Да, — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. — Это рука англичанина накинула петлю на шею Сент-Клэра, — думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к дереву позора, руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан — да простит и укрепит нас господь смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зелёной виселице — пальме! И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад.

Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три её двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говор и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь.

— Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше, — сказал отец Браун. — Они судили его и там же, на месте, казнили; потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть — помоги им в этом небо! — они попытались обо всём забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница.

— Забыть? С удовольствием! — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещённый бар, как вдруг попятился и чуть не упал. — Посмотрите-ка, что за чертовщина! — закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. На ней красовалась грубо намалёванная шпага с укороченным лезвием и псевдоархаичными буквами было начертано: «Сломанная шпага».

— Что ж тут такого? — пожал плечами отец Браун. — Он — кумир всей округи; добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов.

— А я-то думал, мы покончили с этим прокажённым! — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу.

— В Англии с ним никогда не покончат, — ответил священник, — до тех пор пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут, как родного отца, любить этого человека, с которым поступили как с дерьмом те, кто его знал. Его будут почитать как святого и никто не узнает правды — так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон, правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут, антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово, если хоть где-нибудь появится надпись — на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, — несправедливо обвиняющая в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кийта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если всё ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клэра, я буду молчать. И я сдержу своё слово!

Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клэра — серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями — одни изображали всё ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать её туристы. Отец Браун и Фламбо усадились в удобные мягкие кресла.

— Ну и холод! — воскликнул отец Браун. — Выпьем вина или пива?

— Лучше бренди, — сказал Фламбо.

ТРИ ОРУДИЯ СМЕРТИ

По роду своей деятельности, а также и по убеждениям отец Браун лучше, чем большинство из нас, знал, что всякого человека устаивают почестей и всяческого внимания, когда человек этот мёртв. Но даже он был потрясен дикой нелепостью происшедшего, когда на рассвете его подняли с постели и сообщили, что сэр Арон Армстронг стал жертвой убийства. Было что-то бессмысленное и постыдное в тайном злодеянии, совершённом над столь обворожительной и прославленной личностью. Ведь сэр Арон был обворожителен до смешного, а слава его стала почти легендарной. Новость произвела такое впечатление, словно вдруг стало известно, что Солнечный Джим повесился или мистер Пиквик умер в Хэнуэлле⁴. Дело в том, что, хотя сэр Арон и был филантропом, а стало быть, соприкасался с тёмными сторонами нашего общества, он гордился тем, что соприкасается с ними в духе самого искреннего добродушия, какое только возможно. Его речи на политические и общественные темы представляли собой каскад шуток и «громового смеха»; его здоровье было поистине цветущим, его нравственность зиждилась на неистребимом оптимизме, соприкасаясь с проблемой пьянства (это была излюбленная тема его рассуждений), он выказывал неувядаемую и даже несколько однообразную весёлость, столь часто присущую человеку, который в рот не берёт спиртного и не испытывает ни малейшей потребности выпить.

Общеизвестную историю его обращения в трезвенники постоянно поминали с самых пуританских трибун и кафедр, рассказывая, как он ещё в раннем детстве был отвлечён от шотландского богословия пристрастием к шотландскому виски, как он вознёсся превыше того и другого и стал (по собственному его скромному выражению) тем, кем он есть. Правда, глядя на его пышную седую бороду, лицо херувима и очки, поблёскивающие на бесчисленных обедах и заседаниях, где он неизменно присутствовал, трудно было поверить, что он мог когда-либо являть собою нечто столь тошнотворное, как умеренно пьющий

⁴ Хэнуэлл — больница для душевнобольных в пригороде Лондона.

человек или истовый кальвинист. Сразу чувствовалось, что это самый серьёзный весельчак из всех представителей рода человеческого.

Жил он в тихом предместье Хэмстеда, в красивом особняке, высоком, но очень тесном, с виду похожем на башню, вполне современную и ничем не примечательную. Самая узкая из всех узких стен этого дома выходила прямо к крутой, поросшей дёрном железнодорожной насыпи и содрогалась всякий раз, когда мимо проносились поезда. Сэр Арон Армстронг, как с большой горячностью уверял он сам, был человеком, совершенно лишённым нервов. Но если проходящий поезд часто потрясал дом, то в это утро всё было наоборот, — дом причинил потрясение поезду.

Локомотив замедлил ход и остановился в том самом месте, где угол дома нависал над крутым травянистым откосом. Остановить эту самую бездушную из мёртвых машин удаётся далеко не сразу; неживая душа, бывшая причиной остановки, действовала поистине стремительно. Некий человек, одетый во все чёрное, вплоть до (как запомнилось очевидцам) такой мелочи, как леденящие душу чёрные перчатки, вынырнул словно из-под земли у края железнодорожного полотна и замахал чёрными руками, словно какая-то жуткая мельница. Сами по себе подобные действия едва ли могли бы остановить поезд даже на малом ходу. Но при этом человек испустил вопль, который впоследствии описывали как нечто совершенно дикое и нечеловеческое. Вопль был из тех звуков, которые едва внятны, даже если они слышны вполне отчётливо. В данном случае было выкрикнуто слово: «Убийство!»

Однако машинист клянётся, что остановил бы поезд в любом случае, даже если бы услышал не слово, а лишь зловещий, неповторимый голос, который его выкрикнул.

Едва поезд затормозил, сразу же обнаружились многие подробности недавней трагедии. Мужчина в чёрном, появившийся на краю зелёного откоса, был лакей сэра Арона Армстронга, угрюмый человек по имени Магнус. Баронет со свойственной ему беззаботностью частенько посмеивался над чёрными перчатками своего мрачного слуги; но теперь никто не склонен был над ними смеяться.

Когда несколько любопытствующих спустились с насыпи и прошли за почернелую от сажи изгородь, они увидели скатившееся почти до самого низу откоса тело старика в жёлтом домашнем халате с ярко-алой подкладкой. Нога убитого была захлестнута верёвочной петлёй, накинутой, по-видимому, во время борьбы. Были замечены и пятна крови, правда, весьма немногочисленные; но труп был изогнут или, вернее, скорчен и лежал в позе, какую невозможно принять живому существу. Это и был сэр Арон Армстронг. Через несколько минут подоспел рослый светлородый человек, в котором кое-кто из ошеломлённых пассажиров признал личного секретаря покойного, Патрика Ройса, некогда хорошо известного в богемных кругах и даже прославленного в богемных искусствах. Выказывая свои чувства более неопределённым, но при этом и более убедительным образом, он стал вторить горестным причитаниям лакея. А когда из дома появилась ещё и третья особа, Элис Армстронг, дочь умершего, которая бежала неверными шагами и махала рукой в сторону сада, машинист решил, что долее медлить нельзя. Он дал свисток, и поезд, пыхтя, тронулся к ближайшей станции за помощью.

Так получилось, что отца Брауна срочно вызвали по просьбе Патрика Ройса, этого рослого секретаря, в прошлом связанного с богемой. По происхождению Ройс был ирландец; он принадлежал к числу тех легкомысленных католиков, которые никогда и не вспоминают о своём вероисповедании, покуда не попадут в отчаянное положение. Но вряд ли просьбу Ройса исполнили бы так быстро, не будь один из официальных сыщиков другом и почитателем непризнанного Фламбо: ведь невозможно быть другом Фламбо и при этом не наслушаться бесчисленных рассказов про отца Брауна. А посему когда молодой сыщик (чья фамилия была Мертон) вёл маленького священника через поля к линии железной дороги, беседа их была гораздо доверительней, нежели можно было бы ожидать от двоих совершенно незнакомых людей.

— Насколько я понимаю, — заявил Мертон без обиняков, — разобраться в этом деле просто невозможно. Тут решительно некого заподозрить. Магнус напыщенный старый дурак;

он слишком глуп для того, чтобы совершить убийство. Ройс вот уже много лет был самым близким другом баронета, ну а дочь, без сомнения, души не чаяла в своём отце. И, помимо прочего, всё это — сплошная нелепость. Кто стал бы убивать старого весельчака Армстонга? У кого поднялась бы рука пролить кровь безобидного человека, который так любил застольные разговоры? Ведь это всё равно что убить рождественского деда.

— Да, в доме у него действительно царило веселье, — согласился отец Браун. — Веселье это не прекращалось, покуда хозяин оставался в живых. Но как вы полагаете, сохранится ли оно теперь, после его смерти?

Мертон слегка вздрогнул и взглянул на собеседника с живым любопытством.

— После его смерти? — переспросил он.

— Да, — бесстрастно продолжал священник, — хозяин-то был весёлым человеком. Но заразил ли он своим весельем других? Скажите откровенно, есть ли в доме ещё хоть один весёлый человек, кроме него?

В мозгу у Мертона словно приоткрылось оконце, через которое проник тот странный проблеск удивления, который вдруг как бы проясняет то, что было известно с самого начала. Ведь он часто заходил к Армстронгам по делам, которые старый филантроп вёл с полицией, и теперь он вспомнил, что атмосфера в доме действительно была удручающая. В комнатах с высокими потолками стоял холод, обстановка отличалась дурным вкусом и дешёвой провинциальностью; в коридорах, где гулял сквозняк, горели слабые электрические лампочки, светившие не ярче луны. И хотя румяная физиономия старика, обрамлённая серебристо-седой бородой, озаряла, как яркий костёр, каждую комнату и каждый коридор, она не оставляла по себе ни капли тепла. Разумеется, это ощущение могильного холода до известной степени порождалось самою жизнерадостностью и кипучестью владельца дома, ему не нужны печи или лампы, сказал бы он, потому что его согревает собственное тепло. Но когда Мертон вспомнил других обитателей дома, ему пришлось признать, что они были лишь тенями хозяина. Угрюмый лакей с его чудовищными чёрными перчатками вполне мог бы привидеться в ночном кошмаре, Ройс, личный секретарь, здоровяк в твидовых брюках, смахивающий на быка, носил коротко подстриженную бородку, но в этой соломенно-жёлтой бородке уже странным образом пробивалась ранняя седина, а широкий лоб избороздили морщины. Конечно, он был вполне добродушен, но добродушие это было какое-то печальное, почти скорбное, — у него был такой вид, словно в жизни его постигла жестокая неудача. Ну а если взглянуть на дочь Армстронга, трудно поверить, что она и в самом деле приходится ему дочерью; лицо у неё такое бледное, с болезненными чертами. Она не лишена изящества, но во всём её облике ощущается затаённый трепет, который делает её похожей на осу. Иногда Мертон думал, что она, вероятно, очень пугается грохота проходящих поездов.

— Видите ли, — сказал отец Браун, едва заметно подмигивая, — я отнюдь не уверен, что весёлость Армстронга доставляла большое удовольствие... м-м... его ближним. Вот вы говорите, что никто не мог убить такого славного старика, а я в этом далеко не убежден: *ne nos inducas in tentationem*⁵. Я лично если бы и убил человека, — добавил он с подкупающей простотой, — то уж непременно какого-нибудь оптимиста, смею заверить.

— Но почему? — вскричал изумлённый Мертон. — Неужели вы считаете, что людям не по душе весёлый нрав?

— Людям по душе, когда вокруг них часто смеются, — ответил отец Браун, — но я сомневаюсь, что им по душе, когда кто-либо всегда улыбается. Безрадостное веселье очень докучливо.

На этом разговор прервался, и некоторое время они молча шли, обдуваемые ветром, вдоль рельсов по травянистой насыпи, а когда добрались до длинной тени от дома Армстронга, отец Браун вдруг сказал с таким видом, словно хотел отбросить тревожную мысль, а вовсе не высказать её всерьёз.

⁵ Не введи нас во искушение (лат.).

— Разумеется, в пристрастии к спиртному как таковом нет ни хорошего, ни дурного. Но иной раз мне невольно приходит на ум, что людям вроде Армстронга порою нужен бокал вина, чтобы стать немного печальней.

Начальник Мертон по службе, седовласый сыщик с незаурядными способностями, стоял на травянистом откосе, дожидаясь следователя, и разговаривал с Патриком Ройсом, чьи могучие плечи и всклокоченная бородака возвышались над его головою. Это было тем заметней ещё и потому, что Ройс имел привычку слегка горбить крепкую спину и, когда отправлялся по церковным или домашним делам, двигался тяжело и неторопливо, словно буйвол, запряжённый в прогулочную коляску.

При виде священника Ройс с несвойственной ему приветливостью поднял голову и отвёл его на несколько шагов в сторону. А Мертон тем временем обратился к старшему сыщику не без почтительности, но по-мальчишески нетерпеливо.

— Ну как, мистер Гилдер, далеко ли вы продвинулись в раскрытии этой тайны?

— Никакой тайны здесь нет, — отозвался Гилдер, сонно щурясь на грачей, которые сидели поблизости.

— Ну, мне, по крайней мере, кажется, что тайна всё же есть, — возразил Мертон с улыбкой.

— Дело совсем простое, мой мальчик, — обронил старший сыщик, поглаживая седую остроконечную бородаку. — Через три минуты после того как вы по просьбе мистера Ройса отправились за священником, вся история стала ясна, как день. Вы знаете одутловатого лакея в чёрных перчатках, того самого, который остановил поезд?

— Как не знать. При виде его у меня мурашки поползли по коже.

— Итак, — промолвил Гилдер, — когда поезд исчез из виду, человек этот тоже исчез. Вот уж поистине хладнокровный преступник! Удрал на том самом поезде, который должен был вызвать полицию, ведь ловко?

— Стало быть, вы совершенно уверены, — заметил младший сыщик, — что он действительно убил своего хозяина?

— Да, сынок, совершенно уверен, — ответил Гилдер сухо, — уже хотя бы по той пустяковой причине, что он прихватил двадцать тысяч фунтов наличными из письменного стола хозяина. Нет, теперь единственное затруднение, если только это вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы выяснить, как именно он его убил. Похоже, что череп проломлен каким-то тяжёлым предметом, но поблизости тяжёлых предметов не обнаружено, а унести оружие с собой было бы для убийцы обременительно, разве что оно очень маленькое и потому не привлекло внимания.

— Возможно, оно, напротив, очень большое и потому не привлекло внимания, — произнёс маленький священник со странным, отрывистым смешком.

Услышав такую нелепость, Гилдер повернулся и сурово спросил отца Брауна, как понимать его слова.

— Я сам знаю, что выразился глупо, — сказал отец Браун со смущением. — Получается как в волшебной сказке. Но бедняга Армстронг убит дубиной, которая по плечу только великану, большой зелёной дубиной, очень большой и потому незаметной, её обычно называют землёй. Он расшибся насмерть вот об эту зелёную насыпь, на которой мы сейчас стоим.

— Куда это вы клоните? — с живостью спросил сыщик.

Отец Браун обратил круглое, как луна, лицо к фасаду дома и поглядел вверх, близоруко сощутив глаза. Проследив за его взглядом, все увидели на самом верху этой глухой части дома, в мезонине, распахнутое настежь окно.

— Разве вы не видите, — сказал он, указывая на окно пальцем с какой-то детской неловкостью, — что он упал вон оттуда?

Гилдер, насупясь, глянул на окно и произнёс:

— Да, это вполне вероятно. Но я всё-таки не понимаю, откуда у вас такая уверенность.

Отец Браун широко открыл серые глаза.

— Ну как же, — сказал он, — ведь на ноге у трупа обрывок верёвки. Разве вы не видите, что вон там из окна свисает другой обрывок?

На такой высоте все предметы казались крохотными пылинками или волосками, но пронизательный старый сыщик остался доволен объяснением.

— Вы правы, сэр, — сказал он отцу Брауну. — Очко в вашу пользу.

Едва он успел вымолвить эти слова, как экстренный поезд, состоявший из единственного вагона, преодолел поворот слева от них, остановился и изверг из себя целый отряд полисменов, среди которых виднелась отталкивающая рожа Магнуса, беглого лакея.

— Вот это ловко, чёрт возьми! Его уже арестовали! — вскричал Гилдер и устремился вперёд с неожиданной живостью.

— А деньги были при нём? — крикнул он первому полисмену.

Тот посмотрел ему в лицо несколько странным взглядом и ответил:

— Нет, — помолчав, он добавил. — По крайней мере, здесь их нету.

— Кто будет инспектор, осмелюсь спросить? — сказал меж тем Магнус.

Едва он заговорил, все сразу поняли, почему его голос остановил поезд. Внешне это был человек мрачного вида, с прилизанными чёрными волосами, с бесцветным лицом, чуть раскосыми, как у жителей Востока, глазами и тонкогубым ртом. Его происхождение и настоящее имя вряд ли были известны с тех пор, как сэр Арон «спас» его от работы официанта в лондонском ресторане, а также (как утверждали некоторые) заодно и от других, куда более неблагоприятных обстоятельств. Но голос у него был столь же впечатляющий, сколь лицо казалось бесстрастным. То ли из-за тщательности, с которой он выговаривал слова чужого языка, то ли из предупредительности к хозяину (который был глуховат) речь Магнуса отличалась необычайной резкостью и пронзительностью, и когда он заговорил, окружающие чуть не подскочили на месте.

— Я так и знал, что это случится, — произнёс он во всеуслышание, вызывая и невозмутимо. — Мой покойный хозяин потешался надо мной, потому что я ношу чёрную одежду, но я всегда говорил, что зато мне не надо будет надевать траур, когда наступит время идти на его похороны.

Он сделал быстрое, выразительное движение руками в чёрных перчатках.

— Сержант, — сказал инспектор Гилдер, с бешенством уставившись на чёрные перчатки. — Почему этот негодяй до сих пор гуляет без наручников? Ведь сразу видно, что перед нами опасный преступник.

— Позвольте, сэр, — сказал сержант, на лице которого застыло бессмысленное удивление. — Я не уверен, что мы имеем на это право.

— Как прикажете вас понимать? — резко спросил инспектор. — Разве вы его не арестовали?

Тонкогубый рот тронула едва уловимая презрительная усмешка, и тут, словно вторя этой издевке, раздался свисток подходящего поезда.

— Мы арестовали его, — сказал сержант серьёзно, — в тот самый миг, когда он выходил из полицейского участка в Хайгейте, где передал все деньги своего хозяина в руки инспектора Робинсона.

Гилдер поглядел на лакея с глубочайшим изумлением.

— Чего ради вы это сделали? — спросил он у Магнуса.

— Ну, само собой, чтоб деньги не попали в руки преступника, а были в целости и сохранности, — ответил тот с невозмутимым спокойствием.

— Без сомнения, — сказал Гилдер, — деньги сэра Арона были бы в целости и сохранности, если б вы передали их его семейству.

Последние слова потонули в грохоте колёс, и поезд, лязгая и подрагивая, промчался мимо, но этот адский шум, то и дело раздававшийся подле злополучного дома, был перекрыт голосом Магнуса, чьи слова прозвучали явственно и гулко, как удары колокола.

— У меня нет оснований доверять семейству сэра Арона.

Все присутствующие замерли на месте, ощутив, что некто, бесшумно, как призрак,

появился рядом, и Мертон ничуть не удивился, когда поднял голову и увидел поверх плеча отца Брауна бледное лицо дочери Армстронга. Она была ещё молода и хороша собою, вся светилась чистотой, но каштановые её волосы заметно поблекли и потускнели, а кое-где в них даже просвечивала седина.

— Будьте поосторожней в выражениях, — сердито сказал Ройс, — вы напугали мисс Армстронг.

— Смею надеяться, что мне это удалось, — отозвался Магнус своим зычным голосом.

Пока девушка непонимающе глядела на него, а все остальные предавались удивлению, каждый на свой лад, он продолжал:

— Я как-то привык к тому, что мисс Армстронг частенько трясётся. Вот уже много лет у меня на глазах её время от времени бьёт дрожь. Одни говорили, будто она дрожит от холода, другие утверждали, что это со страху, но я-то знаю, что дрожала она от ненависти и низменной злобы — этих демонов, которые сегодня утром наконец восторжествовали. Если бы не я, её след бы уже простыл, сбежала бы со своим любовником и со всеми денежками. С тех самых пор как мой покойный хозяин не позволил ей выйти за этого гнусного пьянчугу...

— Замолчите, — сказал Гилдер сурово. — Все эти ваши выдумки или подозрения о семейных делах нас не интересуют. И если у вас нет каких-либо вещественных доказательств, то голословные утверждения...

— Ха! Я представлю вам вещественные доказательства, — прервал его Магнус резким голосом. — Извольте, инспектор, вызвать меня в суд, и я не премину сказать правду. А правда, вот она: через секунду после того, как окровавленного старика вышвырнули в окно, я бросился в мезонин и увидел там его дочку, она валялась в обмороке на полу, и в руке у неё был кинжал, красный от крови. Позвольте мне заодно передать властям вот эту штуку.

Тут он вынул из заднего кармана длинный нож с роговой рукояткой и красным пятном на лезвии и вручил его сержанту. Потом он снова отступил в сторону, и щёлки его глаз почти совсем заплыли на пухлой китайской физиономии, сиявшей торжествующей улыбкой.

При виде этого Мертон едва не стошнило; он сказал Гилдеру вполголоса:

— Надеюсь, вы поверите на слово не ему, а мисс Армстронг?

Отец Браун вдруг поднял лицо, необычайно свежее и розовое, словно он только что умылся холодной водой.

— Да, — сказал он, источая неотразимое простодушие. — Но разве слово мисс Армстронг непременно должно противоречить слову свидетеля?

Девушка испустила испуганный, отрывистый крик; все взгляды обратились на неё. Она окаменела, словно разбитая параличом, только лицо, обрамлённое тонкими каштановыми волосами, оставалось живым, потрясённое и недоумевающее. Она стояла с таким видом, как будто на шее у неё затягивалась петля.

— Этот человек, — веско промолвил мистер Гилдер, — недвусмысленно заявляет, что застал вас с ножом в руке, без чувств, сразу же после убийства.

— Он говорит правду, — отвечала Элис.

Когда присутствующие опомнились, они увидели, что Патрик Ройс, пригнув массивную голову, вступил в середину круга, после чего произнёс поразительные слова:

— Ну что ж, если мне всё равно пропадать, я сперва хоть отведу душу.

Его широкие плечи всколыхнулись, и железный кулак нанёс сокрушительный удар по благодушной восточной физиономии мистера Магнуса, который тотчас же распростёрся на лужайке плашмя, словно морская звезда. Несколько полисменов немедленно схватили Ройса, остальным же от растерянности почудилось, будто всё разумное летит в тартарары и мир превращается в сцену, на которой разыгрывается нелепое шутовское зрелище.

— Бросьте эти штучки, мистер Ройс, — властно сказал Гилдер. — Я арестую вас за оскорбление действием.

— Ничего подобного, — возразил ему Ройс голосом, гулким, как железный гонг. — Вы арестуете меня за убийство.

Гилдер с тревогой взглянул на поверженного, но тот уже сел, вытирая редкие капли

крови с почти не повреждённого лица, и потому инспектор только спросил отрывисто:

— Что это значит?

— Этот малый сказал истинную правду, — объяснил Ройс. — Мисс Армстронг лишилась чувств и упала с ножом в руке. Но она схватила нож не для того, чтобы совершить покушение на своего отца, а для того, чтобы его защитить.

— Защитить! — повторил Гилдер серьёзно. — От кого же?

— От меня, — отвечал Ройс.

Элис взглянула на него ошеломлённо и испуганно, потом проговорила тихим голосом:

— Ну что ж, в конце концов я рада, что вы не утратили мужества.

Мезонин, где была комната секретаря (довольно тесная келья для такого исполинского отшельника), хранил все следы недавней драмы. Посреди комнаты, на полу, валялся тяжёлый револьвер, по-видимому, кем-то отброшенный в сторону; чуть левее откатилась к стене бутылка из-под виски, откупоренная, но не допитая. Тут же лежала скатерть, сорванная с маленького столика и растоптанная, а обрывок верёвки, такой же самой, какую обнаружили на трупе, был переброшен через подоконник и нелепо болтался в воздухе. Осколки двух разбитых вдребезги ваз усеивали каминную полку и ковёр.

— Я был пьян, — сказал Ройс; простота, с которой держался этот преждевременно состарившийся человек, выглядела трогательно, как первое раскаяние напавшего ребёнка.

— Все вы слышали про меня, — продолжал он хриплым голосом. — Всякий слышал, как началась моя история, и теперь она, видимо, кончится столь же печально. Некогда я слыл умным человеком и мог бы быть счастлив. Армстронг спас остатки моей души и тела, вытащил меня из кабаков и всегда по-своему был ко мне добр, бедняга! Только он ни в коем случае не позволил бы мне жениться на Элис, и надо прямо признать, что он был прав. Ну, а теперь сами делайте выводы, не принуждайте меня касаться подробностей. Вон там, в углу, моя бутылка с виски, выпитая наполовину, а вот мой револьвер на ковре, уже разряженный. Верёвка, которую нашли на трупе, лежала у меня в ящике, и труп был выброшен из моего окна. Вам незачем пускаться по моему следу сыщиков, чтобы проследить мою трагедию, она не нова в этом проклятом мире. Я сам обрекаю себя на виселицу, и, видит бог, этого вполне достаточно!

Инспектор сделал едва уловимый знак, и полисмены окружили дюжего человека, готовясь увести его незаметно; но им это не вполне удалось ввиду поразительного появления отца Брауна, который внезапно переступил порог, двигаясь по ковру на четвереньках, словно он совершал некий кощунственный обряд. Совершенно равнодушный к тому впечатлению, которое его поступок произвёл на окружающих, он остался в этой позе, но повернул к ним умное круглое лицо, похожее на забавное четвероногое существо с человеческой головой.

— Послушайте, — сказал он добродушно, — право же, это ни в какие ворота не лезет, согласитесь сами. Сначала вы заявили, что не нашли оружия. Теперь же мы находим его в избытке: вот нож, которым можно резать, вот верёвка, которой можно удавить, и вот револьвер, а в конечном итоге старик разбился, выпав из окна. Нет, я вам говорю, это ни в какие ворота не лезет. Это уж слишком.

И он тряхнул опущенной головой, словно конь на пастбище.

Инспектор Гилдер открыл рот, преисполненный решимости, но не успел слова вымолвить, потому что забавный человек, стоявший на четвереньках, продолжал свои пространные рассуждения:

— И вот перед нами три немыслимых обстоятельства. Первое — это дыры в ковре, куда угодили шесть пуль. С какой стати кому-то понадобилось стрелять в ковёр? Пьяный дырявит голову врагу, который скалит над ним зубы. Он не ищет повода ухватить его за ноги или взять приступом его домашние туфли. А тут ещё эта верёвка...

Оторвавшись от ковра, отец Браун поднял руки, сунул их в карманы, но продолжал стоять на коленях.

— В каком умопостижимом опьянении может человек захлестывать петлю на чьей-то шее, а в результате захлестнуть её на ноге? И в любом случае Ройс не был так уж сильно

пьян, иначе он сейчас спал бы беспробудным сном. Но самое явное свидетельство — это бутылка с виски. По-вашему, выходит, что алкоголик дрался за бутылку, одержал верх, а потом швырнул её в угол, причём половину пролил, а ко второй половине даже не притронулся. Смею заверить, никакой алкоголик, так не поступит.

Он неуклюже встал на ноги и с явным сожалением сказал мнимому убийце, который оговорил сам себя:

— Мне очень жаль, любезнейший, но ваша версия, право же, неудачна.

— Сэр, — тихонько сказала Элис Армстронг священнику, — вы позволите поговорить с вами наедине?

Услышав эту просьбу, словоохотливый пастырь прошёл через лестничную площадку в другую комнату, но прежде чем он успел открыть рот, девушка заговорила сама, и в голосе её звучала неожиданная горечь.

— Вы умный человек, — сказала она, — и вы хотите выручить Патрика, я знаю. Но это бесполезно. Подоплека у этого дела прескверная, и чем больше вам удастся выяснить, тем больше будет улик против несчастного человека, которого я люблю.

— Почему же? — спросил Браун, твёрдо глядя ей в лицо.

— Да потому, — ответила она с такой же твёрдостью, — что я своими глазами видела, как он совершил преступление.

— Так! — невозмутимо сказал Браун. — И что же именно он сделал?

— Я была здесь, в этой самой комнате, — объяснила она. — Обе двери были закрыты, но вдруг раздался голос, какого я не слыхала в жизни, голос, похожий на рёв. «Ад! Ад! Ад!» — выкрикнул он несколько раз кряду, а потом обе двери содрогнулись от первого револьверного выстрела. Прежде чем я успела распахнуть эту и ту дверь, грянули три выстрела, а потом я увидела, что комната полна дыма и револьвер в руке моего бедного Патрика тоже дымится, и я видела, как он выпустил последнюю страшную пулю. Потом он прыгнул на отца, который в ужасе прижался к оконному косяку, сцепился с ним и попытался задушить его верёвкой, которую накинуд ему на шею, но в борьбе верёвка соскользнула с плеч и упала к ногам. Потом она захлестнула одну ногу, а Патрик, как безумный, поволок отца. Я схватила с полу нож, кинулась между ними и успела перерезать верёвку, а затем лишилась чувств.

— Понятно, — сказал отец Браун всё с той же бесстрастной любезностью. — Благодарю вас.

Девушка поникла под бременем тяжких воспоминаний, а священник спокойно ушёл в соседнюю комнату, где оставались только Гилдер и Мертон с Патриком Рейсом, который в наручниках сидел на стуле. Отец Браун скромно сказал инспектору:

— Вы позволите мне поговорить с арестованным в вашем присутствии? И нельзя ли на минутку освободить его от этих никчёмных наручников?

— Он очень силен, — сказал Мертон вполголоса. — Зачем вы хотите снять наручники?

— Я хотел бы, — смиренно произнёс священник, — удостоиться чести пожать ему руку.

Оба сыщика усталились на отца Брауна в недоумении, а тот продолжал:

— Сэр, вы не расскажете им, как было дело?

Сидевший на стуле покачал взъерошенной головой, а священник нетерпеливо обернулся.

— Тогда я расскажу сам, — проговорил он. — Человеческая жизнь дороже посмертной репутации. Я намерен спасти живого, и пускай мёртвые хоронят своих мертвецов.

Он подошёл к роковому окну и, помаргивая, продолжал:

— Я уже говорил вам, что в данном случае перед нами слишком много оружия и всего лишь одна смерть. А теперь я говорю, что всё это не служило оружием и не было использовано, дабы причинить смерть. Эти ужасные орудия: петля, окровавленный нож, разряженный револьвер, служили своеобразному милосердию. Их употребили отнюдь не для того, чтобы убить сэра Арона, а для того, чтобы его спасти.

— Спасти! — повторил Гилдер. — Но от чего?

— От него самого, — сказал отец Браун. — Он был сумасшедший и пытался наложить на себя руки.

— Как? — вскричал Мертон, полный недоверия. — А наслаждение жизнью, которое он исповедовал?

— Это жестокое вероисповедание, — сказал священник, выглядывая за окно. — Почему ему не давали поплакать, как плакали некогда его предки? Лучшим его намерениям не суждено было осуществиться, душа стала холодной, как лёд, под весёлой маской скрывался пустой ум безбожника. Наконец, для того, чтобы поддержать свою репутацию весельчака, он снова начал выпивать, хотя бросил это дело давным-давно. Но в подлинном трезвеннике неистребим ужас перед алкоголизмом: такой человек живёт в прозрении и ожидании того психологического ада, от которого предостерегал других. Ужас этот безвременно погубил беднягу Армстронга. Сегодня утром он был в невыносимом состоянии, сидел здесь и кричал, что он в аду, таким безумным голосом, что собственная дочь его не узнала. Он безумно жаждал смерти и с редкостной изобретательностью, свойственной одержимым людям, разбросал вокруг себя смерть в разных обликах: петлю-удавку, револьвер своего друга и нож. Ройс случайно вошёл сюда и действовал немедленно. Он швырнул нож на ковёр, схватил револьвер и, не имея времени его разрядить, выпустил все пули одна за другой прямо в пол. Но тут самоубийца увидел четвёртое обличье смерти и метнулся к окну. Спаситель сделал единственное, что оставалось, — кинулся за ним с верёвкой и попытался связать его по рукам и по ногам. Тут-то и вбежала несчастная девушка и, не понимая, из-за чего происходит борьба, попыталась освободить отца. Сперва она только полоснула ножом по пальцам бедняги Ройса, отсюда и следы крови на лезвии. Вы, разумеется, заметили, что, когда он ударил лакея, кровь на лице была, хотя никакой раны не было? Перед тем как упасть без чувств, бедняжка успела перерезать верёвку и освободить отца, а он выпрыгнул вот в это окно и низвергся в вечность.

Наступило долгое молчание, которое наконец нарушило звяканье металла. Это Гилдер разомкнул наручники, сковывавшие Патрика Ройса, и заметил:

— Думается мне, сэр, вам следовало сразу сказать правду. Вы и эта юная особа заслуживаете большего чем упоминание в некрологе Армстронга.

— Плевать мне на этот некролог! — грубо крикнул Ройс. — Разве вы не понимаете — я молчал, чтобы скрыть от неё!

— Что скрыть? — спросил Мертон

— Да то, что она убила своего отца, болван вы этакий! — рявкнул Ройс. — Ведь когда б не она, он был бы сейчас жив. Если она узнает, то сойдёт с ума от горя.

— Право, не думаю, — заметил отец Браун, берясь за шляпу. — Пожалуй, я лучше скажу ей сам. Даже роковые ошибки не отравляют жизнь так, как грехи. И во всяком случае, мне кажется, впредь вы будете гораздо счастливее. А я сейчас должен вернуться в школу для глухих.

Когда он вышел на лужайку, где трава колыхалась от ветра, его окликнул какой-то знакомый из Хайгейта:

— Только что приехал следователь. Сейчас начнется дознание.

— Я должен вернуться в школу, — сказал отец Браун. — К сожалению, мне недосуг, и я не могу присутствовать при дознании.

ЧЕЛОВЕК В ПРОУЛКЕ

В узкий проулок, идущий вдоль театра «Аполлон» в районе Адельфи, одновременно вступили два человека. Предвечерние улицы щедро заливал мягкий невесомый свет заходящего солнца. Проулок был довольно длинный и тёмный, и в противоположном конце каждый различал лишь тёмный силуэт другого. Но и по этому чёрному контуру они сразу друг друга узнали, ибо наружность у обоих была весьма приметная и притом они люто

ненавидели друг друга.

Узкий проулок соединял одну из крутых улиц Адельфи с бульваром над рекой, отражающей все краски закатного неба. Одну сторону проулка образовала глухая стена — в доме этом помещался старый захудалый ресторан при театре, в этот час закрытый. По другую сторону в проулок в разных его концах выходили две двери. Ни та, ни другая не были обычным служебным входом в театр, то были особые двери, для избранных исполнителей, и теперь ими пользовались актё и актриса, игравшие главные роли в шекспировском спектакле. Такие персоны любят, когда у них есть свой отдельный вход и выход, — чтобы принимать или избегать друзей.

Двое мужчин, о которых идёт речь, несомненно, были из числа таких друзей, дверь в начале проулка была им хорошо знакома, и оба рассчитывали, что она не заперта, ибо подошли к ней каждый со своей стороны равно спокойные и уверенные. Однако тот, что шёл с дальнего конца проулка, шагал быстрее, и заветной двери оба достигли в один и тот же миг. Они обменялись учтивым поклоном, чуть помедлили, и наконец тот, кто шёл быстрее и, видно, вообще отличался менее терпеливым нравом, постучал.

В этом, и во всём прочем тоже, они были полной противоположностью друг другу, но ни об одном нельзя было сказать, что он в чём-либо уступает другому. Если говорить об их личных достоинствах, оба были хороши собой, отнюдь не бездарны и пользовались известностью. Если говорить об их положении в обществе, оба находились на высшей его ступени. Но всё в них от славы и до наружности было несравнимо и несхоже.

Сэр Уилсон Сеймор принадлежал к числу тех важных лиц, чей вес в обществе прекрасно известен всем посвящённым. Чем глубже вы проникаете в круг адвокатов, врачей, а также тех, кто вершит дела государственной важности, и людей любой свободной профессии, тем чаще встречаете сэра Уилсона Сеймора. Он единственный толковый человек во множестве бестолковых комиссий, которые разрабатывают самые разнообразные проекты — от преобразования Королевской академии наук до введения биметаллизма для вящего процветания процветающей Британии. Во всём же, что касалось искусства, могущество его не знало границ. Его положение было столь исключительно, что никто не мог понять, то ли он именитый аристократ, который покровительствует искусству, то ли именитый художник, которому покровительствуют аристократы. Но стоило поговорить с ним пять минут, и вы понимали, что, в сущности, он повелевал вами всю вашу жизнь.

Наружность у него тоже была выдающаяся, — словно бы и обычная и всё же исключительная. К его шёлковому цилиндру не мог бы придраться и самый строгий знаток моды, и, однако, цилиндр этот был не такой, как у всех, быть может, чуть повыше, и ещё немного прибавлял ему роста. Высокий и стройный, он слегка сутулился, и, однако, вовсе не казался хилым, — совсем напротив. Серебристо-седые волосы отнюдь не делали его стариком, он носил их несколько длиннее, чем принято, но оттого не казался женственным, они были волнистые, но не казались завитыми. Подчёркнуто остроконечная борода прибавляла его облику мужественности, совсем как адмиралам на сумрачных портретах кисти Веласкеса, которыми увешан был его дом. Его серые перчатки чуть больше отдавали голубизной, а трость с серебряным набалдашником была чуть длиннее десятков подобных тростей, которыми помахивали и щеголяли в театрах и ресторанах.

Второй мужчина был не так высок, однако никто не назвал бы его малорослым, зато всякий бы заметил, что он крепкого сложения и хорош собой. Волосы и у него были вьющиеся, но светлые, коротко стриженные; а голова крепкая, массивная — такой в самый раз прошибать дверь, как сказал Чосер про своего мельника. Военного образца усы и разворот плеч выдавали в нём солдата, хотя такой открытый пронзительный взгляд голубых глаз скорее присущ морякам. Лицо у него было почти квадратное, и подбородок квадратный, и плечи квадратные, даже сюртук и тот квадратный. И, уж разумеется, сумасбродная школа карикатуристов той поры не упустила случая, — и мистер Макс Бирбом изобразил его в виде геометрической фигуры из четвёртой книги Евклида.

Ибо он тоже был заметной личностью, хотя успех его был совсем иного рода. Чтобы

прослышать про капитана Катлера, про осаду Гонконга и знаменитый китайский поход, вовсе не требовалось принадлежать к высшему свету. О нём говорили все и всюду, портрет его печатался на почтовых открытках, картами и схемами его сражений пестрили иллюстрированные журналы, песни, сложенные в его честь, исполнялись чуть не в каждой программе мюзик-холла и чуть не на каждой шарманке. Слава его, быть может, не столь долговечная, как у сэра Уилсона, была куда шире, общедоступней и безыскусственней. В тысячах английских семей его ставили столь же высоко, как Нельсона. И, однако, сэр Уилсон Сеймор был неизмеримо влиятельней.

Дверь им отворил старый слуга или костюмер, его болезненная внешность и тёмный поношенный сюртук и брюки странно не вязались со сверкающим убранством театральной уборной великой актрисы. Помещение это было сплошь увешано и уставлено множеством зеркал под самыми разными углами, можно было принять их за несчётные грани одного огромного бриллианта — если б только кто-то сумел забраться в самую его середину. И когда слуга, шаркая по комнате, откидывал створку или плотней прислонял к стене то одно зеркало, то другое, прочие признаки роскоши, разбросанные там и сям, — цветы, разноцветные подушки, театральные костюмы — бесконечно множились, точно в сказке, непрестанно плясали и менялись местами, так что голова шла кругом.

Оба гостя заговорили с неказисто одетым слугой, как со старым знакомым, называя его Паркинсоном, и осведомились о его госпоже, мисс Авроре Роум. Паркинсон сказал, что она в другой комнате, но он тотчас ей доложит. По лицу обоих посетителей прошла тень — ведь вторая комната принадлежала знаменитому артисту, партнёру мисс Авроры, а она была из тех женщин, которыми нельзя пылко восхищаться, не пылая при этом ревностью. Однако внутренняя дверь тотчас распахнулась, и мисс Аврора появилась, как появлялась всегда, не только на сцене, но и в жизни. Сама тишина, казалось, загремела аплодисментами, притом вполне заслуженными. Причудливое шёлковое одеяние цвета павлиньего пера мерцало переливами синего и зелёного — цветами, какие всегда так восхищают детей и эстетов, а её тяжёлые ярко-каштановые волосы обрамляли одно из тех волшебных лиц, что опасны для всех мужчин, особенно же — для юных и стареющих. Вместе со своим партнёром, знаменитым американским актёром Изидором Бруно, она создала необычайно поэтичную и фантастичную трактовку «Сна в летнюю ночь», оттенила значительность Оберона и Титании, иными словами, Бруно и свою. Среди изысканных призрачных декораций, в таинственных танцах её зелёный костюм, напоминающий полированные крылья стрекозы, превосходно передавал непостижимую ускользающую сущность королевы эльфов. Однако, столкнувшись с ней при свете дня, даже и угасающего, любой мужчина уже не видел ничего, кроме её лица.

Она одарила обоих своей лучезарной загадочной улыбкой, что держала столь многих мужчин на одном и том же весьма опасном расстоянии от неё. Она приняла от Катлера цветы, тропические и дорогие, как его победы, и совсем иное подношение от сэра Уилсона Сеймора, вручённое позднее и небрежней. Воспитание не позволяло ему выказывать излишнее рвение, а условная чуждость условностям не позволяла делать подарки столь банальные, как цветы. Ему попала одна безделица, сказал он, старинная вещица — греческий кинжал эпохи Крито-Микенской культуры, его вполне могли носить во времена Тезея и Ипполита. Как всё оружие тех легендарных героев, он медный, но, представьте, ещё достаточно остёр и может пронзить кого угодно. Кинжал привлек его своей формой — он напоминает лист и прекрасен, как греческая ваза. Если эта игрушка понравится мисс Роум или как-то пригодится для пьесы, он надеется, что она...

Тут распахнулась дверь в соседнюю комнату, и на пороге возник высокий человек, ещё большая противоположность увлечемому объяснениями Сеймору, чем даже капитан Катлер. Шести с половиной футов ростом, могучий, сплошь выставленные напоказ мышцы, в великолепной леопардовой шкуре и золотисто-коричневом одеянии Оберона, Изидор Бруно казался поистине языческим богом. Он опёрся о подобие охотничьего копья — со сцены оно казалось лёгким серебристым жезлом, а в маленькой, набитой людьми комнате

производило впечатление настоящего и по-настоящему грозного оружия. Живые чёрные глаза Бруно неистово сверкали, а красивое бронзово-смуглое лицо с выступающими скулами и ослепительно белыми зубами приводило на память высказывавшиеся в Америке догадки, будто он родом с плантаций Юга.

— Аврора, — начал он глубоким и звучным, как бой барабана, исполненным страсти голосом, который столько раз потрясал театральный зал, — вы не могли бы...

Тут он в нерешительности замолк, ибо в дверях вдруг появился ещё один человек, фигура до того здесь неуместная, что впору было рассмеяться. Коротышка, в чёрной сутане католического священника, он казался (особенно рядом с Бруно и Авророй) грубо вырезанным из дерева Ноем с игрушечного ковчега. Впрочем, сам он, видно, не ощутил всю несообразность своего появления здесь и с нудной учтивостью произнёс:

— Мисс Роум как будто хотела меня видеть.

Проницательный наблюдатель заметил бы, что от этого бесстрастного вторжения страсти только ещё больше накалились. Отрешённость священника, связанного обетом безбрачия, вдруг открыла остальным, что они обступили Аврору кольцом влюблённых соперников; так, когда входит человек в заиндевелом пальто, все замечают, что в комнате можно задохнуться от жары. Стоило появиться священнику, который не питал к мисс Роум никаких чувств, и она ещё острее ощутила, что все остальные в неё влюблены, причём каждый на свой опасный лад: актёр — с жадностью дикаря и избалованного ребёнка; солдат — с откровенным эгоизмом натуры, привыкшей не столько размышлять, сколько действовать; сэр Уилсон — с той день ото дня растущей поглощённостью, с какой гедонисты предаются своему любимому увлечению, и даже это ничтожество Паркинсон, который знал её ещё до того, как она прославилась, — даже он следил за ней собачьим обожающим взглядом или следовал по пятам.

Проницательный наблюдатель заметил бы и нечто ещё более странное. И человек, похожий на чёрного деревянного Ноя (а он не лишён был проницательности), заметил это с изрядным, но сдержанным удовольствием. Прекрасная Аврора, которой отнюдь не безразлично было почитание другой половины рода человеческого, явно желала отделаться от всех своих почитателей и остаться наедине с тем, кто не был её почитателем, во всяком случае, почитателем в том смысле, как все прочие, ибо маленький священник на свой лад, безусловно, почитал её и даже восхищался той решительной, чисто женской ловкостью, с какой она приступила к делу. Лишь в одном, пожалуй, Аврора действительно знала толк — в другой половине рода человеческого. Как за наполеоновской кампанией, следил маленький священник за тем, с какой стремительной безошибочностью она избавилась ото всех, никого при этом не выгнав. Знаменитый актёр Бруно был так ребячлив, что ей ничего не стоило его разобидеть, и он ушёл, хлопнув дверью. Катлер, британский офицер, был толстокож и не слишком сообразителен, но в поведении безупречен. Он не воспринял бы никаких намеков, но скорей бы умер, чем не исполнил поручение дамы. Что же до самого Сеймора, с ним следовало обращаться иначе, его следовало отослать после всех. Подействовать на него можно было только одним способом, обратиться к нему доверительно, как к старому другу, посвятить его в суть дела. Священник и вправду был восхищён тем, как искусно, одним ловким маневром мисс Роум выпроводила всех троих.

Она подошла к капитану Катлеру и премило с ним заговорила:

— Мне дороги эти цветы, ведь они, наверно, ваши любимые. Но знаете, букет не полон, пока в нём нет и моих любимых цветов. Прошу вас, пойдите в магазин за углом и принесите ландышей, вот тогда будет совсем прелестно.

Первая цель её дипломатии была достигнута — взбешённый Бруно сейчас же удалился. Он успел уже величественно, точно скипетр, вручить своё копье жалкому Паркинсону и как раз собирался расположиться в кресле, точно на троне. Но при столь явном предпочтении, отданном сопернику, в непроницаемых глазах его вспыхнуло высокомерие скорого на обиду раба, огромные смуглые кулаки сжались, он кинулся к двери, распахнул её и скрылся в своих апартаментах. А меж тем привести в движение британскую армию оказалось не так просто,

как представлялось мисс Авроре. Катлер, разумеется, тотчас решительно поднялся и, как был, с непокрытой головой, словно по команде, зашагал к двери. Но что-то, быть может, какое-то нарочитое изящество в позе Сеймора, который лениво прислонился к одному из зеркал, вдруг остановило Катлера уже на пороге, и он, точно озадаченный бульдог, беспокойно завертел головой.

— Надо показать этому тупице, куда идти, — шепнула Аврора Сеймору и поспешила к двери — поторопить уходящего гостя.

Не меняя изящной и словно бы непринуждённой позы, Сеймор, казалось, прислушивался; вот Аврора крикнула вслед Катлеру последние наставления, потом круто обернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, выходящий к улице над Темзой, — Сеймор вздохнул с облегчением, но уже в следующее мгновение лицо его снова омрачилось. Ведь у него столько соперников, а дверь в том конце проулка ведёт в комнату Бруно. Не теряя чувства собственного достоинства, Сеймор сказал несколько вежливых слов отцу Брауну — о возрождении византийской архитектуры в Вестминстерском соборе, и как ни в чём не бывало направился в дальний конец проулка. Теперь в комнате оставались только отец Браун и Паркинсон, и ни тот, ни другой не склонны были заводить пустые разговоры. Костюмер ходил по комнате, придвигал и вновь отодвигал зеркала, и его тёмный поношенный сюртук и брюки казались ещё невзрачней оттого, что в руках у него было волшебное копьё царя Оберона. Всякий раз, как он поворачивал ещё одно зеркало, возникала ещё одна фигура отца Брауна; в этой нелепой зеркальной комнате полным-полно было отцов Браунов — они парили в воздухе, точно ангелы, кувыркались, точно акробаты, поворачивались друг к другу спиной, точно отъявленные невежи.

Отец Браун, казалось, совсем не замечал этого нашествия свидетелей, словно от нечего делать внимательным взглядом следовал он за Паркинсоном, пока тот не скрылся вместе со своим несуразным копьём в комнате Бруно. Тогда он предался отвлечённым размышлениям, которые всегда доставляли ему удовольствие, — стал вычислять угол наклона зеркала, угол каждого отражения, угол, под каким каждое зеркало примыкает к стене... и вдруг услышал громкий, тут же подавленный вскрик.

Он вскочил и замер, вслушиваясь. В тот же миг в комнату ворвался белый как полотно сэр Уилсон Сеймор.

— Кто там в проулке? — крикнул он. — Где мой кинжал?

Отец Браун ещё и повернуться не успел в своих тяжёлых башмаках, а Сеймор уже метался по комнате в поисках кинжала. И не успел он найти кинжал или иное оружие, как по тротуару за дверью затопали бегущие ноги и в дверях появилось квадратное лицо Катлера. Рука его нелепо сжимала букет ландышей.

— Что это? — крикнул он. — Что за тварь там в проулке? Опять ваши фокусы?

— Мои фокусы! — прошипел его бледный соперник и шагнул к нему.

А меж тем отец Браун вышел в проулок, посмотрел в другой его конец и поспешно туда зашагал.

Двое других тотчас прекратили перепалку и устремились за ним, причём Катлер крикнул:

— Что вы делаете? Кто вы такой?

— Моя фамилия Браун, — печально ответил священник, потом склонился над чем-то и сразу выпрямился. — Мисс Роум посылала за мной, я спешил, как мог. И опоздал.

Трое мужчин смотрели вниз, и в предвечернем свете, по крайней мере для одного из них, жизнь кончилась. Свет золотой дорожкой протянулся по проулку, и посреди этой дорожки лежала Аврора Роум, блестящий зелёный наряд её отливал золотом, и мёртвое лицо было обращено вверх.

Платье разодрано, словно в борьбе, и правое плечо обнажено, но рана, из которой лила кровь, была с другой стороны. Медный, чуть поблескивающий кинжал валялся примерно в ярде от убитой.

На какое-то время воцарилась тишина, слышно было, как поодаль, за Черринг-кросс,

смеялась цветочница и на одной из улиц, выходящих на Стренд, кто-то нетерпеливо свистел, подзывая такси. И вдруг капитан то ли в порыве ярости, то ли прикидываясь разъярённым схватил за горло Уилсона Сеймора.

Сеймор не испугался, не пробовал освободиться, только посмотрел на него в упор.

— Вам нет нужды меня убивать, — невозмутимо сказал он. — Я сам это сделаю.

Рука, стиснувшая его горло, разжалась и опустилась, а Сеймор прибавил с той же ледяной откровенностью.

— Если у меня не достанет духу заколоться этим кинжалом, я за месяц доконаю себя вином.

— Ну нет, вина мне недостаточно, — сказал Катлер. — Прежде чем я умру, кто-то заплатит за её гибель кровью. Не вы... но, сдаётся мне, я знаю кто.

И не успели ещё они понять, что у него на уме, как он схватил кинжал, подскочил ко второй двери, вышиб её, влетел в уборную Бруно и оказался с ним лицом к лицу. И в эту минуту из комнаты вышел своей ковыляющей неверной походкой старик Паркинсон. Увидев труп, он, пошатываясь, подошёл ближе, лицо у него задёргалось, он снова заковылял, пошатываясь, в комнату Бруно и вдруг опустился на подушки одного из мягких кресел. Отец Браун подбежал к нему, не обращая внимания на Катлера и великана-актёра, которые уже боролись, стараясь схватить кинжал, и в комнате гулко отдавались удары их кулаков. Сеймор, сохранивший долю здравого смысла, стоял в конце проулка и свистел, призывая полицию.

Когда полицейские прибыли, им пришлось разнимать двух мужчин, вцепившихся друг в друга, точно обезьяны; после нескольких заданных по форме вопросов они арестовали Изидора Бруно, которого разъярённый противник обвинил в убийстве. Сама мысль, что преступившего закон задержал собственными руками национальный герой, была, без сомнения, убедительна для полиции, ибо полицейские в чём-то сродни журналистам. Они обращались к Катлеру с почтительной серьёзностью и отметили, что на руке у него небольшая рана. Когда Катлер тащил к себе Бруно через опрокинутый стол и стул, актёр ухитрился выхватить у него кинжал и ударил пониже запястья. Рана была, в сущности, пустяковая, но пока озверевшего пленника не вывели из комнаты, он смотрел на струящуюся кровь и с губ его не сходила улыбка.

— Вот уж злодей так злодей, а? — доверительно заметил констебль Катлеру.

Катлер не ответил, но немного погодя резко сказал:

— Надо позаботиться об умершей, — голос его прервался, последнее слово он выговорил беззвучно.

— О двух умерших, — отозвался из дальнего угла комнаты священник. — Этот бедняга был уже мёртв, когда я к нему подошёл.

Отец Браун стоял и смотрел на старика Паркинсона, чёрным бесформенным комом осевшего в роскошном кресле. Он тоже отдал свою дань умершей, и сделал это достаточно красноречиво.

Первым нарушил молчание Катлер, и в голосе его послышалась грубоватая нежность.

— Завидую ему, — хрипло сказал он. — Помню, он всегда следил за ней взглядом... Он дышал ею — и остался без воздуха. Вот и умер.

— Мы все умерли, — странным голосом сказал Сеймор, глядя на улицу.

На углу они простились с отцом Брауном, небрежно извинившись за грубость, которой он был свидетелем. Лица у обоих были трагические и загадочные.

Мозг маленького священника всегда напоминал кроличий садок, самые дикие, неожиданные мысли мелькали так быстро, что он не успевал их ухватить. Будто ускользающий белый хвост кролика, метнулась мысль, что горе их несомненно, а вот невиновность куда сомнительней.

— Лучше нам всем уйти, — с трудом произнёс Сеймор, — мы, как могли, постарались помочь.

— Поймёте ли вы меня, — негромко спросил отец Браун, — если я скажу, что вы, как

могли, постарались повредить?

Оба вздрогнули, словно от укола нечистой совести, и Катлер резко спросил:

— Повредить? Кому?

— Самим себе, — ответил священник, — я бы не стал усугублять ваше горе, но не предупредить вас было бы просто несправедливо. Если этот актёр будет оправдан, вы сделали всё, чтобы угодить на виселицу. Меня вызовут в качестве свидетеля, и мне придётся сказать, что, когда раздался крик, вы оба как безумные кинулись в комнату актрисы и заспорили из-за кинжала. Если основываться на моих показаниях, убить её мог любой из вас. Вы навредили себе, а капитан Катлер к тому же повредил себе руку кинжалом.

— Повредил себе руку! — с презрением воскликнул капитан Катлер. — Да это ж просто царапина.

— Но из неё шла кровь, — кивнув, возразил священник. — На кинжале сейчас следы крови, это мы знаем. Зато нам уже никогда не узнать, была ли на нём кровь до этого.

Все молчали, потом Сеймор сказал взволнованно, совсем не так, как говорил обычно:

— Но я видел в проулке какого-то человека.

— Знаю, — с непроницаемым лицом сказал отец Браун. — И капитан Катлер тоже его видел. Это-то и кажется неправдоподобным.

И, ещё прежде чем они взяли в толк его слова и сумели хоть что-то возразить, он вежливо извинился, подобрал свой неуклюжий старый зонт и, тяжело ступая, пошёл прочь.

В нынешних газетах всё поставлено так, что самые важные и достоверные сообщения исходят от полиции. Если в двадцатом веке убийству и вправду уделяется больше места, чем политике, на то есть веские основания, убийство — предмет куда более серьёзный. Но даже этим едва ли можно объяснить широчайшую известность, какую приобрело «Дело Бруно», или «Загадочное убийство в проулке», и его подробнейшее освещение в лондонской и провинциальной прессе. Волнение охватило всю страну, и потому несколько недель газеты писали чистую правду, а отчёты о допросах и перекрёстных допросах, хоть и чудовищно длинные, порой просто невозможные, во всяком случае заслуживали доверия. Объяснялось же всё, разумеется, тем, какие имена замешаны были в этом деле. Жертва — популярная актриса, обвиняемый — популярный актёр, и обвиняемого, что называется, схватил на месте преступления самый популярный воин этой патристической эпохи. При столь чрезвычайных обстоятельствах прессе приходилось быть честной и точной; вот почему всё остальное, что касается этой единственной в своём роде истории, можно поведать по официальным отчётам о процессе Бруно.

Суд шёл под председательством судьи Монкхауза, одного из тех, над кем потешаются, считая их легковесными, но кто на самом деле куда серьёзней серьёзных судей, ибо лёгкость их рождена неугасимой нетерпимостью к присущей судейскому клану мрачной торжественности, серьёзный же судья, по существу, легкомыслен, ибо исполнен тщеславия. Поскольку главные действующие лица пользовались широкой известностью, обвинителя и защитника подобрали особенно тщательно. Обвинителем выступал сэр Уолтер Каудрей, мрачный, но уважаемый страж закона, из тех, кто умеет производить впечатление истого англичанина и притом внушать совершенное доверие и не слишком увлекаться красноречием. Защищал подсудимого мистер Патрик Батлер, королевский адвокат, — те, кто не понимает, что такое ирландский характер, и те, кого он ни разу не допрашивал, ошибочно принимали его за фланеур⁶. Медицинское заключение не содержало никаких противоречий: доктор, которого вызвал Сеймор, чтобы осмотреть убитую на месте преступления, был согласен со знаменитым хирургом, который осмотрел тело позднее. Аврору Роум ударили каким-то острым предметом, вероятно, ножом или кинжалом, во всяком случае, каким-то орудием с коротким клинком. Удар пришёлся в самое сердце, и умерла жертва мгновенно. Когда доктор впервые увидал её, она была мертва не больше двадцати минут. А значит, отец

⁶ Бездельник (франц.)

Браун подошёл к ней минуты через три после её смерти.

Затем оглашено было заключение официального следствия; оно касалось главным образом того, предшествовала ли убийству борьба; единственный признак борьбы — разорванное на плече платье, но разорвано оно было не в соответствии с направлением и силой удара. После того как все эти подробности были сообщены, но не объяснены, вызвали первого важного свидетеля.

Сэр Уилсон Сеймор давал показания, как он делал всё, если уж делал, не просто хорошо, но превосходно. Сам куда более видный деятель, нежели королевский судья, он, однако, держался с наиболее уместной здесь долей скромности, и хотя все глазели на него, будто на премьер-министра либо на архиепископа Кентерберийского, он вёл себя как частное лицо, только вот имя у него было громкое. К тому же говорил он на редкость ясно и понятно, как говорил во всех комиссиях, в которых он заседал. Он шёл в театр навестить мисс Роум, встретил у неё капитана Катлера, к ним ненадолго присоединился обвиняемый, который потом вернулся в свою уборную; кроме того, к ним присоединился католический священник, назвавшийся Брауном. Потом мисс Роум вышла из своей уборной в проулок, чтобы показать капитану Катлеру, где находится цветочный магазин, — он должен был купить ей ещё цветов; сам же свидетель оставался в комнате и перемолвился несколькими словами со священником. Затем он отчётливо услышал, как покойная, отослав капитана Катлера, повернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, куда выходит уборная обвиняемого. Из праздного любопытства к столь стремительным движениям своих друзей свидетель тоже отправился в тот конец проулка и посмотрел в сторону двери обвиняемого. Увидел ли он что-нибудь в проулке? Да, увидел.

Сэр Уолтер Каудрей позволил себе внушительную паузу, а свидетель тем не менее стоял, опустив глаза, и, несмотря на присущее ему самообладание, казался бледней обычного. Наконец обвинитель спросил совсем негромко голосом, и сочувственным, и бросающим в дрожь:

— Вы видели это отчётливо?

Как ни был сэр Уилсон Сеймор взволнован, его великолепный мозг работал безупречно.

— Что касается очертаний — весьма отчётливо, всё же остальное нет, совсем нет. Проулок такой длинный, что на светлом фоне противоположного выхода всякий, кто стоит посредине, кажется просто чёрным силуэтом, — свидетель, только что твёрдо смотревший в лицо обвинителя, вновь опустил глаза и прибавил: — Это я заметил ещё прежде, когда в проулке впервые появился капитан Катлер.

Опять наступило короткое молчание, судья подался вперёд и что-то записал.

— Итак, — настойчиво продолжал сэр Уолтер, — что же это был за силуэт? Не был ли он похож, скажем, на фигуру убитой?

— Ни в коей мере, — спокойно ответил Сеймор.

— Каков же он был?

— Он был похож на высокого мужчину.

Сидящие в зале суда устались кто на ручку кресла, кто на зонтик, кто на книгу, кто на башмаки — одним словом, кто куда. Казалось, они поставили себе целью не глядеть на обвиняемого, но все ощущали его присутствие на скамье подсудимых, и всем он казался великаном. Огромный рост Бруно сразу бросался в глаза, но стоило глаза отвести, и он словно бы становился с каждым мгновением всё огромней.

Каудрей, мрачно-торжественный, расправил свою чёрную шёлковую мантию и белые шелковистые бакенбарды и сел. Сэр Уилсон ответил ещё на несколько вопросов касательно кое-каких подробностей, известных и другим свидетелям, и уже покидал место свидетеля, но тут вскочил защитник и остановил его.

— Я задержу вас всего на минуту, — сказал мистер Батлер, с виду он казался деревенщиной, брови рыжие, лицо какое-то сонное. — Не скажете ли вы его чести, откуда вы знаете, что это был мужчина?

По лицу Сеймора скользнула тень утончённой улыбки.

— Прощу прощения, дело решила столь вульгарная подробность, как брюки, — сказал он. — Когда я увидел просвет меж длинных ног, я в конце концов понял, что это мужчина.

Сонные глаза Батлера вдруг раскрылись — это было подобно беззвучному взрыву.

— В конце концов! — медленно повторил он. — Значит, поначалу вы всё-таки думали, что это женщина?

Впервые Сеймору изменило спокойствие.

— Это вряд ли имеет отношение к делу, но, если его честь пожелает, чтобы я сказал о своём впечатлении, я, разумеется, скажу, — ответил он. — Этот силуэт был не то чтобы женский, но словно бы и не мужской — какие-то не те изгибы. И у него было что-то вроде длинных волос.

— Благодарю вас, — сказал королевский адвокат Батлер и неожиданно сел, как будто услышал именно то, что хотел.

Капитан Катлер в качестве свидетеля владел собой куда хуже и внушал куда меньше доверия, чем сэр Уилсон, но его показания о том, что происходило вначале, полностью совпадали с показаниями Сеймора. Капитан рассказал, как Бруно ушёл к себе, а его самого послали за ландышами, как, возвращаясь в проулок, он увидел, что там кто-то есть, и заподозрил Сеймору, и, наконец, о схватке с Бруно. Но он не умел выразительно описать чёрную фигуру, которую видел и он, и Сеймор. На вопрос о том, каков же был загадочный силуэт, он ответил, что он не знаток по части искусства, и в ответе прорвалась, пожалуй, чересчур откровенная насмешка над Сеймором. На вопрос — мужчина то был или женщина, он ответил, что больше всего это походило на зверя, и в ответе его была откровенная злоба на обвиняемого. Но при этом он был явно вне себя от горя и непритворного гнева, и Каудрей не задерживал его, не заставил подтверждать и без того ясные факты.

Защитник тоже, как и в случае с Сеймором, не стал затягивать перекрестный допрос, хотя казалось, — такая уж у него была манера, — что он отнюдь не спешит.

— Вы престранно выразились, — сказал он, сонно глядя на Катлера. — Что вы имели в виду, когда говорили, что тот неизвестный больше походил не на женщину и не на мужчину, а на зверя?

Катлер, казалось, всерьёз разволновался.

— Наверно, я зря так сказал, — отвечал он, — но у этого скота могучие сторбленные плечи, как у шимпанзе, а на голове — щетина торчком, как у свиньи...

Мистер Батлер прервал на полуслове эту странно раздражённую речь.

— Свинья тут ни при чём, а скажите лучше, может, это было похоже на волосы женщины?

— Женщины! — воскликнул капитан. — Да ничуть не похоже!

— Предыдущий свидетель сказал, похоже, — быстро подхватил защитник, беззастенчиво сбросив маску сонного тугодума. — А в очертаниях фигуры были женственные изгибы, на что нам тут красноречиво намекали. Нет? Никаких женственных изгибов? Если я вас правильно понял, фигура была скорее плотная и коренастая?

— Может, он шёл пригнувшись, — осипшим голосом едва слышно произнёс капитан.

— А может, и нет, — сказал мистер Батлер и сел так же внезапно, как и в первый раз.

Третьим свидетелем, которого вызвал сэр Уолтер Каудрей, был маленький католический священник, по сравнению с остальными уж такой маленький, что голова его еле виднелась над барьером, и казалось, будто перекрёстному допросу подвергают малого ребёнка. Но, на беду, сэр Уолтер отчего-то вообразил (виной тому, возможно, была вера, которой придерживалась его семья), будто отец Браун на стороне обвиняемого, — ведь обвиняемый нечестивец, чужак, да к тому же в нём есть негритянская кровь. И он резко обрывал отца Брауна всякий раз, как этот заносчивый посланец Папы Римского пытался что-то объяснить; велел ему отвечать только «да» и «нет» и излагать одни лишь факты безо всякого иезуитства. Когда отец Браун в простоте душевной стал объяснять, кто, по его мнению, был человек в проулке, обвинитель заявил, что не желает слушать его домыслы.

— В проулке видели тёмный силуэт. И вы говорите, вы тоже видели тёмный силуэт. Так каков же он был?

Отец Браун мигнул, словно получил выговор, но он давно и хорошо знал, что значит послушание.

— Силуэт был низенький и плотный, — сказал он, — но по обе стороны головы или на макушке были два острых чёрных возвышения, вроде как рога, и...

— А, понятно, дьявол рогатый! — с весёлым торжеством воскликнул Каудрей и сел. — Сам дьявол пожаловал, дабы пожрать протестантов.

— Нет, — бесстрастно возразил священник, — я знаю, кто это был.

Всех присутствующих охватило необъяснимое, но явственное предчувствие чего-то чудовищного. Они уже забыли о подсудимом и помнили только о том, кого видели в проулке. А тот, в проулке, описанный тремя толковыми и уважаемыми очевидцами, словно вышел из страшного сна: один увидел в нём женщину, другой — зверя, а третий — дьявола...

Судья смотрел на отца Брауна хладнокровным пронизывающим взглядом.

— Вы престранный свидетель, — сказал он, — но есть в вас что-то вынуждающее меня поверить, что вы стараетесь говорить правду. Так кто же был тот человек, которого вы видели в проулке?

— Это был я, — отвечал отец Браун.

В необычайной тишине королевский адвокат Батлер вскочил и совершенно спокойно сказал:

— Ваша честь, позвольте допросить свидетеля, — и тут же выстрелил в Брауна вопросом, который словно бы не шёл к делу: — Вы уже слышали, здесь говорилось о кинжале; эксперты считают, что преступление совершено с помощью короткого клинка, вам это известно?

— Короткий клинок, — подтвердил Браун и кивнул с мрачной важностью, точно филин, — но очень длинная рукоятка. — Ещё прежде, чем зал полностью отказался от мысли, что священник своими глазами видел, как сам же вонзает в жертву короткий клинок с длинной рукояткой (отчего убийство казалось ещё чудовищней), он поспешил объясниться. — Я хочу сказать, короткие клинки бывают не только у кинжалов. У копья тоже короткий клинок. И копьё поражает точно так же, как кинжал, если оно из этих причудливых театральных копий; вот таким копьём бедняга Паркинсон и убил свою жену — как раз в тот день, когда она послала за мной, чтобы я уладил их семейные неурядицы, — а я пришёл слишком поздно, да простит меня господь. Но, умирая, он раскаялся, раскаяние и повлекло за собою смерть. Он не вынес того, что совершил.

Всем в зале казалось, что маленький священник, который стоял на свидетельском месте и нёс совершенную околесицу, просто сошёл с ума. Но судья, по-прежнему смотрел на него в упор с живейшим интересом, а защитник невозмутимо задавал вопросы.

— Если Паркинсон убил её этим театральным копьём, он должен был бросить его с расстояния в четыре ярда, — сказал Батлер. — Как же тогда вы объясните следы борьбы — разорванное на плече платье? — Защитник невольно стал обращаться к свидетелю как к эксперту, но никто этого уже не замечал.

— Платье несчастной женщины было порвано потому, что его защемила створкой, когда она пробегала мимо, — сказал свидетель. — Она пыталась высвободить платье, и тут Паркинсон вышел из комнаты обвиняемого и нанёс ей удар,

— Створкой? — удивленно переспросил обвинитель.

— Это была створка двери, замаскированной зеркалом, — объяснил отец Браун. — Когда я был в уборной мисс Роум, я заметил, что некоторые из зеркал, очевидно, служат потайными дверьми и выходят в проулок.

Снова наступила долгая неправдоподобно глубокая тишина. И на этот раз её нарушил судья.

— Значит, вы действительно полагаете, что когда смотрели в проулок, вы видели там

самого себя — в зеркале?

— Да, милорд, именно это я и пытался объяснить, — ответил Браун. — Но меня спросили, каков был силуэт, а на наших шляпах углы похожи на рога, вот я и...

Судья подался вперёд, его стариковские глаза заблестели ещё ярче, и он сказал особенно отчётливо:

— Вы в самом деле полагаете, что когда сэр Уилсон Сеймор видел нечто несуразное, как бишь его, с изгибами, женскими волосами и в брюках, он видел сэра Уилсона Сеймора?

— Да, милорд, — отвечал отец Браун.

— И вы полагаете, что когда капитан Катлер видел сгорбленного шимпанзе со свиной щетиной на голове, он просто видел самого себя?

— Да, милорд.

Судья, очень довольный, откинулся на спинку кресла, и трудно было понять, чего больше в его лице — насмешки или восхищения.

— А не скажете ли вы, почему вы сумели узнать себя в зеркале, тогда как два столь выдающихся человека этого не сумели? — спросил он.

Отец Браун заморгал ещё растеряней, чем прежде.

— Право, не знаю, милорд, — с запинкой пробормотал он. — Разве только потому, что я не так часто гляжусь в зеркало.

ЛИЛОВЫЙ ПАРИК

Мистер Натт, усердный редактор газеты «Дейли реформер», сидел у себя за столом и под весёлый треск пишущей машинки, на которой стучала энергичная барышня, вскрывал письма и правил гранки.

Мистер Натт работал без пиджака. Это был светловолосый мужчина, склонный к полноте, с решительными движениями, твёрдо очерченным ртом и не допускающим возражений тоном. Но в глазах его, круглых и синих, как у младенца, таилось выражение замешательства и даже тоски, что никак не вязалось с его деловым обликом. Выражение это, впрочем, было не вовсе обманчивым. Подобно большинству журналистов, облечённых властью, он и вправду жил под непрестанным гнётом одного чувства — страха. Он страшился обвинений в клевете, страшился потерять клиентов, публикующих объявления в его газете, страшился пропустить опечатку, страшился получить расчёт.

Жизнь его являла собой непрерывную цепь самых отчаянных компромиссов между выжившим из ума стариком мыловаром, которому принадлежала газета (а значит, и сам редактор), и теми талантливыми сотрудниками, которых он подобрал в свою редакцию; среди них были блестящие журналисты с большим опытом, которые к тому же (что было совсем неплохо) относились к политической линии газеты серьёзно и искренне.

Письмо от одного из них лежало сейчас перед мистером Наттом, и он, несмотря на всю свою твёрдость и натиск, казалось, не решался вскрыть его. Вместо того он взял полосу гранок, пробежал её своими синими глазами, синим карандашом заменил «прелюбодеяние» на «недостойное поведение», а слово «еврей» на «инородца», позвонил и спешно отправил гранки наверх.

Затем, с видом серьёзным и сосредоточенным, он разорвал конверт с девонширской печатью и стал читать письмо одного из наиболее видных своих сотрудников.

«Дорогой Натт, — говорилось в письме. — Вы, как я вижу, равно интересуетесь привидениями и герцогами. Может, поместим статью об этой тёмной истории с Эрами из Эксмур, которую местные сплетницы называют «Чертово Ухо Эров»? Глава семейства, как вам известно, — герцог Эксмур, один из тех настоящих старых аристократов и чопорных тори, которых уже немного осталось в наши дни. «Дейли реформер» всегда старалась не давать спуска этим несгибаемым старым тиранам, и, кажется, я напал на след одной истории, которая

хорошо нам послужит.

Разумеется, я не верю в старую легенду про Якова I; а что до Вас, то Вы вообще ни во что не верите, даже в газетное дело. Эта легенда, как Вы, вероятно, помните, связана с самым чёрным событием в английской истории — я имею в виду отравление Оуэрбери⁷ этим колдуном Фрэнсисом Говардом и тот таинственный ужас, который заставил короля помиловать убийц. В своё время считали, что тут не обошлось без колдовства; рассказывают, что один из слуг узнал правду, подслушав сквозь замочную скважину разговор между королем и Карром⁸, и ухо его, приложенное к двери, вдруг чудом разросло, приняв чудовищную форму, — столь ужасна была подслушанная им тайна. Пришлось щедро наградить его землями и золотом, сделав родоначальником целой герцогской фамилии, однако Чертово Ухо нет-нет да и появится в этой семье. В чёрную магию Вы, конечно, не верите, да если б и верили, все равно не поместили бы ничего такого в Вашей газете. Свершись у Вас в редакции чудо, Вы бы и его постарались замолчать, ведь в наши дни и среди епископов немало агностиков. Впрочем, не в этом суть. Суть в том, что а семье Эксмуrow и вправду дело нечисто; что-то, надо полагать, вполне естественное, хоть и из ряда вон выходящее. И думается мне, что какую-то роль во всем этом играет Ухо, может быть, это символ или заблуждение, а может быть, заболевание или ещё что-нибудь. Одно из преданий гласит, что после Якова I кавалеры из этого рода стали носить длинные волосы только для того, чтобы спрятать ухо первого лорда Эксмурa. Впрочем, это тоже, конечно, всего лишь вымысел.

Все это я сообщаю Вам вот почему; мне кажется, что мы совершаем ошибку, нападая на аристократов только за то, что они носят бриллианты и пьют шампанское. Людям они потому нередко и нравятся, что умеют наслаждаться жизнью. Я же считаю, что мы слишком многим поступаемся, соглашаясь, что принадлежность к аристократии делает хотя бы самих аристократов счастливыми. Я предлагаю Вам цикл статей, в которых будет показано, какой мрачный, бесчеловечный и прямо-таки дьявольский дух царит в некоторых из этих великих дворцов. За примерами дело не станет; для начала же лучшего, чем «Ухо Эксмуров», не придумаешь. К концу недели я Вам раскопаю всю правду про него.

Всегда ваш Франсис Финн».

Мистер Натт подумал с минуту, уставившись на свой левый ботинок, а затем произнёс громко, звучно и совершенно безжизненно, делая ударение на каждом слове:

— Мисс Барлоу, отпечатайте письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, думаю, это пойдёт. Рукопись должна быть у нас в субботу днём. Ваш Э. Натт».

Это изысканное послание он произнёс одним духом, точно одно слово, а мисс Барлоу одним духом отстучала его на машинке, точно это и впрямь было одно слово. Затем он взял другую полосу гранок и синий карандаш и заменил слово «сверхъестественный» на «чудесный», а «расстреляны на месте» на «подавлены».

Такой приятной и полезной деятельностью мистер Натт занимался до самой субботы, которая застала его за тем же самым столом, диктующим той же самой машинистке и орудующим тем же самым карандашом над первой статьёй из цикла задуманных Финном разоблачений. Вначале Финн обрушивался на аристократов и вельмож с их гнусными тайнами и духом безнадежности и отчаяния. Написано это было прекрасным стилем, хотя и в весьма сильных выражениях; однако редактор, как водится, поручил кому-то разбить текст

⁷ Оуэрбери Томас (1581 – 1613) — английский поэт и эссеист.

⁸ Карр Сомерсет Роберт (1590 – 1645) — шотландский политический деятель.

на короткие отрывки с броскими подзаголовками — «Яд и герцогиня», «Ужасное Ухо», «Стервятники в своём гнезде», и прочее, и прочее, в том же духе на тысячу ладов. Затем следовала легенда об «Ухе», изложенная гораздо подробнее, чем в первом письме Финна, а затем уже содержание его последних открытий. Вот что он писал:

«Я знаю, что среди журналистов принято ставить конец рассказа в начало и превращать его в заголовок. Журналистика нередко в том-то и состоит, что сообщает «лорд Джонс скончался» людям, которые до того и не подозревали, что лорд Джонс когда-либо существовал. Ваш покорный слуга полагает, что этот, равно как и многие другие приёмы журналистов не имеют ничего общего с настоящей журналистикой и что «Дейли реформер» должна показать в данном случае достойный пример. Автор намерен излагать события так, как они в действительности происходили. Он назовет подлинные имена действующих лиц, многие из которых готовы подтвердить достоверность рассказа. Что же до громких выводов и эффектных обобщений, то о них Вы услышите в конце.

Я шёл по проложенной для пешеходов дорожке через чей-то фруктовый сад в Девоншире, всем своим видом наводящий на мысли о девонширском сидре, и, как нарочно, дорожка и привела меня к длинной одноэтажной таверне, — зданий, собственно, там было три: небольшой низкий коттедж, с прилегающими к нему двумя амбарами под одной соломенной кровлей, похожей на тёмные пряди волос с сединой, бог весть как попавшие сюда ещё в доисторические времена. У дверей была укреплена вывеска с надписью: «Голубой дракон», а под вывеской стоял длинный деревенский стол, какие некогда можно было видеть у дверей каждой вольной английской таверны, до того как трезвенники вкупе с пивоварами погубили нашу свободу. За столом сидели три человека, которые могли бы жить добрую сотню лет назад.

Теперь, когда я познакомился с ними поближе, разобраться в моих впечатлениях не составляет труда, но в ту минуту эти люди показались мне тремя внезапно материализовавшимися призраками. Центральной фигурой в группе — как по величине, ибо он был крупнее других во всех трёх измерениях, так и по месту, ибо он сидел в центре, лицом ко мне, — был высокий тучный мужчина, весь в чёрном, с румяным, пожалуй, даже апоплексическим лицом, высоким с залысинами лбом и озабоченно нахмуренными бровями. Вглядевшись в него попристальнее, я уж и сам не мог понять, что натолкнуло меня на мысль о старине, — разве только старинный крой его белого пасторского воротника да глубокие морщины на лбу.

Ничуть не легче передать впечатление, которое производил человек, сидевший у правого края стола. По правде говоря, вид у него был самый заурядный, таких встречаешь повсюду, — круглая голова, тёмные волосы и круглый короткий нос; однако одет он был также в чёрное платье священника, правда, более строгого покроя. Только увидев его шляпу с широкими загнутыми полями, лежавшую на столе возле него, я понял, почему его вид вызвал у меня в сознании представление о чём-то давнем: это был католический священник.

Пожалуй, главной причиной странного впечатления был третий человек, сидевший на противоположном конце стола, хотя он не выделялся ни ростом, ни обдуманностью костюма. Узкие серые брюки и рукава прикрывали (я бы мог даже сказать: стягивали) его тощие конечности. Лицо, продолговатое и бледное, с орлиным носом, казалось особенно мрачным оттого, что его впалые щёки подпирал старомодный воротник, подвязанный шейным платком. А волосы, которым следовало быть тёмно-каштановыми, в действительности имели чрезвычайно странный тусклый багряный цвет, так что в сочетании с жёлтым лицом они выглядели даже не рыжими, а скорее лиловыми. Этот неяркий, но совершенно необычный оттенок тем более бросался в глаза, что волосы вились и отличались почти неестественной густотой и длиной. Однако, поразмыслив, я склонен предположить, что впечатление старины создавали высокие бокалы, да пара лимонов, лежащих на столе, и две длинные глиняные трубки. Впрочем,

возможно, виной всему было то уходящее в прошлое дело, по которому я туда прибыл.

Таверна, насколько я мог судить, была открыта для посетителей, и я, как бывалый репортёр, не долго думая, уселся за длинный стол и потребовал сидра. Тучный мужчина в чёрном оказался человеком весьма сведущим, особенно когда речь зашла о местных достопримечательностях, а маленький человек в чёрном, хотя и говорил значительно меньше, поразил меня ещё большей образованностью. Мы разговорились; однако третий из них, старый джентльмен в узких брюках, держался надменно и отчужденно и не принимал участия в нашей беседе до тех пор, пока я не завёл речь о герцоге Эксмуре и его предках.

Мне показалось, что оба моих собеседника были несколько смущены этой темой, зато третьего она сразу же заставила разговаривать. Тон у него был весьма сдержанный, а выговор такой, какой бывает только у джентльменов, получивших самое высокое образование. Попыхивая длинной трубкой, он принялся рассказывать мне разные истории, одна другой ужаснее, — как некогда один из Эксмуров повесил собственного отца, второй привязал свою жену к телеге и протаскил через всю деревню, приказав стегать её плетьюми, третий поджёг церковь, где было много детей, и так далее, и так далее.

Некоторые из его рассказов — вроде происшествия с Алыми монахинями, или омерзительной истории с Пятнистой собакой, или истории о том, что произошло в каменоломне, — ни в коем случае не могут быть напечатаны. Однако он спокойно сидел, потягивая вино из высокого тонкого бокала, перечислял все эти кровавые и кошунственные дела, и лицо его с тонкими аристократическими губами не выражало ничего, кроме чопорности.

Я заметил, что тучный мужчина, сидевший напротив меня, делал робкие попытки остановить старого джентльмена; но, видимо, питая к нему глубокое почтение, не решался прервать его. Маленький же священник на другом конце, хотя и не выказывал никакого смущения, сидел, глядя упорно в стол, и слушал все это, по-видимому, с болью, — что, надо признать, было вполне естественно.

— Вам как будто не слишком нравится родословная Эксмуров, — заметил я, обращаясь к рассказчику.

С минуту он молча глядел на меня, чопорно поджав побелевшие губы, затем разбил о стол свою длинную трубку и бокал и поднялся во весь рост — настоящий джентльмен с безупречными манерами и дьявольски вспыльчивым характером.

— Эти господа вам скажут, — проговорил он, — есть ли у меня основания восхищаться их родословной. С давних времен проклятие Эров тяготеет над этими местами, и многие от него пострадали. Этим господам известно, что нет никого, кто пострадал бы от него больше, чем я.

С этими словами он раздавил каблуком осколок стекла, упавший на землю, и зашагал прочь. Вскоре он исчез в зелёных сумерках среди мерцающих яблоневых стволов.

— Чрезвычайно странный джентльмен, — обратился я к оставшимся. — Не знаете ли вы случайно, чем ему досадило семейство Эксмуров? Кто он такой?

Тучный человек в чёрном дико уставился на меня, словно бык, загнанный на бойню; видимо, он не сразу понял мой вопрос. Наконец он вымолвил:

— Неужто вы не знаете, кто он?

Я заверил его в своём неведении, и за столом снова воцарилось молчание; спустя какое-то время маленький священник, все ещё не поднимая глаз от стола, сказал:

— Это герцог Эксмур.

И, прежде чем я успел собраться с мыслями, он прибавил с прежним спокойствием, словно ставя все на свои места:

— А это доктор Малл, библиотекарь герцога. Моё имя — Браун.

— Но, — проговорил я, заикаясь, — если это герцог, зачем он так поносит своих предков?

— Он, по-видимому, верит, что над ним тяготеет наследственное проклятие, — ответил священник по имени Браун. И затем добавил, казалось, без

всякой связи: — Вот потому-то он и носит парик.

Только через несколько секунд смысл его слов дошёл до моего сознания.

— Неужто вы имеете в виду эту старую сказку про диковинное ухо? — удивился я. — Конечно, я слышал о ней, но не сомневаюсь, что это всё суеверие и вымысел, не более, хотя, возможно, она и возникла на какой-то достоверной основе. Иногда мне приходит в голову, что это, наверное, фантазия на тему о наказаниях, которым подвергали в старину преступников; в шестнадцатом веке, например, им отрубали уши.

— Мне кажется, дело не в этом, — в раздумье произнёс маленький священник. — Как известно, наука и самые законы природы не отрицают возможности неоднократного повторения в семье одного и того же уродства, когда, например, одно ухо значительно больше другого.

Библиотекарь, стиснув большую лысую голову большими красными руками, сидел в позе человека, размышляющего о том, в чём состоит его долг.

— Нет, — проговорил он со стоном, — вы всё-таки несправедливы к этому человеку. Поймите, у меня нет никаких оснований защищать его или хотя бы хранить верность его интересам. По отношению ко мне он был таким же тираном, как и ко всем другим. Не думайте, что если он сидел здесь запросто с нами, то он уже перестал быть настоящим лордом в самом худшем смысле этого слова. Он позовёт слугу, находящегося от него за милую, и велит ему позвонить в звонок, висящий в двух шагах от него самого, для того только, чтобы другой слуга, находящийся за три мили, принёс ему спички, до которых ему надо сделать три шага. Ему необходим один ливрейный лакей, чтобы нести его трость, и другой, чтобы подавать ему в опере бинокль...

— Зато ему не нужен камердинер, чтобы чистить его платье, — вставил священник на удивление сухо. — Потому что камердинер вздумал бы почистить и парик.

Библиотекарь взглянул на него, очевидно, совсем забыв о своём существовании; он был глубоко взволнован и, как мне показалось, несколько разгорячен вином.

— Не знаю, откуда вам это известно, отец Браун, — сказал он, — но это правда. Он заставляет других всё делать за себя, но одевается он сам. И всегда в полном одиночестве; за этим он следит неукоснительно. Стоит кому-нибудь оказаться неподалеку от дверей его туалетной комнаты, как его тотчас изгоняют из дома и даже рекомендации не дают.

— Приятный старичок, — заметил я.

— О, нет, отнюдь не приятный, — отвечал доктор Малл просто. — И всё же именно это я и имел в виду, когда сказал, что со всем тем вы к нему несправедливы. Джентльмены, герцога действительно мучает горечь проклятия, о котором он говорил. С искренним стыдом и ужасом прячет он под лиловым париком нечто ужасное, созерцание чего, как он думает, не под силу сынам человеческим. Я знаю, что это так; я также знаю, что это не просто клеймо преступника или наследственное уродство, а что-то совсем другое. Я знаю, что это нечто гораздо страшнее. Я слышал об этом из уст очевидца, присутствовавшего при сцене, которую выдумать невозможно, когда человек, гораздо мужественнее любого из нас, пытался проникнуть в эту ужасную тайну и в страхе бежал прочь.

Я открыл было рот, но Малл продолжал, по-прежнему сжимая ладонями лицо и совершенно забыв о моём присутствии:

— Я могу рассказать вам об этом, отец мой, потому что это будет скорее защитой, чем изменой бедному герцогу. Вам никогда не приходилось слышать о тех временах, когда он едва не лишился всех своих владений?

Священник отрицательно покачал головой; и библиотекарь рассказал нам длинную историю, — он слышал её от своего предшественника, который был ему покровителем и наставником и к которому он питал, как было ясно из его рассказа, безграничное доверие. Вначале это была обычная история о разорении древнего рода и о семейном адвокате. У адвоката, надо отдать ему должное, хватило ума обманывать честно — надеюсь, читатель понимает, что я хочу сказать. Вместо того

чтобы просто воспользоваться доверенными ему суммами, он воспользовался неосмотрительностью герцога и вовлек всю семью в финансовую ловушку, так что герцог был поставлен перед необходимостью отдать ему эти суммы уже не на хранение, а в собственность.

Адвокат носил имя Исаак Грин, но герцог всегда звал его Елисеєм⁹, очевидно, потому что человек этот был совершенно лыс, хотя ему и не исполнилось ещё тридцати. Поднялся он стремительно, начав, однако, с весьма тёмных делишек: некогда он был доносчиком, или осведомителем, а потом занимался ростовщичеством; однако, став поверенным Эксмуров, он обнаружил, как я уже сказал, достаточно здравого смысла и строго держался формальностей, покуда не подготовил решительный удар. Он нанёс его во время обеда: старый библиотечарь говорил, что до сих пор помнит, как блестели хрустальные люстры и графины, когда безродный адвокат с неизменной улыбкой на устах предложил старому герцогу, чтобы тот отдал ему половину своих владений. Того, что последовало за этим, забыть невозможно: в гробовой тишине герцог схватил графин и запустил его в лысую голову адвоката так же стремительно, как сегодня он разбил свой бокал о стол в саду. На черепе адвоката появилась треугольная рана, выражение его глаз изменилось, однако улыбка осталась прежней. Покачиваясь, он встал во весь рост и нанёс ответный удар, что и следовало ожидать от подобного человека.

— Это меня радует, — сказал он, — ибо теперь я смогу получить ваши владения целиком. Их отдаст мне закон.

Говорят, что лицо Эксмур стало серым, как пепел, но глаза его все ещё горели.

— Закон их вам отдаст, — отвечал он, — но вы их не получите... Почему? Да потому, что для меня это было бы концом. И если вы вздумаете их взять, я сниму парик... Да, жалкий общипанный гусь, твою лысину каждый может видеть. Но всякий, кто увидит мою, погибнет.

Можете говорить всё что угодно и делать из этого какие угодно выводы, но Малл клянётся, что мгновение адвокат стоял, потрясая в воздухе сжатыми кулаками, а затем попросту выбежал из залы и никогда больше не возвращался в эти края; с тех пор Эксмур внушает людям ещё больший ужас как колдун, чем как судья и помещик.

Доктор Малл сопровождал свой рассказ весьма театральными жестами, вкладывая в повествование пыл, который мне показался по меньшей мере излишним. Я же думал о том, что вся эта история скорее всего была плодом фантазии старого сплетника и хвастуна. Однако, прежде чем закончить первую половину отчёта о моих открытиях, я должен по справедливости сознаться, что, решив навести справки, я тут же получил подтверждение его рассказа. Старый деревенский аптекарь поведал мне однажды, что ночью к нему явился какой-то лысый человек во фраке, который назвался Грином, и попросил залепить пластырем треугольную рану у себя на лбу. А из судебных отчётов и старых газет я узнал, что некто Грин угрожал герцогу Эксмур судным процессом, который в конце концов и был возбужден».

Мистер Натт, редактор газеты «Дейли реформер», начертал несколько в высшей степени непонятных слов на первой странице рукописи, наставил на полях несколько в высшей степени загадочных знаков и своим ровным, громким голосом обратился к мисс Барлоу.

— Отпечатайте письмо мистеру Финну.

«Дорогой Финн, Ваша рукопись пойдёт, только пришлось разбить её на абзацы с подзаголовками. И потом, наша публика не потерпит в рассказе

⁹ Елисей — один из библейских пророков, по преданию, подвергавшийся насмешкам из-за своей лысины.

католического священника — надо учитывать настроения предместий. Я исправил его на мистера Брауна, спиритуалиста.

Ваш Э. Натт».

Вторник застал этого энергичного и предусмотрительного редактора за изучением второй половины рассказа мистера Финна о тайнах высшего света. Чем дальше он читал, тем шире раскрывались его синие глаза. Рукопись начиналась словами:

«Я сделал поразительное открытие. Смело признаюсь, что оно превзошло все мои ожидания и будет потрясающей сенсацией. Без тщеславия позволю себе сказать, что то, о чём я сейчас пишу, будет читаться во всей Европе и, уж конечно, во всей Америке и колониях. А узнал я это за тем же скромным деревенским столом, в том же скромном яблонево́м саду.

Своим открытием я обязан маленькому священнику Брауну, он необыкновенный человек. Тучный библиотекарь оставил нас, возможно, устыдившись своей болтливости, а возможно, обеспокоившись тем приступом ярости, в котором удалился его таинственный хозяин, как бы то ни было, он последовал, тяжело ступая, за герцогом и вскоре исчез среди деревьев. Отец Браун взял со стола лимон и принялся рассматривать его с непонятным удовольствием.

— Какой прекрасный цвет у лимона! — сказал он. — Что мне не нравится в парике герцога, так это его цвет.

— Я, кажется, не совсем понимаю, — ответил я.

— Надо полагать, у него есть свои основания прятать уши, как были они и у царя Мидаса, — продолжал священник с весёлой простотой, звучавшей, однако, в данных обстоятельствах весьма легкомысленно. — И я вполне понимаю, что гораздо приятнее прятать их под волосами, чем под железными пластинами или кожаны́ми наушниками. Но если он выбрал волосы, почему бы не сделать, чтобы они походили на волосы? Ни у кого на свете никогда не было волос такого цвета. Этот парик больше похож на озарённую закатным солнцем тучку, спрятавшуюся за деревьями, чем на парик. Почему он не скрывает своё родовое проклятие получше, если он действительно его стыдится? Сказать вам, почему? Да потому, что он вовсе его не стыдится. Он им гордится.

— Трудно гордиться таким ужасным париком и такой ужасной историей, — сказал я.

— Это зависит от того, — сказал странный маленький человечек, — как к этому относиться. У вас, полагаю, снобизма и тщеславия не больше, чем у других; так вот, скажите сами, нет ли у вас смутного чувства, что древнее родовое проклятие — совсем не такая уж плохая вещь? Не будет ли вам скорее лестно, чем стыдно, если наследник ужасных Глэмисов назовет вас своим другом? Или если семейство Байронов доверит вам, и одному только вам, греховные тайны своего рода? Не судите же так сурово и аристократов за их слабости и за снобизм в отношении к собственным несчастьям, ведь и мы страдали бы на их месте тем же.

— Честное слово, — воскликнул я, — всё это истинная правда! В семье моей матери была собственная фея смерти, и признаюсь, что в трудные минуты это обстоятельство часто служило мне утешением.

— Вы только вспомните, — продолжал он, — какой поток крови и яда излился из тонких губ герцога, стоило вам лишь упомянуть его предков. Зачем бы ему рассказывать обо всех этих ужасах первому встречному, если он не гордится ими? Он не скрывает того, что носит парик, он не скрывает своего происхождения, он не скрывает своего родового проклятия, он не скрывает своих предков, но...

Голос маленького человечка изменился так внезапно, он так резко сжал кулак и глаза его так неожиданно стали блестящими и круглыми, как у проснувшейся совы, что впечатление было такое, будто перед глазами у меня вдруг разорвалась небольшая бомба.

— Но, — закончил он, — герцог блюдёт тайну своего туалета!

Напряжение моих нервов достигло в эту минуту предела, потому что

внезапно из-за угла дома показался в сопровождении библиотекаря герцог в своём парике цвета заката; неслышными шагами он молча прошёл меж мерцающих стволов яблонь. Прежде чем он приблизился настолько, чтобы разобрать наши слова, отец Браун спокойно добавил:

— Почему же он так оберегает тайну своего лилового парика? Да потому, что эта тайна совсем не то, что мы предполагаем.

Меж тем герцог приблизился и с присущим ему достоинством снова занял своё место у стола. Библиотекарь в замешательстве топтался на месте, как большой медведь на задних лапах, не решаясь сесть.

С превеликой церемонностью герцог обратился к маленькому священнику.

— Отец Браун, — сказал он, — доктор Малл сообщил мне, что вы приехали сюда, чтобы обратиться ко мне с просьбой. Не стану утверждать, что все ещё исповедую религию своих предков; но, в память о них и в память о давних днях нашего первого знакомства, я готов выслушать вас. Однако вы, вероятно, предпочли бы говорить без свидетелей...

То, что осталось во мне от джентльмена, побудило меня встать. А то, что есть во мне от журналиста, побудило меня застыть на месте. Но, прежде чем я успел выйти из своего оцепенения, маленький священник быстрым жестом остановил меня.

— Если ваша светлость соблаговолит выслушать мою просьбу, — сказал он, — и если я сохранил ещё право давать вам советы, я бы настоятельно просил, чтобы при нашем разговоре присутствовало как можно больше народу. Повсеместно я то и дело встречаю сотни людей, среди которых немало даже моих единоверцев, чьё воображение поражено суеверием, которое я заклинаю вас разрушить. Я хотел бы, чтобы весь Девоншир видел, как вы это сделаете!

— Сделаю что? — спросил герцог, с удивлением поднимая брови.

— Снимете ваш парик, — ответил отец Браун.

Лицо герцога по-прежнему оставалось неподвижным; он только устремил на просителя остекленевший взор — страшнее выражения я не видел на человеческом лице. Я заметил, что массивные ноги библиотекаря заколебались, подобно отражению стеблей в пруду, и мне почудилось, — как ни гнал я эту нелепую фантазию из своей головы, — будто в тишине вокруг нас на деревьях неслышно рассаживаются не птицы, а духи ада.

— Я пощажу вас, — произнёс герцог голосом, в котором звучало сверхчеловеческое снисхождение. — Я отклоняю вашу просьбу. Дай я вам хоть малейшим намёком понять, какое бремя ужаса я должен нести один, вы бы упали мне в ноги, с воплями умоляя меня не открывать остального. Я вас избавлю от этого. Вы не прочтёте и первой буквы из той надписи, что начертана на алтаре Неведомого Бога.

— Я знаю этого Неведомого Бога, — сказал маленький священник спокойным величием уверенности, твёрдой, как гранитная скала. — Мне известно его имя, это Сатана. Истинный Бог был рождён во плоти и жил среди нас. И я говорю вам: где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно для глаза, взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима, — вынесите её. Я заклинаю вашу светлость покончить с этим кошмаром немедленно, раз и навсегда.

— Если я сделаю это, — тихо проговорил герцог, — вы содрогнётесь и погибнете вместе со всем тем, во что вы верите и чем вы живёте. В один мимолётный миг вы познаете великое Ничто и умрёте.

— Христово распятие да пребудет с нами, — сказал отец Браун. — Снимите парик!

В сильнейшем волнении слушал я эту словесную дуэль, опираясь о стол руками; внезапно в голову мне пришла почти неосознанная мысль.

— Ваша светлость! — вскричал я. — Вы блефуете! Снимите парик, или я собою его у вас с головы!

Вероятно, меня можно привлечь к суду за угрозу насилием, но я очень

доволен, что поступил именно так. Всё тем же каменным голосом он повторил: «Я отказываюсь это сделать», — и тогда я кинулся на него.

Не менее трёх долгих минут он сопротивлялся с таким упорством, как будто все силы ада помогали ему, я запрокидывал его голову назад, покуда наконец шапка волос не свалилась с неё. Должен признаться, что в эту минуту я зажмурил глаза.

Пришёл я в себя, услышав громкое восклицание Малла, подбегавшего к нам. Мы оба склонились над обнажившейся лысиной герцога. Молчание было прервано возгласом библиотекаря:

— Что это значит? Этому человеку нечего было прятать. У него точно такие же уши, как и у всех.

— Да, — сказал отец Браун, — вот это ему и приходилось прятать.

Священник подошёл вплотную к герцогу, но, как ни странно, даже не взглянул на его уши. С почти комической серьёзностью он уставился на его лысый лоб, а затем указал на треугольный рубец, давно заживший, но все ещё различимый.

— Мистер Грин, насколько я понимаю, — учтиво произнёс он. — В конце концов он всё же получил герцогские владения целиком.

А теперь позвольте мне сообщить читателям нашей газеты то, что представляется мне наиболее удивительным во всей этой истории. Эти превращения, в которых вы, наверно, склонны будете увидеть безудержную фантазию на манер персидских сказок, на деле с самого начала (не считая нанесённого мною оскорбления действием) были вполне законны и формально безупречны. Человек с необычным шрамом и обычными ушами не самозванец. Хотя он и носит (в известном смысле) чужой парик и претендует на чужие уши, он не присвоил себе чужого титула. Он действительно и неоспоримо является герцогом Эксмуром. Вот как это произошло, У старого герцога Эксмур и вправду была небольшая деформация уха, которая и вправду была в какой-то мере наследственной. Он и вправду относился к ней весьма болезненно и вполне мог назвать её проклятием во время той бурной сцены (вне всякого сомнения, имевшей место), когда он запустил в адвоката графином. Но завершилось это сражение совсем не так, как говорят. Грин вчинил иск и получил владения герцога, обнищавший герцог застрелился, не оставив потомства. Через приличествующий промежуток времени прекрасное британское правительство воскресило «угасший» герцогский род Эксмуров и, как водится, присвоило их древнее имя и титул наиболее значительному лицу — тому, к кому перешла собственность Эксмуров.

Этот человек воспользовался средневековыми баснями, — возможно, что, привыкнув склоняться перед знатью, в глубине души он и впрямь восхищался ею и завидовал Эксмурам. И вот тысячи бедных англичан трепещут перед одним из представителей старинного рода и древним проклятием, что тяготеет над его головой, увенчанной герцогской короной из зловещих звёзд. На деле же они трепещут перед тем, чьим домом некогда была сточная канава и кто был кляузником и ростовщиком каких-нибудь двенадцать лет назад.

Думается мне, что вся эта история весьма типична для нашей аристократии, как она есть сейчас и каковой пребудет до той поры, пока господь не пошлёт нам людей решительных и храбрых».

Мистер Натт положил на стол рукопись и с необычной резкостью обратился к мисс Барлоу:

— Мисс Барлоу, письмо мистеру Финну, пожалуйста.

«Дорогой Финн, Вы, должно быть, сошли с ума, мы не можем этого касаться. Мне нужны были вампиры, недобрые старые времена и аристократия вместе с суевериями. Такие вещи нравятся. Но Вы должны понять, что этого Эксмуров мы никогда не простят. А что скажут наши, хотел бы я знать? Ведь сэр Саймон и Эксмур — давнишние приятели. А потом, такая история погубит родственника

Эксмуров, который стоит за нас горой в Брэдфорде. Кроме того, старик Мыльная Водица и так был зол, что не получил титула в прошлом году. Он уволил бы меня по телеграфу, если бы снова лишился его из-за нашего сумасбродства. А о Даффи вы подумали? Он пишет для нас цикл сенсационных статей «Пята норманна». Как же он будет писать о норманнах, если это всего лишь стряпчий? Будьте же благоразумны.

Ваш Э. Натт».

И пока мисс Барлоу весело отстукивала послание на машинке, он смял рукопись в комок и швырнул её в корзину для бумаг; но прежде он успел, автоматически, просто в силу привычки, заменить слово «Бог» на «обстоятельства».

СТРАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЖОНА БОУЛНОЙЗА

Мистер Кэлхоун Кидд был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией — физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена иссиня-чёрными волосами и чёрным галстуком-бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада», или, как её шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати (по слухам, принадлежащее самому мистеру Кидду): он полагал, что «Солнце ещё взойдёт на западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее». Однако те, кто насмехается над американской журналистикой, придерживаясь несколько более мягкой традиции, забывают об одном парадоксе, который отчасти её оправдывает. Ибо хотя в американской прессе допускается куда большая внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам вовсе неведомы, а вернее, просто не по зубам. «Солнце» освещало самые серьёзные темы, причём самым смехотворным образом. На его страницах Уильям Джеймс¹⁰ соседствует с «Хитрюгой Уилли», и в длинной галерее его портретов прагматисты чередуются с кулачными бойцами.

И потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Боулнойз поместил в весьма скучном журнале «Философия природы», выходящем раз в три месяца, серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели, хотя теория Боулнойза (он утверждал, что вселенная сравнительно устойчива, но время от времени её потрясают катаклизмы) стала модной в Оксфорде и её даже назвали «теорией катастроф»; зато многие американские газеты ухватились за этот вызов, как за великое событие, и «Солнце» отбросило на свои страницы гигантскую тень мистера Боулнойза. В соответствии с уже упомянутым парадоксом, статьям, исполненным ума и воодушевления, давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда, например: «Дарвин сел в калошу. Критик Боулнойз говорит: «Он прохлопал скачки», или: «Держитесь катастроф», — советует мудрец Боулнойз». И мистеру Кэлхоуну Кидду из «Солнца Запада», с его галстуком-бабочкой и мрачной физиономией, было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Боулнойз проживал в счастливом неведении относительно своего титула.

Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлён, но согласился принять журналиста в тот же день в девять вечера. Свет заходящего солнца освещал уже лишь невысокие, поросшие лесом холмы; романтичный янки не знал толком дороги, притом ему любопытно было всё вокруг — и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу «Герб Чемпиона», он вошёл в отворенную дверь, чтобы всё разузнать.

Оказавшись в баре, он позвонил в колокольчик, и ему пришлось немного подождать, пока кто-нибудь выйдет. Кроме него, тут был ещё только один человек — тощий, с густыми

¹⁰ Джеймс Уильям (1842 – 1910) — американский психолог и философ.

рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме, он пил очень скверное виски, но сигару курил отличную. Выбор виски принадлежал, разумеется, «Гербу Чэмпииона», а сигару он, вероятно, привёз с собой из Лондона. Беззастенчиво небрежный в одежде, он с виду казался разительной противоположностью щеголеватому, подтянутому молодому американцу, но карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть, и что-то в выражении живых голубых глаз навели Кидда на мысль, что перед ним собрат по перу, — и он не ошибся.

— Будьте так любезны, — начал Кидд с истинно американской обходительностью, — вы не скажете, как пройти к Серому коттеджу, где, как мне известно, живёт мистер Боулнойз?

— Это в нескольких шагах отсюда, дальше по дороге, — ответил рыжий, вынув изо рта сигару. — Я и сам сейчас двинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендрегон-парк и постараюсь увидеть всё собственными глазами.

— А что это за Пендрегон-парк? — спросил Кэлхоун Кидд.

— Дом сэра Клода Чэмпииона. А вы разве не за тем же приехали? — спросил рыжий, подняв на него глаза. — Вы ведь тоже газетчик?

— Я приехал, чтоб увидаться с мистером Боулнойзом, — ответил Кидд.

— А я — чтоб увидаться с миссис Боулнойз. Но дома я её ловить не буду, — и он довольно противно засмеялся.

— Вас интересует теория катастроф? — спросил озадаченный янки.

— Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать, — хмуро ответил его собеседник. — Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так.

Тут он сплюнул на пол, но даже по тому, как он это сделал, сразу видно было, что он происхождения благородного.

Американский репортёр посмотрел на него внимательней. Лицо бледное и рассеянное, лицо человека сильных и опасных страстей, которые ещё вырвутся наружу, но при этом умного и легко уязвимо; одежда грубая и небрежная, но духи тонкие, пальцы длинные и на одном — дорогой перстень с печаткой. Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой; он сын обанкротившегося ирландского землевладельца и работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортёра и, что мучительней всего, почти соглядатая.

Должен с сожалением заметить, что «Светское общество» осталось совершенно равнодушным к спору Боулнойза с Дарвином, спору, который так заинтересовал и взволновал «Солнце Запада», что, конечно, делает ему честь. Делрой приехал, видимо, затем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам, а пока назревал между Серым коттеджем и Пендрегон-парком

Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чэмпиион был известен не хуже мистера Боулнойза. Папа Римский и победитель дерби тоже им были известны; но мысль, что они знакомы между собой, показалась бы Кидду столь же несообразной. Он слышал о сэре Клоде Чэмпиионе и писал, да ещё в таком тоне, словно хорошо его знает, как «об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка». Это замечательный спортсмен, который плавает на яхтах вокруг света; знаменитый путешественник — автор книг о Гималаях, политик, который получил на выборах подавляющее большинство голосов, ошелолив избирателей необычайной идеей консервативной демократии, и в придачу — талантливый любитель-художник, музыкант, литератор и, главное, актёр. На взгляд любого человека, только не американца, сэр Клод был личностью поистине великолепной. В его всеобъемлющей культуре и неуёмном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения; его отличала не только необычайная широта интересов, но и страстная им приверженность. В нём не было ни на волос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант».

Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-чёрным, точно у итальянца,

глазом постоянно появлялись и в «Светском обществе», и в «Солнце Запада» — и всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает честолюбие. Но хотя Кидд немало знал о сэре Клоде, по правде сказать, знал даже то, чего и не было, ему и во сне не снилось, что между столь блестящим аристократом и только-только обнаруженным основателем теории катастроф существует какая-то связь, и, уж конечно, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чэмпиона и Джона Боулнойза связывают узы дружбы. И, однако, Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны, и, несмотря на огромную разницу в общественном положении (Чэмпион крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Боулнойз бедный учёный, до самого последнего времени вдобавок никому не известный), они и теперь постоянно встречались. И домик Боулнойза стоял у самых ворот Пендрегон-парка.

Но вот надолго ли ещё они останутся друзьями — теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Боулнойз женился на красивой и не лишенной таланта актрисе, которую любил на свой лад — застенчивой и наводящей скуку любовью; соседство Чэмпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя напоказ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендрегона беспрестанно отвозили миссис Боулнойз букеты, кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Боулнойз, в имении сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Боулнойз, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кидд избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чэмпион устраивал под открытым небом представление «Ромео и Джульетта», причём в роли Ромео должен был выступать он сам, а Джульетту и называть незачем.

— Без столкновения тут не обойдётся, — с этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. — Старика Боулнойза могли обтесать, или он сам обтесался. Но если он и обтесался, он глуп... уж вовсе дубина. Только я в это не очень верю.

— Это глубокий ум, — проникновенно произнёс Кэлхоун Кидд.

— Да, — сказал Делрой, — но даже глубокий ум не может быть таким непроходимым болваном. Вы уже идёте? Я тоже сейчас двинусь.

Но Кэлхоун Кидд допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к Серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал, небеса были тёмные, зеленовато-серые, цвета сланца, кое-где уже проглянули звёзды, слева небо светлело в предчувствии луны.

Серый коттедж, который, так сказать, засел за высокой прочной изгородью из колючего кустарника, стоял в такой близости от сосен и ограды парка, что поначалу Кидд принял его за домик привратника. Однако, заметив на узкой деревянной калитке имя «Боулнойз» и глянув на часы, он увидел, что время, назначенное «мудрецом», настало, вошёл и постучал в парадное. Оказавшись во дворе, он понял, что дом, хотя и достаточно скромный, больше и роскошней, чем представлялось с первого взгляда, и нисколько не похож на сторожку. Собачья конура и улей стояли здесь как привычные символы английской сельской жизни; из-за щедро увешанных плодами грушевых деревьев поднималась луна; пёс, вылезший из конуры, имел вид почтенный и явно не желал лаять; и просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством.

— Мистер Боулнойз просил передать вам свои извинения, сэр, но он вынужден был неожиданно уйти, — сказал слуга.

— Но послушайте, он же назначил мне свидание, — повысил голос репортёр. — А вам известно, куда он пошёл?

— В Пендрегон-парк, сэр, — довольно хмуро ответил слуга и стал затворять дверь.

Кидд слегка вздрогнул. И спросил сбивчиво:

— Он пошёл с миссис... вместе со всеми?

— Нет, сэр, — коротко ответил слуга. — Он оставался дома, а потом пошёл один. — И решительно, даже грубо захлопнул дверь, но вид у него при этом был такой, словно он поступил не так, как надо.

Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Ему очень хотелось немного их всех встряхнуть, пусть научатся вести себя по-деловому, — и дряхлого старого пса, и седеющего угрюмого старика дворецкого в допотопной манишке, и сонную старушку луну, а главное рассеянного старого философа, который назначил час, а сам ушёл из дома.

— Раз он так себя ведёт, поделом ему, он не заслуживает привязанности жены, — сказал мистер Кэлхоун Кидд. — Но, может, он пошёл устраивать скандал. Тогда, похоже, представитель «Солнца Запада» будет там очень кстати.

И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей в глубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а меж ними в небе светили звёзды. Кидд был из тех людей, кто воспринимает природу не непосредственно, а через литературу, и ему все вспоминался «Рейвенсвуд». Виною тому отчасти были чернеющие, как вороново крыло, мрачные сосны, а отчасти и непередаваемо жуткое ощущение, которое Вальтеру Скотту почти удалось передать в его знаменитой трагедии; тут веяло чем-то, что умерло в восемнадцатом веке; веяло пронизывающей сыростью старого парка, и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, — чем-то неизменно печальным, хотя и странно нереальным.

Он шёл по этой строгой чёрной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался: ему чудились впереди чьи-то шаги. Но впереди видны были только две одинаковые мрачные стены сосен да над ними клин усыпанного звёздами неба. Сначала он подумал, что это игра воображения или что его обманывает эхо его собственных шагов. Но чем дальше, тем определённое остатки разума склоняли его к мысли, что впереди в самом деле шагает кто-то ещё. Смутно подумалось: уж не призрак ли там, и он даже удивился — так быстро представилось ему вполне подходящее для этих мест привидение: с лицом белым, как у Пьеро, только в чёрных пятнах. Вершина тёмно-синего небесного треугольника становилась все ярче и светлей, но Кидд ещё не понимал, что это всё ближе огни, которыми освещены огромный дом и сад. Он лишь всё явственней ощущал вокруг что-то недоброе, всё сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны, всё сильнее охватывало предчувствие... он не сразу подыскал слово и наконец со смешком его произнёс — катастрофы.

Ещё сосны, ещё кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращённый в камень. Бессмысленно говорить, будто он почувствовал, что всё это происходит во сне; нет, на сей раз он ясно почувствовал, что сам угодил в какую-то книгу. Ибо мы, люди, привыкли ко всяким нелепостям, привыкли к вопиющим несообразностям; под их разноголосицу мы засыпаем. Если же случится что-нибудь вполне сообразное с обстоятельствами, мы пробуждаемся, словно вдруг зазвенела какая-то до боли прекрасная струна. Случилось нечто, чему впору было случиться в такой вот аллее на страницах какой-нибудь старинной повести.

За чёрной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнажённая шпага. Такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кидд метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно; большие рубины на эфесе вызвали некоторое сомнение. Зато другие красные капли, на клинке, сомнений не вызывали.

Кидд как ужаленный обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд, — в этом месте траурно-чёрную стену сосен рассекла узкая дорожка; Кидд пошёл по ней, и глазам его открылся длинный, ярко освещённый дом, а перед домом — озеро и фонтаны. Но Кидд не стал на все это смотреть, ибо увидел нечто более достойное внимания.

Над ним, в укромном местечке, на крутом зелёном склоне расположенного террасами парка притаился один из тех живописных сюрпризов, которые так часто встречаются в старинных, прихотливо разбитых садах и парках — подобие круглого холмика или небольшого купола из травы, точно жилище крота-великана, опоясанное и увенчанное тройным кольцом розовых кустов, а наверху, на самой середине, солнечные часы. Кидду видна была стрелка циферблата — она выделялась на тёмном небосводе, точно спинной плавник акулы, и к бездействующим этим часам понапрасну лнул лунный луч. Но на краткий сумасбродный миг к ним прильнуло и нечто другое: какой-то человек.

И хотя Кидд видел его лишь одно мгновение, и хотя на нём было чужеземное диковинное одеяние — от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое с золотой искрой, — при проблеске света Кидд узнал этого человека. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, чёрные, уже седеющие кудри. Кидд тысячу раз видел портреты сэра Клода Чэмпиона. Человек в нелепом красном костюме покачнулся, и вдруг покатился по крутому склону, и вот лежит у ног американца, и только рука его слабо вздрагивает. При виде броско и странно украшенного золотом рукава Кидд разом вспомнил про «Ромео и Джульетту»; конечно же, облегающий малиновый камзол — это из спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса — это уже не из спектакля. Он был пронзён насквозь.

Мистер Кэлхоун Кидд закричал, ещё и ещё раз. И снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился ещё один человек. Человека этого он узнал и, однако, при виде его похолодел от ужаса. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен; если Боулнойза не оказалось там, где он же назначил встречу, у Делроя была зловещая способность появляться там, где встречи с ним никто не ждал. Лунный свет всё обесцветил: в рамке рыжих волос изнурённое лицо Делроя казалось уже не столько бледным, сколько бледно-зелёным.

Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кидда:

— Это твоих рук дело, дьявол?

Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова, — лежащий на земле вновь пошевелил рукой, слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и наконец через силу заговорил:

— Боулнойз... Да, Боулнойз... Это Боулнойз из ревности... он ревновал ко мне, ревновал...

Кидд наклонился, пытаясь расслышать как можно больше, и с трудом уловил:

— Боулнойз... моей же шпагой... он отбросил её...

Слабеющая рука снова махнула в сторону шпаги и упала неживая, глухо ударившись оземь. Тут в Кидде прорвалась та резкость, что дремлет на дне души его невозмутимого племени.

— Вот что, — распорядился он, — сходите-ка за доктором. Этот человек умер.

— Наверно, и за священником, кстати, — с непроницаемым видом сказал Делрой. — Все эти Чэмпионы — паписты.

Американец опустился на колени подле тела, послушал, не бьётся ли сердце, положил повыше голову и как мог попытался привести Чэмпиона в сознание, но ещё до того, как второй журналист привёл доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали.

— И вы сами тоже опоздали? — спросил доктор, плотный, на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и бакенбардах, но с живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда.

— В известном смысле да, — с нарочитой медлительностью ответил представитель «Солнца». — Я опоздал и не сумел его спасти, но, сдаётся мне, я пришёл вовремя, чтобы услышать нечто важное. Я слышал, как умерший назвал своего убийцу.

— И кто же убийца? — спросил доктор, сдвинув брови.

— Боулнойз, — ответил Кэлхоун Кидд и негромко присвистнул.

Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человечек, державшийся в тени, сказал кротко:

— Насколько я знаю, мистер Боулнойз не собирался сегодня в Пендрегон-парк.

— Тут мне опять есть что сообщить старушке Англии, — жестко сказал янки. — Да, сэр, Джон Боулнойз собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя. Но Джон Боулнойз передумал. Час назад, или около того, он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендрегон-парк. Так мне сказал его дворецкий. Сдаётся мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом... а за полицией вы послали?

— Да, — сказал доктор, — но больше мы пока никого не стали тревожить.

— Ну, а миссис Боулнойз знает? — спросил Джеймс Делрой. И Кидд снова ощутил безрассудное желание стукнуть кулаком по этим кривящимся в усмешке губам.

— Я ей не сказал, — угрюмо ответил доктор. — А сюда едет полиция.

Маленький священник отошёл было на главную аллею и теперь вернулся с брошенной шпагой, — в руках этого приземистого человечка в сутане, да притом такого с виду буднично заурядного, она выглядела нелепо огромной и театральной.

— Пока полицейские ещё не подошли, у кого-нибудь есть огонь? — спросил он, будто извиняясь.

Кидд достал из кармана электрический фонарик, священник поднёс его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать, потом, не взглянув ни на острие, ни на головку эфеса, отдал оружие доктору.

— Боюсь, я здесь бесполезен, — сказал он с коротким вздохом. — Доброй ночи, джентльмены.

И он пошёл по тёмной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову.

Остальные заторопились к главным воротам, где инспектор и двое полицейских уже разговаривали с привратником. А в густой тени под сводами ветвей маленький священник всё замедлял и замедлял шаг и наконец, уже на ступенях крыльца, вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру; ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Кэлхоун Кидд, которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения, из серебристого атласа, золотые волосы её спадали двумя длинными блестящими косами, лицо поражало бледностью — она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и негромкий, звучал уверенно.

— Отец Браун? — спросила она.

— Миссис Боулнойз? — сдержанно отозвался священник. Потом внимательно посмотрел на неё и прибавил. — Я вижу, вы уже знаете о сэре Клоде.

— Откуда вы знаете, что я знаю? — очень спокойно спросила она.

Он ответил вопросом на вопрос:

— Вы видели мужа?

— Муж дома, — сказала миссис Боулнойз. — Он здесь ни при чём.

Священник не ответил, и женщина подошла ближе, лицо её выражало какую-то удивительную силу.

— Сказать вам ещё кое-что? — спросила она, и на губах её даже мелькнула несмелая улыбка. — Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете.

Отец Браун ответил ей долгим серьёзным взглядом и ещё серьёзней кивнул.

— Отец Браун, — сказала она, — я расскажу вам всё, что знаю, только сперва окажите мне любезность. Объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона? Говорите всё, как есть. Я... я знаю, какие ходят толки, и, конечно, по

видимости, всё против него.

Отец Браун, явно смущённый, провёл рукой по лбу.

— Тут есть два совсем незначительных соображения, — сказал он. — По крайней мере, одно совсем пустячное, а другое весьма смутное. И, однако, они не позволяют думать, что убийца — мистер Боулнойз. — Он поднял своё круглое непроницаемое лицо к звёздам и словно бы рассеянно продолжал: — Начнём со смутного соображения. Я верю в смутные соображения. Всё то, что «не является доказательством», как раз меня и убеждает. На мой взгляд, нравственная невозможность — самая существенная из всех невозможностей. Я очень мало знаю вашего мужа, но это преступление, которое все приписывают ему, в нравственном смысле совершенно невозможно. Только не думайте, будто я считаю, что Боулнойз не мог так согрешить. Каждый может согрешить... Согрешить, как ему заблагорассудится. Мы можем направлять наши нравственные побуждения, но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Боулнойз мог совершить убийство, но не такое. Он не стал бы выхватывать шпагу Ромео из романтических ножен, не стал бы разить врага на солнечных часах, точно на каком-то алтаре, не стал бы оставлять его тело среди роз, не стал бы швырять шпагу. Если бы Боулнойз убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело — как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Боулнойза. Это скорей в духе Чэмпиона.

— Ах! — вырвалось у женщины, и глаза её заблестели, точно бриллианты.

— А пустячное соображение вот какое, — сказал Браун. — На шпаге остались следы пальцев. На полированной поверхности, на стекле или на стали, их можно обнаружить долго спустя. Эти следы отпечатались на полированной поверхности. Как раз на середине клинка. Чьи они, понятия не имею, но кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша, ею удобней поразить врага. По крайней мере, почти всякого врага. Всех врагов, кроме одного.

— Кроме одного! — повторила миссис Боулнойз.

— Только одного-единственного врага легче убить кинжалом, чем шпагой, — сказал отец Браун.

— Знаю, — сказала она. — Себя.

Оба долго молчали, потом негромко, но резко священник спросил:

— Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?

— Да, — ответила она, и лицо её оставалось холодно и неподвижно. — Я видела это собственными глазами.

— Он умер от любви к вам? — спросил отец Браун.

Поразительное выражение мелькнуло на бледном лице женщины, отнюдь не жалость, не скромность, не раскаяние; совсем не то, чего мог бы ожидать собеседник; и она вдруг сказала громко, с большой силой:

— Ничуть он меня не любил, не верю я в это. Он ненавидел моего мужа.

— Почему? — спросил Браун и повернулся к ней — до этой минуты круглое лицо его было обращено к небу.

— Он ненавидел моего мужа, потому что это так необычно, я просто даже не знаю, как сказать... потому что...

— Да? — терпеливо промолвил Браун.

— Потому что мой муж его не ненавидел.

Отец Браун лишь кивнул и, казалось, всё ещё слушал; одна малость отличала его почти от всех детективов, какие существуют в жизни или на страницах романов, — когда он ясно понимал, в чём дело, он не притворялся, будто не понимает.

Миссис Боулнойз подошла ещё на шаг ближе к нему, лицо её освещала все та же сдержанная уверенность.

— Мой муж — великий человек, — сказала она. — А сэр Клод Чэмпион не был великим, он был человек знаменитый и преуспевающий; мой муж никогда не был ни

знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте — ни о чём таком он вовсе не мечтал, — это чистая правда. Он не ждёт, что его мысли принесут ему славу, всё равно как не рассчитывает прославиться оттого, что курит сигары. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все ещё любит Чэмпиона, как любил его в школьные годы, восхищается им, как восхищался бы, если бы кто-нибудь за обедом проделал ловкий фокус. Но ничто не могло пробудить в нём зависть к Чэмпиону. А Чэмпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался, из-за этого покончил с собой.

— Да, мне кажется, я начинаю понимать, — сказал отец Браун.

— Ну, неужели, вы не видите? — воскликнула она. — Всё рассчитано на это... и место нарочно для этого выбрано. Чэмпион поселил Джона в домике у самого своего порога, точно нахлебника... чтобы Джон почувствовал себя неудачником. А Джон ничего такого не чувствовал. Он ни о чём таком и не думает, все равно как ну, как рассеянный лев. Чэмпион вечно врывался к Джону в самую неподходящую пору или во время самого скромного обеда и старался изумить каким-нибудь роскошным подарком или праздничным известием или соблазнял интересной поездкой, точно Гарун аль-Рашид, а Джон очень мило принимал его дар или не принимал, без особого волнения, словно один ленивый школьник соглашался или не соглашался с другим. Так прошло пять лет, и Джон ни разу бровью не повёл, а сэр Клод Чэмпион на этом помешался.

— И рассказывал Аман, как возвеличил его царь, — произнёс отец Браун. — И он сказал: «Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу Мардохея Иудеянина сидящим у ворот царских».

— Буря разразилась, когда я уговорила Джона разрешить мне отослать в журнал некоторые его гипотезы, — продолжала миссис Боулнойз. — Ими заинтересовались, особенно в Америке, и одна газета пожелала взять у Джона интервью. У Чэмпиона интервью брали чуть не каждый день, но когда он узнал, что его сопернику, не ведавшему об их соперничестве, досталась ещё и эта кроха успеха, лопнуло последнее звено, которое сдерживало его бесовскую ненависть. И тогда он начал ту безрассудную осаду моей любви и чести, что стала притчей во языцех. Вы спросите меня, почему я принимала столь гнусное ухаживание. Я отвечу, отклонить его я могла лишь одним способом, — объяснив все мужу, но есть на свете такое, что душе нашей не дано, как телу не дано летать. Никто не мог бы объяснить это моему мужу. Не сможет и сейчас. Если вы всеми словами скажете ему: «Чэмпион хочет украсть у тебя жену», — он сочтёт, что шутка грубовата, а что это отнюдь не шутка — такая мысль не найдёт доступа в его замечательную голову. И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль, но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдёт: у него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду, и для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца Боулнойз. Он лежит там в парке, он погиб от зависти и оттого, что не сумел возбудить зависть, а Джон сидит в столовой и читает книгу.

Снова наступило молчание, потом маленький священник сказал:

— В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Боулнойз. Ваш муж не сидит сейчас в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортёр сказал мне, что был у вас дома и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Боулнойз всё-таки отправился в Пендрегон-парк.

Блестящие глаза миссис Боулнойз раскрылись во всю ширь и вспыхнули ещё ярче, но то было скорее недоумение, нежели растерянность или страх.

— Как? Что вы хотите сказать? — воскликнула она. — Слуг никого не было дома, они все смотрели представление. И мы, слава богу, не держим дворецкого!

Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок.

— Что? Что? — закричал он, словно подброшенный электрическим током. — Послушайте... скажите... ваш муж услышит, если я позвоню в дверь?

— Но теперь уже вернулись слуги, — озадаченно сказала миссис Боулнойз.

— Верно, верно! — живо согласился священник и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал: — Найдите-ка этого янки, не то «Преступление Джона Боулнойза» будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах.

— Вы не понимаете, — сказала миссис Боулнойз. — Джона это ничуть не взволнует. По-моему, Америка для него пустой звук.

Когда отец Браун подошёл к дому с ульем и сонным псом, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Боулнойз сидел и читал у лампы под абажуром, — в точности так, как говорила его жена. Тут же стоял графин с портвейном и бокал; и уже с порога священник заметил длинный столбик пепла на его сигаре.

«Он сидит так по меньшей мере полчаса», — подумал отец Браун. По правде говоря, вид у Боулнойза был такой, словно он сидел не шевелясь с тех самых пор, как со стола убрали обеденную посуду.

— Не вставайте, мистер Боулнойз, — как всегда приветливо и обыденно сказал священник. — Я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим учёным занятиям.

— Нет, — сказал Боулнойз, — я читал «Кровавый палец».

При этих словах он не нахмурился и не улыбнулся, и гость ощутил в нём глубокое и зрелое бесстрашие, которое жена его назвала величием.

Он отложил кровожадный роман в жёлтой обложке, совсем не думая, как неуместно в его руках бульварное чтиво, даже не пошутил по этому поводу. Джон Боулнойз был рослый, медлительный в движениях, с большой седой, лысеющей головой и крупными, грубоватыми чертами лица. На нём был поношенный и очень старомодный фрак, который открывал лишь узкий треугольник крахмальной рубашки: в этот вечер он явно собирался смотреть свою жену в роли Джульетты.

— Я не стану надолго отрывать вас от «Кровавого пальца» или от иных потрясающих событий, — с улыбкой произнёс отец Браун. — Я пришёл только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером.

Боулнойз смотрел на него спокойно и прямо, но его большой лоб стал наливаясь краской, казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство.

— Я знаю, это было странное преступление, — негромко сказал Браун. — Возможно, более странное, чем убийство... для вас. В маленьких грехах иной раз трудней признаться, чем в больших... но потому-то так важно в них признаваться. Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает шесть раз в неделю, и, однако, слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна.

— Чувствуешь себя последним дураком, — медленно выговорил философ.

— Знаю, — согласился его собеседник, — но нам часто приходится выбирать: или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле.

— Не понимаю толком, почему я так поступил, — продолжал Боулнойз, — но я сидел тут и читал и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно... даже не могу передать... сигары под боком... спички под боком... впереди ещё четыре выпуска этого самого «Пальца»... это был не просто покой, а совершенное довольство. И вдруг звонок в дверь, и долгую, бесконечно тягостную минуту мне казалось — я не смогу подняться с кресла... буквально физически, мышцы не сработают. Потом с неимоверным усилием я встал, потому что знал — слуги все ушли. Отворил парадное и вижу: стоит человек и уже раскрыл рот — сейчас заговорит, и блокнот раскрыл — сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик-янки, я про него совсем забыл. Волосы у него были расчёсаны на пробор, и, поверьте, я готов был его убить...

— Понимаю, — сказал отец Браун. — Я его видел.

— Я не стал убийцей, — мягко продолжал автор теории катастроф, — только лжесвидетелем. Я сказал, что я ушёл в Пендрегон-парк, и захлопнул дверь у него перед носом. Это и есть моё преступление, отец Браун, и уж не знаю, какое наказание вы на меня

наложите.

— Я не стану требовать от вас покаяния, — почти весело сказал священник, явно очень довольный, и взялся за шляпу и зонтик. — Совсем наоборот. Я пришёл как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое, в противном случае, последовало бы за вашим небольшим проступком.

— Какого же небольшого наказания мне с вашей помощью удалось избежать? — с улыбкой спросил Боулнойз.

— Виселицы, — ответил отец Браун.

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ОТЦА БРАУНА

Живописный город-государство Хейлигвальденштейн был одним из тех игрушечных королевств, которые и по сей день составляют часть Германской империи. Он попал под господство Пруссии довольно поздно, лет за пятьдесят до того погожего летнего дня, когда Фламбо и отец Браун оказались в здешнем парке и попивали здешнее пиво. И, как будет ясно из дальнейшего, ещё совсем недавно тут не было недостатка ни в войнах, ни в скором суде и расправе. Но при взгляде на город поневоле начинало казаться, будто от него веет детством; в этом самая большая прелесть Германии — этих маленьких, словно из рождественского представления патриархальных монархий, где король кажется таким же привычно домашним, как повар. Немецкие солдаты — часовые у бесчисленных будок странно напоминали немецкие игрушки, а чётко вырезанные зубчатые стены замка, позолоченные солнцем, больше всего напоминали золоченый пряник. Ибо денек выдался на редкость солнечный: небо той ярчайшей берлинской лазури, какой и в самом Потсдаме остались бы довольны, а ещё вернее — той щедрой густой синевы, какую дети извлекают из грошовой коробочки с красками. Даже деревья со стволами в серых рубцах от старости казались молодыми в уборе все ещё розовых остроконечных почек и на фоне ярко-синего неба напоминали бесчисленные детские рисунки.

Несмотря на скучную внешность и по преимуществу прозаический уклад жизни, отец Браун не лишён был романтической жилки, хотя, как многие дети, обычно хранил свои грёзы про себя. Среди бодрящих ярких красок этого дня, в этом городе, словно уцелевшем от рыцарских времен, ему и в самом деле казалось, что он попал в волшебную сказку. С чисто детским удовольствием, будто младший братишка, он косился на внушительную трость, своего рода деревянные ножны со шпагой внутри, которой Фламбо размахивал при ходьбе и которая сейчас была прислонена к столу подле высокой кружки с мюнхенским пивом.

Больше того, в этом состоянии ленивого легкомыслия отец Браун вдруг поймал себя на том, что даже узловатый неуклюжий набалдашник ветхого зонта смутно напоминает ему дубинку великана — людоеда с картинки из детской книжки. Но сам он так ни разу ничего и не сочинил, если не считать истории, которая сейчас будет рассказана.

— Хотел бы я знать, — заметил он, — в таком вот королевстве человек и правда рискует головой, если вдруг подставит её под удар? Это великолепный фон для истинных приключений, но мне всё кажется, что солдаты накинутся на смельчака не с настоящими грозными шпагами, а с картонными мечами.

— Ошибаетесь, — возразил его друг. — Они здесь не только дерутся на настоящих шпагах, но и убивают безо всяких шпаг. А бывает и похуже.

— Да что вы? — спросил отец Браун.

— А вот так-то, — был ответ. — Это, пожалуй, единственное место в Европе, где человека застрелили без огнестрельного оружия.

— Стрелой из лука? — удивился отец Браун.

— Пулей в голову, — ответил Фламбо. — Неужели вы не слышали, что случилось с покойным здешним правителем? Лет двадцать назад это была одна из самых непостижимых полицейских загадок. Вы, разумеется, помните, что во времена самых первых бисмарковских планов объединения город этот был насильственно присоединён к Германской империи —

да, насильственно, но отнюдь не с лёгкостью. Империя (или государство, желавшее стать империей) прислала князя Отто Гроссенмаркского править королевством в её имперских интересах. Мы видели его портрет в картинной галерее — такой старый господин, был бы даже недурён собой, не будь он лысый, безбровый и весь в морщинах, точно ястреб; но, как вы сейчас узнаете, забот и тревог у него хватало. Он был искусный и заслуженный воин, но с этим городишком хлебнул лиха. В нескольких битвах ему нанесли поражение знаменитые братья Арнольд, три патриота-партизана, которым Суинберн¹¹ посвятил стихи, вы их, конечно, помните:

Волки в мантиях из горностая,
Венчанные вороны и короли,
Пушай их тучи, целая стая,
Но три брата всё это снесли.

Или что-то в этом роде. Весьма сомнительно, удалось ли бы захватить это княжество, но один из трёх братьев, Пауль, постыдно, зато вполне решительно отказался всё это сносить и, выдав все планы восстания, погубил его и тем самым возвысился — получил пост гофмейстера при князе Отто. Людвиг, единственный настоящий герой среди героев Суинберна, пал с мечом в руках при захвате города, а третий, Генрих (он, хоть и не предатель, всегда был в сравнении с воинственными братьями вял и даже робок), нашёл себе подобие отшельнической пустыни, начал исповедовать христианский квиетизм, чуть ли не квакерского толка, и перестал общаться с людьми, только прежде отдал беднякам почти всё, что имел. Говорят, ещё недавно его иногда встречали поблизости, — в чёрном плаще, почти слепой, седая растрёпанная грива, но лицо поразительно кроткое.

— Знаю, — сказал отец Браун. — Я однажды его видел.

Фламбо поглядел на него не без удивления.

— Я не знал, что вы бывали здесь прежде, — сказал он. — Тогда, возможно, вы знаете эту историю не хуже меня. Как бы там ни было, это рассказ об Арнольдах, и он единственный из трёх братьев ещё жив. Да он пережил и всех остальных действующих лиц этой драмы.

— Так, значит, князь тоже давно умер?

— Умер, — подтвердил Фламбо. — Вот, пожалуй, и всё, что тут можно сказать. Понимаете, к концу жизни у него стали пошаливать нервы — такое нередко случается с тиранами. Он всё умножал дневную и ночную стражу вокруг замка, так что под конец караульных будок стало, кажется, больше, чем домов в городе, и всех, кто вызывал подозрение, пристреливали на месте. Князь почти всё время жил в небольшой комнатке, которая находилась в самой середине огромного лабиринта, состоявшего из бесчисленных комнат, да ещё посреди этой каморки велел соорудить подобие каюты или будки, обшитой сталью, точно сейф или военный корабль. Говорят, в этой комнате был тайник под полом, где мог поместиться лишь он один, — словом, он так боялся могилы, что готов был добровольно залезть в такую же гробовую яму. Но и это ещё не всё. Предполагалось, что с тех самых пор, как было подавлено восстание, все жители разоружены, но князь Отто настоял (чего правительства обычно не делают) на разоружении полном и безоговорочном. В тесных границах княжества, где им знаком был каждый уголок и закоулок, отлично вымуштрованные люди исполнили свою задачу, — и если сила и наука вообще могут быть в чём-то совершенно уверены, князь Отто был совершенно уверен, что в руки жителей Хейлигвальденштейна не попадёт отныне никакое оружие, будь то даже игрушечный пистолет.

— Ни в чём таком наука никогда не может быть уверена, — промолвил отец Браун, всё

¹¹ Суинберн Алджернон Чарльз (1837 – 1909) — английский поэт.

ещё глядя на унизанные розовыми почками ветви над головой, — хотя бы из-за сложности определений и неточности нашего словаря. Что есть оружие? Людей убивали самыми невинными предметами домашнего обихода — чайниками уж наверняка, а возможно, и стёганой крышкой для чайника. С другой стороны, если бы показать древнему бритту револьвер, вряд ли бы он понял, что это оружие (разумеется, пока бы в него не выстрелили). Возможно, у кого-нибудь было наиновейшее огнестрельное оружие, которое вовсе и не походило на огнестрельное оружие. Возможно, оно походило на напёрсток, да на что угодно. А пуля была какая-нибудь особенная?

— Ничего такого не слышал, — ответил Фламбо. — Но я знаю далеко не всё и только со слов моего старого друга Гримма. Он был очень толковый детектив здесь, в Германии, и пытался меня арестовать, а я взял и арестовал его самого, и мы с ним не раз очень интересно беседовали. Ему тут поручили расследовать убийство князя Отто, но я забыл расспросить его насчёт пули. По словам Гримма, дело было так.

Фламбо умолк, залпом выпил чуть не полкружки тёмного лёгкого пива и продолжал:

— В тот вечер князь как будто должен был выйти из своего убежища — ему предстояло принять посетителей, которых он и вправду хотел видеть. То были знаменитые геологи, их послали разобраться, верно ли, что в окрестных горах скрыто золото, — уверяли, будто именно благодаря этому золоту крохотный город-государство сохранял своё влияние и успешно торговал с соседями, хоть на него и обрушивались снова и снова армии куда более могучих врагов. Пока ещё золота этого не могли обнаружить никакие самые дотошные изыскатели.

— Хотя они ничуть не сомневались, что сумеют обнаружить игрушечный пистолет, — с улыбкой сказал отец Браун. — А как же брат, который стал предателем? Разве ему нечего было рассказать князю?

— Он всегда клялся, что ничего об этом не знает, — отвечал Фламбо, — что это — единственная тайна, в которую братья его не посвятили. Надо сказать, его клятву отчасти подтверждают отрывочные слова, которые произнёс великий Людвиг в смертный час. Он посмотрел на Генриха, но указал на Пауля и вымолвил: «Ты ему не сказал...» — но больше уже не в силах был говорить. Итак, князя Отто ждала группа известных геологов и минералогов из Парижа и Берлина, соответственно случаю в полном параде, ибо никто так не любит надевать все свои знаки отличия, как учёные, — это известно всякому, кто хоть раз побывал на званом вечере Королевской академии. Общество собралось блистательное, но уже совсем поздно и не сразу гофмейстер — его портрет вы тоже видели: чёрные брови, серьёзные глаза и бессмысленная улыбка, — так вот, гофмейстер заметил, что на приёме есть все, кроме самого князя. Он обыскал все залы, потом, вспомнив безумные приступы страха, которые нередко овладевали князем, поспешил в его заветное убежище. Там тоже было пусто, но стальную башенку или будку удалось открыть не сразу. Он заглянул в тайник под полом, — как он сам потом рассказывал, эта дыра показалась ему на сей раз глубже, чем обычно, и ещё сильнее напомнила могилу. И в эту минуту откуда-то из бесконечных комнат и коридоров донеслись крики и шум.

Сперва это был отдалённый гул толпы, взволнованной каким-то невероятным событием, случившимся, скорее всего, за пределами замка. Потом, пугающе близко, беспорядочные возгласы, такие громкие, что, если б они не сливались друг с другом, можно было бы разобрать каждое слово. Потом, с ужасающей ясностью, донеслись слова — ближе, ближе, и наконец в комнату ворвался человек и выпалил новость — такие вести всегда кратки.

Отто, князь Хейлигвальденштейна и Гроссенмарка, лежал в густеющих сумерках за пределами замка, в лесу на сырой росистой траве, раскинув руки и обратив лицо к луне. Из простреленного виска и челюсти толчками била кровь, вот и всё, что было в нём живого. Он был в парадной бело-жёлтой форме, одетый для приёма гостей, только перевязь, отброшенная, смятая, валялась рядом. Он умер ещё прежде, чем его подняли. Но, живой или мёртвый, он был загадкой, — он, который всегда прятался в своём потаённом убежище в

самом сердце замка, вдруг очутился в сыром лесу, один и без оружия.

— Кто нашёл тело? — спросил отец Браун.

— Одна девушка, состоявшая при дворе, Хедвига фон... не помню, как там дальше, — ответил его друг. — Она рвала в лесу цветы.

— И нарвала? — спросил священник, рассеянно глядя на переплёт ветвей над головой.

— Да, — ответил Фламбо. — Я как раз запомнил, что гофмейстер, а может, старина Гримм или кто-то ещё говорил, как это было ужасно: они прибежали на её зов и видят — девушка склонилась над этим... над этими кровавыми останками, а в руках у неё весенние цветы. Но главное — он умер до того, как подросла помощь, и надо было, разумеется, сообщить эту новость в замок. Она поразила всех безмерным ужасом, ещё сильнее, чем поражает обычно придворных падение властелина. Иностранцев, в особенности специалистов горного дела, обуяли растерянность и волнение, так же как и многих прусских чиновников, и вскоре стало ясно, что поиски сокровища занимают в этой истории гораздо более значительное место, чем предполагалось. Геологам и чиновникам были загодя обещаны огромные премии и международные награды, и, услышав о смерти князя, кое-кто даже заявил, что его тайное убежище и усиленная охрана объясняются не страхом перед народом, а секретными изысканиями, поисками...

— А стебли у цветов были длинные? — спросил отец Браун.

Фламбо уставился на него во все глаза.

— Ну и странный же вы человек! — сказал он. — Вот и старина Гримм про это говорил. Он говорил — по его мнению, отвратительней всего, отвратительней и крови, и пули, были эти самые цветы на коротких стеблях, почти что одни сорванные головки.

— Да, конечно, — сказал священник, — когда взрослая девушка рвёт цветы, она старается, чтоб стебель был подлинней. А если она срывает одни головки, как маленький ребёнок, похоже, что... — он в нерешительности умолк.

— Ну? — спросил Фламбо.

— Ну, похоже, что она рвала цветы второпях, волнуясь, чтоб было чем оправдать своё присутствие там после... ну, после того, как она уже там была.

— Я знаю, к чему вы клоните, — хмуро сказал Фламбо. — Но это подозрение, как и все прочие, разбивается об одну мелочь — отсутствие оружия. Его могли убить чем угодно, как вы сказали, даже его орденской перевязью, но ведь надо объяснить не только как его убили, но и как застрелили. А вот этого-то мы объяснить не можем. Хедвигу самым безжалостным образом обыскали, — по правде сказать, она вызывала немалые подозрения, хотя её дядей и опекуном оказался коварный старый гофмейстер Пауль Арнольд. Она была девушка романтическая, поговаривали, что и она сочувствует революционному пылу, издавна не угасавшему в их семье. Однако романтика романтикой, а попробуй всади пулю человеку в голову или в челюсть без помощи пистолета или ружья. А пистолета не было, хотя было два выстрела. Вот и разгадайте эту загадку, друг мой.

— Откуда вы знаете, что выстрелов было два? — спросил маленький священник.

— В голову попала только одна пуля, — ответил его собеседник, — но перевязь тоже была пробита пулей.

Безмятежно гладкий лоб отца Брауна вдруг прорезали морщины.

— Вторую пулю нашли? — требовательно спросил он.

Фламбо опешил.

— Что-то не припомню, — сказал он.

— Стойте! Стойте! Стойте! — закричал отец Браун, необычайно удивлённый и озабоченный, всё сильнее морща лоб. — Не считите меня за невежу. Дайте-ка я всё это обдумаю.

— Сделайте одолжение, — смеясь, ответил Фламбо и допил пиво.

Лёгкий ветерок шевелил ветви распускающихся деревьев, гнал белые и розовые облачка, отчего небо казалось ещё голубей и всё вокруг ещё красочней и причудливей.

Должно быть, это херувимы летели домой, к окнам своей небесной детской. Самая старая башня замка, Башня Дракона, возвышалась, нелепая, точно огромная пивная кружка, и такая же уютная. А за ней насупился лес, в котором тогда лежал убитый.

— Что дальше стало с этой Хедвигой? — спросил наконец священник.

— Она замужем за генералом Шварцем, — ответил Фламбо. — Вы, без сомнения, слышали, он сделал головокружительную карьеру. Он отличился ещё до своих подвигов при Садовой и Гравелотте. Он ведь выдвинулся из рядовых, а это очень большая редкость даже в самом крохотном немецком...

Отец Браун вскочил.

— Выдвинулся из рядовых! — воскликнул он и чуть было не присвистнул. — Ну и ну, до чего же странная история! До чего странный способ убить человека... но, пожалуй, никаких других возможностей тут не было. И подумать только, какая ненависть — так долго ждать...

— О чём вы говорите? — перебил Фламбо. — Каким это способом его убили?

— Его убили с помощью перевязи, — сдержанно произнёс Браун. И, выслушав протесты Фламбо, продолжал: — Да, да, про пулю я знаю. Наверно, надо сказать так: он умер оттого, что на нём была перевязь. Эти слова не столь привычны для слуха, как, скажем: он умер оттого, что у него был тиф...

— Похоже, у вас в голове шевелится какая-то догадка, — сказал Фламбо, — но как же быть с пулей в голове Отто — её оттуда не выкинешь. Я ведь вам уже говорил: его с лёгкостью могли бы задушить. Но его застрелили. Кто? Как?

— Застрелили по его собственному приказу, — сказал священник.

— Вы думаете, это самоубийство?

— Я не сказал «по его воле», — возразил отец Браун. — Я сказал «по его собственному приказу».

— Ну хорошо, как вы это объясняете?

Отец Браун засмеялся.

— Я ведь сейчас на отдыхе, — сказал он. — И никак я это не объясняю. Просто эти места напоминают мне сказку, и, если хотите, я и сам расскажу вам сказку.

Розовые облачка, похожие на помадки, слились и увенчали башни золочёного пряничного замка, а розовые младенческие пальчики почек на деревьях, казалось, растопырились и тянулись к ним изо всех сил; голубое небо уже по-вечернему лиловело, и тут отец Браун вдруг снова заговорил.

— Был мрачный, ненастный вечер, с деревьев ещё капало после дождя, а траву уже покрывала роса, когда князь Отто Гроссенмаркский поспешно вышел из боковой двери замка и быстрым шагом направился в лес. Один из бесчисленных часовых при виде его взял на караул, но он этого не заметил. Он предпочёл бы, чтобы и его сейчас не замечали. Он был рад, когда высокие деревья, серые и уже влажные от дождя, поглотили его, как трясина. Он нарочно выбрал самый глухой уголок своих владений, но даже и здесь было не так глухо и пустынно, как хотелось бы князю. Однако можно было не опасаться, что кто-нибудь не в меру навязчивый или не в меру услужливый последует за ним по пятам, ведь он вышел из замка неожиданно даже для самого себя. Разряженные дипломаты остались в замке, он потерял к ним всякий интерес. Он вдруг понял, что может обойтись без них.

Его главной страстью был не страх смерти (он всё же много благороднее), но странная жажда золота. Ради этого легендарного золота он покинул Гроссенмарк и захватил Хейлигвальденштейн. Ради золота и только ради золота он подкупил предателя и зверски убил героя, ради золота упорно и долго допрашивал вероломного гофмейстера, пока наконец не пришёл к заключению, что изменник не солгал. Он и в самом деле ничего об этом не знал. Ради того, чтобы заполучить это золото, он уже не раз платил, не слишком, правда, охотно, и обещал заплатить ещё, если большая часть его достанется ему; и ради золота сейчас, точно вор, тайно выскользнул из замка под дождь, ибо ему пришла на ум другая возможность завладеть светом очей своих, и завладеть задешёво.

Поодаль от замка, в конце петляющей горной тропы, по которой князь держал путь, среди круто вздымающихся вверх, точно колонны, выступов кряжа, нависшего над городом, приютилось убежище отшельника — всего лишь пещера, огороженная колючим кустарником; здесь-то уже долгие годы и скрывался от мира третий из знаменитых братьев, Отчего бы ему и не открыть тайну золота, — думал князь Отто. Давным-давно, ещё до того, как сделаться аскетом и отказаться от собственности и всех радостей жизни, он знал, где спрятано сокровище, и, однако, не стал его искать. Правда, они когда-то были врагами, но ведь теперь отшельник в силу веры своей не должен иметь врагов. Можно в чём-то пойти ему навстречу, воззвать к его устоям, и он, пожалуй, откроет тайну, которая касается всего лишь мирского богатства. Несмотря на сеть воинских постов, выставленных по его же приказу, на бесчисленные меры предосторожности, Отто был не трус, и, уж во всяком случае, алчность говорила в нём громче страха. Да и чего, в сущности, бояться? Ведь во всём княжестве ни у кого из жителей наверняка нет оружия, и уж стократ верней, что его нет в тихом горном убежище этого святоши, который питается травами, живёт здесь с двумя старыми неотесанными слугами и уже многие годы не слышит человеческого голоса. С какой-то злобющей улыбкой князь Отто посмотрел вниз на освещённый фонарями квадратный лабиринт города. Всюду, насколько хватал глаз, стоят под ружьем его друзья, а у его врагов — ни шепотки пороха. Часовые так близко подступают даже к этой горной тропе, что стоит ему крикнуть — и они кинутся сюда, вверх, не говоря уж о том, что через определённые промежутки времени лес и горный кряж прочесывают патрули; часовые начеку и в отдалении, за рекой, в смутно очерченном лесу, который отсюда кажется просто кустарником, — и никакими окольными путями врагу сюда не проникнуть. А вокруг замка часовые стоят и у западных ворот, и у восточных, и у северных, и у южных, и со всех четырёх сторон они цепью окружают замок. Нет, он, Отто, в безопасности.

Это стало ему особенно ясно, когда он поднялся на гребень и увидел, как голо вокруг гнезда его старого врага. Он оказался на маленькой каменной платформе, которая с трёх сторон круто обрывалась вниз. Позади чернел вход в пещеру, полускрытый колючим кустарником и совсем низкий, даже не верилось, что туда может войти человек. Впереди — крутой скалистый склон, и за ним, смутно видная в туманной дали, раскинулась долина. На небольшом каменном возвышении стоял старый бронзовый то ли аналой, то ли пюпитр, казалось, он с трудом выдерживает огромную немецкую Библию. Бронза (а может быть, это была медь) позеленела в разреженном горном воздухе, и Отто тотчас подумал: «Даже если тут и были ружья, их давно разъела ржавчина». Луна, всходящая за гребнями и утесами, озарила всё вокруг мертвенным светом, дождь перестал.

За аналоем стоял глубокий старик в чёрном одеянии — оно круто ниспадало с плеч прямыми недвижными складками, точно утёсы вокруг, но белые волосы и слабый голос, казалось, одинаково бессильно трепетали на ветру, взгляд его был устремлён куда-то вдаль, поверх долины. Он, видимо, исполнял какой-то ежедневный неперменный обряд.

— «Они полагались на своих коней...»

— Сударь, — с несвойственной ему учтивостью обратился князь к старику, — я хотел бы сказать вам несколько слов.

— «...и на свои колесницы, — чуть внятно продолжал старик, — а мы полагаемся на господу сил...»

Последние слова совсем нельзя было расслышать, старик благоговейно закрыл книгу, почти слепой, он ощупью отыскал край аналая и ухватился за него. Тотчас же из тёмного низкого устья пещеры выскользнули двое слуг и поддержали его. Они тоже были в тускло-чёрных балахонах, но в волосах их не светилось морозное серебро и черты лица не сковала холодная утончённость. То были крестьяне, хорваты или мадьяры с широкими грубыми лицами и туповато мигающими глазами. Впервые князю стало немного не по себе, но мужество и привычное умение изворачиваться не изменили ему.

— Пожалуй, с той ужасной канонады, при которой погиб ваш несчастный брат, мы с вами не встречались, — сказал он.

— Все мои братья умерли, — ответил старик; взгляд его по-прежнему был устремлён куда-то вдаль, поверх долины. Потом, на миг обратив к Отто измождённое тонкое лицо — белоснежные волосы низко свисали на лоб, точно сосульки, — он прибавил: — Да и сам я тоже мёртв.

— Надеюсь, вы поймёте, что я пришёл сюда не затем, чтобы преследовать вас, точно тень тех страшных раздоров, — сдерживая себя, чуть ли не доверительно заговорил князь. — Не станем обсуждать, кто был тогда прав и кто виноват, но в одном, по крайней мере, мы всегда были правы, потому что в этом вы никогда не были повинны. Какова бы ни была политика вашей семьи, никому никогда не приходило в голову, что вами движет всего лишь жажда золота. Ваше поведение поставило вас вне подозрений, будто...

Старик в строгом чёрном облачении смотрел на князя слезящимися голубыми глазами, и в лице его была какая-то бессильная мудрость. Но при слове «золото» он вытянул руку, словно что-то отстраняя, и отвернулся к горам.

— Он говорит о золоте, — вымолвил старик. — Он говорит о запретном. Пусть умолкнет.

Отто страдал извечной истинно прусской слабостью: он воображал, что успех — не случайность, а врождённый дар. Он твёрдо верил, что он и ему подобные рождены побеждать народы, рождённые покоряться. А потому чувство изумления было ему незнакомо, и то, что произошло дальше, застигло его врасплох. Он хотел было возразить отшельнику, и не смог произнести ни слова — что-то мягкое вдруг закрыло ему рот и накрепко, точно жгутом, стянуло голову. Прошло добрых сорок секунд, прежде чем он сообразил, что сделали это слуги-венгры, и притом его же собственной перевязью.

Старик снова неуверенными шагами подошёл к огромной Библии, покоящейся на бронзовой подставке, с каким-то ужасающим терпением принялся медленно переворачивать страницы, пока не дошёл до Послания Иакова, и стал читать.

— «...так и язык небольшой член, но...»

Что-то в его голосе заставило князя вдруг повернуться и кинуться вниз по тропе. Лишь на полпути к парку, окружавшему замок, впервые попытался он сорвать перевязь, что стягивала шею и челюсти. Попытался раз, другой, третий, но тщетно: те, кто заткнул ему рот, знали, что одно дело развязывать узел, когда он у тебя перед глазами, и совсем другое — когда он на затылке. Ноги Отто были свободны — прыгай по горам, как антилопа, руки свободны — маши, подавай любой сигнал, а вот сказать он не мог ни слова. Дьявол бесновался в его душе, но он был нем.

Он уже совсем близко подошёл к парку, обступавшему замок, и только тогда окончательно понял, к чему его приведёт бессловесность и к чему его с умыслом привели. Мрачно посмотрел он на яркий, освещённый фонарями лабиринт города внизу и теперь уже не улыбнулся. С убийственной насмешкой вспомнил он всё, что недавно говорил себе совсем в ином настроении. Далеко, насколько хватал глаз, — ружья его друзей, и каждый пристрелит его на месте, если он не отзовется на оклик. Ружей так много и они так близко, лес и горный кряж неустанно прочесывают днём и ночью, а потому в лесу не спрячешься до утра. Часовые и на таких дальних подступах, что враг не может ни с какой стороны обойти их и проникнуть в город, а потому нет надежды пробраться в город издалека, в обход. Стоит только закричать — и его солдаты кинутся к нему на помощь. Но закричать он не может.

Луна поднялась выше и засияла серебром, и ночное небо ярко синело, прочерченное чёрными стволами сосен, обступавших замок. Какие-то цветы, широко распахнутые, с перистыми лепестками, и засветились и словно вылиняли в лунном сиянии — никогда прежде он ничего подобного не замечал, — и эти цветы, что теснились к стволам деревьев, словно обвивали их вокруг корней, казались ему пугающе неправдоподобными. Быть может, злая неволя, внезапно завладевшая им, помрачила его рассудок, но в лесу этом ему всюду чудилось что-то бесконечно немецкое — волшебная сказка. Ему чудилось, будто он приближается к замку людоеда — он забыл, что людоед — владелец замка — это он сам. Вспомнилось, как в детстве он спрашивал мать, водятся ли в старом парке при их родовом

замке медведи. Он наклонился, чтобы сорвать цветок, словно надеялся этим талисманом защититься от колдовства. Стебель оказался крепче, чем он думал, и сломался с легким треском. Отто хотел было осторожно засунуть цветок за перевязь на груди — и тут раздался оклик.

— Кто идёт?

И тогда Отто вспомнил, что перевязь у него не там, где ей положено быть.

Он попытался крикнуть — и не мог. Последовал второй оклик, а за ним выстрел — пуля взвизгнула и, ударившись в цель, смолкла. Отто Гроссенмаркский мирно лежал среди сказочных деревьев — теперь он уже не натворит зла ни золотом, ни сталью, а серебряный карандаш луны выхватывал и очерчивал тут и там то замысловатые украшения на его мундире, то глубокие морщины на лбу. Да помилует господь его душу.

Часовой, который стрелял согласно строжайшему приказу по гарнизону, понятно, кинулся отыскивать свою жертву. Это был рядовой по фамилии Шварц, позднее ставший среди военного сословия личностью небезызвестной, и нашёл он лысого человека в воинском мундире, чьё лицо, туго обмотанное его же перевязью, было точно в маске — виднелись только раскрытые мёртвые глаза, холодно поблескивавшие в лунном свете. Пуля прошла через перевязь, стягивающую челюсть, вот почему в ней тоже осталось отверстие, хотя выстрел был всего один. Повинуясь естественному побуждению, хотя так поступать и не следовало, молодой Шварц сорвал загадочную шёлковую маску и отбросил на траву; и тогда он увидел, кого убил.

Как события развивались дальше, сказать трудно. Но я склонен верить, что в этом небольшом лесу и вправду творилась сказка, — как ни ужасен был случай, который положил ей начало. Был ли девушке по имени Хедвига ещё прежде знаком солдат, которого она спасла и за которого после вышла замуж, или она ненароком оказалась на месте происшествия и знакомство их завязалось в ту ночь, — этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Но мне кажется, что эта Хедвига — героиня и она заслуженно стала женой человека, который сделался в некотором роде героем. Она поступила смело и мудро. Она уговорила часового вернуться на свой пост, где уже ничто не будет связывать его со случившимся: он окажется лишь одним из самых верных и дисциплинированных среди полусотни часовых, стоящих поблизости. Она же осталась подле тела и подняла тревогу, и её тоже ничто не могло связывать с несчастьем, так как у неё не было и не могло быть никакого огнестрельного оружия.

— Ну и, надеюсь, они счастливы, — сказал отец Браун, весело поднимаясь.

— Куда вы? — спросил Фламбо.

— Хочу ещё разок взглянуть на портрет гофмейстера, того самого, который предал своих братьев, — ответил священник. — Интересно, в какой мере... интересно, если человек предал дважды, стал ли он от этого меньше предателем?

И он долго размышлял перед портретом седовласого чернобрового старика с любезнейшей, будто наклеенной улыбкой, которую словно оспаривал недобрый, предостерегающий взгляд.

НЕБЕСНАЯ СТРЕЛА

Боюсь, не меньше ста детективных историй начинаются с того, что кто-то обнаружил труп убитого американского миллионера, — обстоятельство, которое почему-то повергает всех в невероятное волнение. Счастлив, кстати, сообщить, что и наша история начинается с убитого миллионера, а если говорить точнее, с целых трёх, что даже можно счесть *embarras de richesse*¹². Но именно это совпадение или, может быть, постоянство в выборе объекта и выделили дело из разряда банальных уголовных случаев, превратив в проблему

¹² Излишняя роскошь (франц.).

чрезвычайной сложности.

Не вдаваясь в подробности, молва утверждала, что все трое пали жертвой проклятия, тяготеющего над владельцами некой ценной исторической реликвии, ценность которой была, впрочем, не только исторической. Реликвия эта представляла собой нечто вроде украшенного драгоценными камнями кубка, известного под названием «коптская чаша». Никто не знал, как она оказалась в Америке, но полагали, что прежде она принадлежала к церковной утвари. Кое-кто приписывал судьбу её владельцев фанатизму какого-то восточного христианина, удручённого тем, что священная чаша попала в столь материалистические руки. О таинственном убийце, который, возможно, был совсем даже и не фанатик, ходило много слухов и часто писали газеты. Безымянное это создание обзавелось именем, вернее, кличкой. Впрочем, мы начнём рассказ лишь с третьего убийства, так как лишь тогда на сцене появился некий священник Браун, герой этих очерков.

Сойдя с палубы атлантического лайнера и ступив на американскую землю, отец Браун, как многие англичане, приезжавшие в Штаты, с удивлением обнаружил, что он знаменитость. Его малорослую фигуру, его малопримечательное близорукое лицо, его порядком порывевшую сутану на родине никто бы не назвал необычными, разве что необычайно заурядными. Но в Америке умеют создать человеку славу, участие Брауна в распутывании двух-трёх любопытных уголовных дел и его старинное знакомство с экс-преступником и сыщиком Фламбо создали ему в Америке известность, в то время как в Англии о нём лишь просто кое-кто слышал. С недоумением смотрел он на репортёров, которые, будто разбойники, напали на него со всех сторон уже на пристани и стали задавать ему вопросы о вещах, в которых он никак не мог считать себя авторитетом, например, о дамских модах и о статистике преступлений в стране, где он ещё и нескольких шагов не сделал. Возможно, по контрасту с чёрным, плотно сомкнувшимся вокруг него кольцом репортёров, отцу Брауну бросилась в глаза стоявшая чуть поодаль фигура, которая также выделялась своей чернотой на нарядной, освещённой ярким летним солнцем набережной, но пребывала в полном одиночестве, — высокий, с желтоватым лицом человек в больших диковинных очках. Дождавшись, когда репортёры отпустили отца Брауна, он жестом остановил его и сказал:

— Простите, не ищите ли вы капитана Уэйна?

Отец Браун заслуживал некоторого извинения, тем более что сам он остро чувствовал свою вину. Вспомним: он впервые увидел Америку, главное же, впервые видел такие очки, ибо мода на очки в массивной черепаховой оправе ещё не дошла до Англии. В первый момент у него возникло ощущение, будто он смотрит на пучеглазое морское чудище, чья голова чем-то напоминает водолазный шлем. Вообще же незнакомец одет был щегольски, и простодушный Браун подивился, как мог такой щеголь изуродовать себя нелепыми огромными очками. Это было всё равно, как если бы какой-то денди для большей элегантности привинтил себе деревянную ногу. Поставил его в тупик и предложенный незнакомцем вопрос. В длинном списке лиц, которых Браун надеялся повидать в Америке, и в самом деле значился некий Уэйн, американский авиатор, друг живущих во Франции друзей отца Брауна, но он никак не ожидал, что этот Уэйн встретится ему так скоро.

— Прошу прощения, — сказал он неуверенно, — так это вы капитан Уэйн? Вы... вы его знаете?

— Что я не капитан Уэйн, я могу утверждать довольно смело, — невозмутимо отозвался человек в очках. — Я почти не сомневался в этом, оставляя его в автомобиле, где он сейчас вас дожидается. На ваш второй вопрос ответить сложнее. Я полагаю, что я знаю Уэйна, его дядюшку и, кроме того, старика Мертонна. Я старика Мертонна знаю, но старик Мертонн не знает меня. Он видит в этом своё преимущество, я же полагаю, что преимущество — за мной. Вы поняли меня?

Отец Браун понял его не совсем. Он, помаргивая, глянул на сверкающую гладь моря, на верхушки небоскребов, затем перевёл взгляд на незнакомца. Нет, не только потому, что он прятал глаза за очками, лицо его выглядело столь непроницаемым. Было в этом желтоватом

лице что-то азиатское, даже монгольское, смысл его речей, казалось, наглухо был скрыт за сплошными пластами иронии. Среди общительных и добродушных жителей этой страны нет-нет да встретится подобный тип — непроницаемый американец

— Моё имя Дрейдж, — сказал он, — Норман Дрейдж, и я американский гражданин, что всё объясняет. По крайней мере остальное, я надеюсь, объяснит мой друг Уэйн; так что не будем нынче праздновать четвёртое июля¹³.

Ошеломлённый Браун позволил новому знакомцу увлечь себя к находившемуся неподалеку автомобилю, где сидел молодой человек с жёлтыми всклокоченными волосами и встревоженным осунувшимся лицом. Он издали приветствовал отца Брауна и представился: Питер Уэйн. Браун не успел опомниться, как его толкнули в автомобиль, который, быстро промчавшись по улицам, выехал за город. Не привыкший к стремительной деловитости американцев, Браун чувствовал себя примерно так, словно его влекли в волшебную страну в запряжённой драконами колеснице. И как ни трудно ему было сосредоточиться, именно здесь ему пришлось впервые выслушать в пространном изложении Уэйна, которое Дрейдж иногда прерывал отрывистыми фразами, историю о коптской чаше и о связанных с ней двух убийствах.

Как он понял, дядя Уэйна, некто Крейк, имел компаньона по фамилии Мертон, и этот Мертон был третьим по счёту богатым дельцом, в чьи руки попала коптская чаша. Когда-то первый из них, Титус П. Трэнт, медный король, стал получать угрожающие письма от неизвестного, подписывавшегося Дэниел Рок. Имя, несомненно, было вымышленным, но его носитель быстро прославился, хотя доброй славы и не приобрел. Робин Гуд и Джек Потрошитель вместе не были бы более знамениты, чем этот автор угрожающих писем, не собиравшийся, как вскоре стало ясно, ограничиться угрозами. Всё закончилось тем, что однажды утром старика Трэнта нашли в его парке у пруда, головой в воде, а убийца бесследно исчез. По счастью, чаша хранилась в сейфе банка и вместе с прочим имуществом перешла к кузену покойного, Брайану Хордеру, тоже очень богатому человеку, также вскоре подвергшемуся угрозам безымянного врага. Труп Брайана Хордера нашли у подножия скалы, неподалёку от его приморской виллы, дом же был ограблен, на сей раз — очень основательно. И хотя чаша не досталась грабителю, он похитил у Хордера столько ценных бумаг, что дела последнего оказались в самом плачевном состоянии.

— Вдове Брайана Хордера, — рассказывал дальше Уэйн, — пришлось продать почти все ценности. Наверно, именно тогда Брандер Мертон и приобрел знаменитую чашу. Во всяком случае, когда мы познакомились, она уже находилась у него. Но, как вы сами понимаете, быть её владельцем довольно обременительная привилегия.

— Мистер Мертон тоже получает угрожающие письма? — спросил отец Браун, помолчав.

— Думаю, что да, — сказал мистер Дрейдж, и что-то в его голосе заставило священника взглянуть на него повнимательнее: Дрейдж беззвучно смеялся, да так, что у священника побежали по коже мурашки.

— Я почти не сомневаюсь, что он получал такие письма, — нахмурившись, сказал Питер Уэйн. — Я сам их не читал: его почту просматривает только секретарь, и то не полностью, поскольку Мертон, как все богачи, привык держать свои дела в секрете. Но я видел, как он однажды рассердился и огорчился, получив какие-то письма; он, кстати, сразу же порвал их, так что и секретарь их не видел. Секретарь тоже обеспокоен; по его словам, старика кто-то преследует. Короче, мы будем очень признательны тому, кто хоть немного нам поможет во всём этом разобраться. А поскольку ваш талант, отец Браун, всем известен, секретарь просил меня безотлагательно пригласить вас в дом Мертона.

— Ах, вот что, — сказал отец Браун, который наконец-то начал понимать, куда и зачем его тащат. — Но я, право, не представляю, чем могу вам помочь. Вы ведь всё время здесь, и у

¹³ 4 июля — День независимости Америки.

вас в сто раз больше данных для научного вывода, чем у случайного посетителя.

— Да, — сухо заметил мистер Дрейдж, — наши выводы весьма научны, слишком научны, чтобы поверить в них. Сразить такого человека, как Титус П. Трэнт, могла только небесная кара, и научные объяснения тут ни при чём. Как говорится, гром с ясного неба.

— Неужели вы имеете в виду вмешательство потусторонних сил! — воскликнул Уэйн.

Но не так-то просто было угадать, что имеет в виду Дрейдж; впрочем, если бы он сказал о ком-нибудь: «тонкая штучка», — можно было бы почти наверняка предположить, что это значит «дурак». Мистер Дрейдж хранил молчание, непроницаемый и неподвижный, как истый азиат; вскоре автомобиль остановился, видимо, прибыв к месту назначения, и перед ними открылась странная картина. Дорога, которая до этого шла среди редко растущих деревьев, внезапно вывела их на широкую равнину, и они увидели сооружение, состоявшее лишь из одной стены, образуя круг вроде защитного вала в военное лагере римлян, постройка чем-то напоминала аэродром. На вид ограда не была похожа на деревянную или каменную и при ближайшем рассмотрении оказалась металлической.

Все вышли из автомобиля и после некоторых манипуляций, подобных тем, что производятся при открывании сейфа, в стене тихонько отворилась дверца. К немалому удивлению Брауна, человек по имени Норман Дрейдж не проявил желания войти.

— Нет уж, — заявил он с мрачной игривостью. — Боюсь, старик Мертон не выдержит такой радости. Он так любит меня, что, чего доброго, ещё умрет от счастья.

И он решительно зашагал прочь, а отец Браун, удивляясь всё больше и больше, прошёл в стальную дверцу, которая тут же за ним защёлкнулась. Он увидел обширный, ухоженный парк, радовавший взгляд весёлым разнообразием красок, но совершенно лишённый деревьев, высоких кустов и высоких цветов. В центре парка возвышался дом, красивый и своеобразный, но так сильно вытянутый вверх, что скорее походил на башню. Яркие солнечные блики играли там и сям на стеклах расположенных под самой крышей окон, но в нижней части дома окон, очевидно, не было. Всё вокруг сверкало безупречной чистотой, казалось, присущей самому воздуху Америки, на редкость ясному. Пройдя через портал, они увидели блиставшие яркими красками мрамор, металлы, эмаль, но ничего похожего на лестницу. Только в самом центре находилась заключённая в толстые стены шахта лифта. Доступ к ней преграждали могучего вида мужчины, похожие на полисменов в штатском.

— Довольно фундаментальная система охраны, не спорю, — сказал Уэйн. — Вам, возможно, немного смешно, что Мертон живёт в такой крепости, — в парке нет ни единого дерева, за которым кто-то мог бы спрятаться. Но вы не знаете этой страны, здесь можно ожидать всего. К тому же вы, наверное, себе не представляете, что за величина Брандер Мертон. На вид он скромный, тихий человек, такого встретишь на улице — не заметишь; впрочем, встретить его на улице теперь довольно мудрёно: если он когда и выезжает, то в закрытом автомобиле. Но если что-то с ним случится, волна землетрясений встряхнёт весь мир от тихоокеанских островов до Аляски. Едва ли был когда-либо император или король, который обладал бы такой властью над народами. А ведь, сознайтесь, если бы вас пригласили в гости к царю или английскому королю, вы пошли бы из любопытства. Как бы вы ни относились к миллионерам и царям, человек, имеющий такую власть, не может не быть интересен. Надеюсь, ваши принципы не препятствуют вам посещать современных императоров, вроде Мертона.

— Никоим образом, — невозмутимо отозвался отец Браун. — Мой долг — навещать узников и всех несчастных, томящихся в заключении.

Молодой человек нахмурился и промолчал, на его худом лице мелькнуло странное, не очень-то приветливое выражение. Потом он вдруг сказал:

— Кроме того, не забывайте, что Мертона преследует не просто мелкий жулик или какая-то там «Чёрная рука». Этот Дэниел Рок — сущий дьявол. Вспомните, как он прикончил Трэнта в его же парке, а Хордера — возле самого дома, и оба раза ускользнул.

Стены верхнего этажа были невероятно толсты и массивны, комнат же имелось только две: прихожая и кабинет великого миллионера. В тот момент, когда Браун и Уэйн входили в

прихожую, из дверей второй комнаты показались два других посетителя. Одного из них Уэйн назвал дядей, это был невысокий, но весьма крепкий и энергичный человек, с бритой головой, которая казалась лысой, и до того тёмным лицом, что оно, казалось, никогда не было белым. Это был прославившийся в войнах с краснокожими старик Крейк, обычно именуемый Гикори Крейком, в память ещё более знаменитого старика Гикори¹⁴. Совсем иного типа господин был его спутник — вылощенный, вёрткий, с чёрными, как бы лакированными волосами и с моноклем на широкой чёрной ленте — Бернард Блейк, поверенный старика Мертон, приглашённый компаньонами на деловое совещание. Четверо мужчин, из которых двое почтительно приближались к святой святых, а двое других столь же почтительно оттуда удалялись, встретившись посреди комнаты, вступили между собой в непродолжительный учтивый разговор. А за всеми этими приближениями и удалениями из глубины полутёмной прихожей, которую освещало только внутреннее окно, наблюдал плотный человек с лицом негроида и широченными плечами. Таких, как он, шутники-американцы именуют злыми дядями, друзья называют телохранителями, а враги — наемными убийцами.

Он сидел, не двигаясь, у двери кабинета и даже бровью не повёл при их появлении. Зато Уэйн, увидев его, всполошился.

— Что, разве хозяин там один? — спросил он.

— Успокойся, Питер, — со смешком ответил Крейк. — С ним его секретарь Уилтон. Надеюсь, этого вполне достаточно. Уилтон стоит двадцати телохранителей. Он так бдителен, что, наверно, никогда не спит. Очень добросовестный малый, к тому же быстрый и бесшумный, как индеец.

— Ну, по этой части вы знаток, — сказал племянник. — Помню, ещё в детстве, когда я увлекался книгами об индейцах, вы обучали меня разным приёмам краснокожих. Правда, в этих моих книгах индейцам всегда приходилось худо.

— Зато в жизни — не всегда, — угрюмо сказал старый солдат.

— В самом деле? — любезно осведомился мистер Блейк. — Разве они могли противостоять нашему огнестрельному оружию?

— Я видел, как вооружённый только маленьким ножом индеец, в которого целились из сотни ружей, убил стоявшего на крепостной стене белого, — сказал Крейк.

— Убил ножом? Но как? — спросил Блейк.

— Он его бросил, — ответил Крейк. — Метнул прежде, чем в него успели выстрелить. Какой-то новый, незнакомый мне приём.

— Надеюсь, вы с ним так и не ознакомились, — смеясь, сказал племянник Крейка.

— Мне кажется, — задумчиво проговорил отец Браун, — из этой истории можно извлечь мораль.

Пока они так разговаривали, из смежной комнаты вышел и остановился чуть поодаль секретарь Мертон мистер Уилтон, светловолосый, бледный человек с квадратным подбородком и немигающими собачьими глазами, в нём и вправду было что-то от сторожевого пса.

Он произнёс одну лишь фразу: «Мистер Мертон примет вас через десять минут», — но все тут же стали расходиться. Старик Крейк сказал, что ему пора, племянник вышел вместе с ним и адвокатом, и Браун на какое-то время остался наедине с секретарем, поскольку едва ли можно было считать человеческим или хотя бы одушевлённым существом верзилу-негроида, который, повернувшись к ним спиной, неподвижно сидел, вперив взгляд в дверь хозяйского кабинета.

— Предосторожностей хоть отбавляй, — сказал секретарь. — Вы, наверно, уже слышали о Дэниеле Роке и знаете, как опасно оставлять хозяина надолго одного.

¹⁴ Старик Гикори — прозвище генерала Эндрю Джексона (1767 – 1845) президента США с 1829 по 1837 г. (Гикори — ореховое дерево).

— Но ведь сейчас он остался один? — спросил Браун, Секретарь взглянул на него сумрачными серыми глазами.

— Всего на пятнадцать минут, — ответил он. — Только четверть часа в сутки он проводит в полном одиночестве, он сам этого потребовал, и не без причины.

— Что же это за причина? — любопытствовал гость.

Глаза секретаря глядели так же пристально, не мигая, но суровая складка у рта стала жёсткой.

— Коптская чаша, — сказал он. — Вы, может быть, о ней забыли. Но хозяин не забывает, он ни о чём не забывает. Он не доверяет её никому из нас. Он где-то прячет её в комнате, но где и как — мы не знаем, и достаёт её, лишь когда остаётся один. Вот почему нам приходится рисковать те пятнадцать минут, пока он молится там на свою святыню, думаю, других святынь у него нет. Риск, впрочем, невелик, я здесь устроил такую ловушку, что и сам дьявол не проберётся в неё, а верней — из неё не выберется. Если этот чёртов Рок пожалует к нам в гости, ему придётся тут задержаться. Все эти четверть часа я сижу как на иголках и если услышу выстрел или шум борьбы, я нажму на эту кнопку, и металлическая стена парка окажется под током, смертельным для каждого, кто попытается через неё перелезть. Да выстрела и не будет, эта дверь — единственный вход в комнату, а окно, возле которого сидит хозяин, тоже единственное, и карабкаться к нему пришлось бы на самый верх башни по стене, гладкой, как смазанный жиром шест. К тому же все мы, конечно, вооружены и даже если Рок проберётся в комнату, живым он отсюда не выйдет.

Отец Браун помаргивал, разглядывая ковёр. Затем, вдруг как-то встрепенувшись, он повернулся к Уилтону.

— Надеюсь, вы не обидитесь. У меня только что мелькнула одна мысль. Насчёт вас.

— В самом деле? — отозвался Уилтон. — Что же это за мысль?

— Мне кажется, вы человек, одержимый одним стремлением, — сказал отец Браун. — Простите за откровенность, но, по-моему, вы больше хотите поймать Дэниела Рока, чем спасти Брандера Мертонна.

Уилтон слегка вздрогнул, продолжая пристально глядеть на Брауна, потом его жёсткий рот искривила странная улыбка.

— Как вы об этом... почему вы так решили? — спросил он.

— Вы сказали, что, едва услышав выстрел, тут же включите ток, который убьёт беглеца, — произнёс священник. — Вы, наверное, понимаете, что выстрел лишит жизни вашего хозяина прежде, чем ток лишит жизни его врага. Не думаю, что, если бы это зависело от вас, вы не стали бы защищать мистера Мертонна, но впечатление такое, что для вас это вопрос второстепенный. Предосторожностей хоть отбавляй, как вы сказали, и, кажется, все они изобретены вами. Но изобрели вы их, по-моему, прежде всего для того, чтобы поймать убийцу, а не спасти его жертву.

— Отец Браун, — негромко заговорил секретарь. — Вы умны и проницательны, но, главное, у вас какой-то дар — вы располагаете к откровенности. К тому же, вероятно, вы и сами об этом вскоре услышите. Тут у нас все шутят, что я маньяк, и поимка этого преступника — мой пункт. Возможно, так оно и есть. Но вам я скажу то, чего никто из них не знает. Моё имя — Джон Уилтон Хордер.

Отец Браун кивнул, словно подтверждая, что уж теперь-то ему всё стало ясно, но секретарь продолжал

— Этот субъект который называет себя Роком, убил моего отца и дядю и разорил мою мать. Когда Мертону понадобился секретарь, я поступил к нему на службу, рассудив, что там, где находится чаша, рано или поздно появится и преступник. Но я не знал, кто он, я лишь его подстерегал. Я служил Мертону верой и правдой.

— Понимаю, — мягко сказал отец Браун. — Кстати, не пора ли нам к нему войти?

— Да, конечно, — ответил Уилтон и снова чуть вздрогнул, как бы пробуждаясь от задумчивости; священник решил, что им на время снова завладела его мания. — Входите же, прощу вас.

Отец Браун не мешкая прошёл во вторую комнату. Гость и хозяин не поздоровались друг с другом — в кабинете царила мёртвая тишина, спустя мгновение священник снова появился на пороге.

В тот же момент встрепенулся сидевший у двери молчаливый телохранитель; впечатление было такое будто ожил шкаф или буфет. Казалось, самая поза священника выражала тревогу. Свет падал на его голову сзади, и лицо было в тени.

— Мне кажется вам следует нажать на вашу кнопку, — сказал он со вздохом.

Уилтон вскочил, очнувшись от своих мрачных размышлений.

— Но ведь выстрела же не было, — воскликнул он срывающимся голосом.

— Это, знаете ли, зависит от того, — ответил отец Браун, — что понимать под словом «выстрел».

Уилтон бросился к двери и вместе с Брауном вбежал во вторую комнату. Она была сравнительно невелика и изящно, но просто обставлена. Прямо против двери находилось большое окно, из которого открывался вид на сад и поросшую редким лесом равнину. Окно было распахнуто, возле него стояли кресло и маленький столик. Должно быть, наслаждаясь краткими мгновениями одиночества, узник стремился насладиться заодно и воздухом, и светом.

На столике стояла коптская чаша; владелец поставил её поближе к окну явно для того, чтобы рассмотреть получше. А посмотреть было на что — в сильном и ярком солнечном свете драгоценные камни горели многоцветными огоньками, и чаша казалась подобием Грааля. Посмотреть на неё, несомненно, стоило, но Брандер Мертон на неё не смотрел. Голова его запрокинулась на спинку кресла, густая грива седых волос почти касалась пола, остроконечная борода с проседью торчала вверх, как бы указывая в потолок, а из горла торчала длинная коричневая стрела с красным оперением.

— Беззвучный выстрел, — тихо сказал отец Браун. — Я как раз недавно размышлял об этом новом изобретении — духовом ружье. Лук же и стрелы изобретены очень давно, а шума производят не больше. — Помолчав, он добавил: — Боюсь, он умер. Что вы собираетесь предпринять?

Бледный как мел секретарь усилием воли взял себя в руки.

— Как что? Нажму кнопку, — сказал он. — И если я не прикончу Рока, разыщу его, куда бы он ни сбежал.

— Смотрите, не прикончите своих друзей, — заметил Браун. — Они, наверное, неподалеку. По-моему, их следует предупредить.

— Да нет, они отлично все знают, — ответил Уилтон, — и не полезут через стену. Разве что кто-то из них... очень спешит.

Отец Браун подошёл к окну и выглянул из него. Плоские клумбы сада расстилались далеко внизу, как разрисованная нежными красками карта мира. Вокруг было так пустынно, башня устремлялась в небо так высоко, что ему невольно вспомнилась недавно услышанная странная фраза.

— Как гром с ясного неба, — сказал он. — Что это сегодня говорили о громе с ясного неба и о каре небесной? Взгляните, какая высота; поразительно, что стрела могла преодолеть такое расстояние, если только она не пущена с неба.

Уилтон ничего не ответил, и священник продолжал, как бы разговаривая сам с собой.

— Не с самолёта ли... Надо будет расспросить молодого Уэйна о самолётах.

— Их тут много летает, — сказал секретарь.

— Очень древнее или же очень современное оружие, — заметил отец Браун. — Дядюшка молодого Уэйна, я полагаю, тоже мог бы нам помочь; надо будет расспросить его о стрелах. Стрела похожа на индейскую. Уж не знаю, откуда этот индеец её пустил, но вспомните историю, которую нам рассказал старик. Я ещё тогда заметил, что из неё можно извлечь мораль.

— Если и можно, — с жаром возразил Уилтон, — то суть её лишь в том, что индеец способен пустить стрелу так далеко, как вам и не снилось. Глупо сравнивать эти два случая.

— Я думаю, мораль здесь несколько иная, — сказал отец Браун.

Хотя уже на следующий день священник как бы растворился среди миллионов ньюйоркцев и, по-видимому, не пытался выделиться из ряда безымянных номерков, населяющих номерованные нью-йоркские улицы, в действительности он полмесяца упорно, но незаметно трудился над поставленной перед ним задачей. Браун боялся, что правосудие покарает невинного. Он легко нашёл случай переговорить с двумя-тремя людьми, связанными с таинственным убийством, не показывая, что они интересуют его больше остальных. Особенно занимательной и любопытной была его беседа со старым Гикори Крейком. Состоялась она на скамье в Центральном парке. Ветеран сидел, упершись худым подбородком в костлявые кулаки, сжимавшие причудливый набалдашник трости из тёмно-красного дерева, похожей на томагавк.

— Да, стреляли, должно быть, издали, — покачивая головой, говорил Крейк, — но вряд ли можно так уж точно определить дальность полёта индейской стрелы. Я помню случаи, когда стрела пролетала поразительно большое расстояние и попадала в цель точнее пули. Правда, в наше время трудно встретить вооружённого луком и стрелами индейца, а в наших краях и индейцев-то нет. Но если бы кто-нибудь из старых стрелков-индейцев вдруг оказался возле мертоновского дома и притаился с луком ярдах в трёхстах от стены... я думаю, он сумел бы послать стрелу через стену и попасть в Мертона. В старое время мне случалось видеть и не такие чудеса.

— Я не сомневаюсь, — вежливо сказал священник, — что чудеса вам приходилось не только видеть, но и творить.

Старик Крейк хмыкнул.

— Что уж там ворошить старое, — помолчав, отрывисто буркнул он.

— Некоторым нравится ворошить старое, — сказал Браун. — Надеюсь, в вашем прошлом не было ничего такого, что дало бы повод для кривотолков в связи с этой историей.

— Как вас понять? — рявкнул Крейк и грозно повёл глазами, впервые шевельнувшимися на его красном, деревянном лице, чем-то напоминавшем рукоятку томагавка.

— Вы так хорошо знакомы со всеми приёмами и уловками краснокожих, — медленно начал Браун.

Крейк, который до сих пор сидел, ссутулившись, чуть ли не съёжившись, уткнувшись подбородком в свою причудливую трость, вдруг вскочил, сжимая её, как дубинку, — ни дать ни взять, готовый ввязаться в драку бандит.

— Что? — спросил он хрипло. — Что за чертовщина? Вы смеете намекать, что я убил своего зятя?

Люди, сидевшие на скамейках, с любопытством наблюдали за спором низкорослого лысого крепыша, размахивающего диковинной палицей, и маленького человечка в чёрной сутане, застывшего в полной неподвижности, если не считать слегка помаргивающих глаз. Был момент, когда казалось, что воинственный крепыш с истинно индейской решительностью и хваткой уложит противника ударом по голове, и вдали уже замаячила внушительная фигура ирландца-полисмана. Но священник лишь спокойно сказал, словно отвечая на самый обычный вопрос:

— Я пришёл к некоторым выводам, но не считаю необходимым ссылаться на них прежде, чем смогу объяснить всё до конца.

Шаги ли приближающегося полисмана или взгляд священника утихомирили старого Гикори, но он сунул трость под мышку и, ворча, снова нахлобучил шляпу. Безмятежно пожелав ему всего наилучшего, священник не спеша вышел из парка и направился в некий отель, в общей гостиной которого он рассчитывал застать Уэйна. Молодой человек радостно вскочил, приветствуя Брауна. Он выглядел ещё более измотанным, чем прежде, казалось, его гнетёт какая-то тревога; к тому же у Брауна возникло подозрение, что совсем недавно его юный друг пытался нарушить — увы, с несомненным успехом — последнюю поправку к

американской конституции¹⁵. Но Уэйн сразу оживился, как только речь зашла о его любимом деле. Отец Браун как бы невзначай спросил, часто ли летают над домом Мертон самолёты, и добавил, что, увидев круглую стену, сперва принял её за аэродром.

— А при вас разве не пролетали самолёты? — спросил капитан Уэйн. — Иногда они роятся там, как мухи, эта открытая равнина прямо создана для них, и я не удивлюсь, если в будущем её изберут своим гнездовьем птички вроде меня. Я и сам там частенько летаю и знаю многих лётчиков, участников войны, но теперь всё какие-то новые появляются, я о них никогда не слыхал. Наверно, скоро у нас в Штатах самолётов разведётся столько же, сколько автомобилей, у каждого будет свой.

— Поскольку каждый одарён создателем, — с улыбкой сказал отец Браун, — правом на жизнь, свободу и вожделение автомобилей, не говоря уже о самолётах. Значит, если бы над домом пролетел незнакомый самолёт, вполне вероятно, что на него не обратили бы особого внимания.

— Да, наверно, — согласился Уэйн.

— И даже если б лётчик был знакомый, — продолжал священник, — он, верно, мог бы для отвода глаз взять чужой самолёт. Например, если бы вы пролетели над домом в своём самолёте, то мистер Мертон и его друзья могли бы вас узнать по машине; но в самолёте другой системы или, как это у вас называется, вам бы, наверно, удалось незаметно пролететь почти мимо окна, то есть так близко, что до Мертон практически было бы рукой подать.

— Ну да, — машинально начал капитан и вдруг осёкся и застыл, разинув рот и выпучив глаза.

— Боже мой! — пробормотал он. — Боже мой!

Потом встал с кресла, бледный, весь дрожа, пристально глядя на Брауна.

— Вы спятили? — спросил он. — Вы в своём уме?

Наступила пауза, затем он злобно прошипел:

— Да как вам в голову пришло предположить...

— Я лишь суммирую предположения, — сказал отец Браун, вставая. — К некоторым предварительным выводам я, пожалуй, уже пришёл, но сообщать о них ещё не время.

И, церемонно раскланявшись со своим собеседником, он вышел из отеля, дабы продолжить свои удивительные странствия по Нью-Йорку.

К вечеру эти странствия привели его по тёмным улочкам и кривым, спускавшимся к реке ступенькам в самый старый и запущенный район города. Под цветным фонариком у входа в довольно подозрительный китайский ресторанчик он наткнулся на знакомую фигуру, но не много же осталось в ней знакомого!

Мистер Норман Дрейдж всё так же сумрачно взирал на мир сквозь большие очки, скрывавшие его лицо, как стеклянная тёмная маска. Но если не считать очков, он очень изменился за месяц, истекший со дня убийства. При их первой встрече Дрейдж был элегантен до предела, до того самого предела, где так трудно уловить различие между денди и манекеном в витрине магазина. Сейчас же он каким-то чудом ухитрился впасть в другую крайность: манекен превратился в пугало. Он всё ещё ходил в цилиндре, но измятом и потрёпанном, одежда изнасилась, цепочка для часов и все другие украшения исчезли. Однако Браун обратился к нему с таким видом, словно они встречались лишь накануне, и, не раздумывая, сел рядом с ним на скамью в дешёвом кабачке, где столовался Дрейдж. Впрочем, начал разговор не Браун.

— Ну, — буркнул Дрейдж, — преуспели ли вы в отмщении за смерть блаженной памяти миллионера? Ведь миллионеры все причислены к лику святых, едва какой-нибудь из них преставится — газеты сообщают, что путь его жизни был озарён светом семейной Библии, которую ему в детстве читала маменька. Кстати, в этой древней книжице

¹⁵ Имеется в виду «сухой закон» — закон, запрещавший продажу в США спиртных напитков, действовал в 1920 – 1933 гг.

встречаются истории, от которых и у маменьки мороз бы пошёл по коже, да и сам миллионер, думаю, струхнул бы. Жестокие тогда царили нравы, теперь они уже не те. Мудрость каменного века, погребённая под сводами пирамид. Вы представьте, например, что Мертон вышвыривают из окошка его знаменитой башни на съедение псам. А ведь с Иезавелью поступили не лучше. Или вот Самуил разрубил Агага, когда он просто «подошёл дрожа». Мертон тоже продрожал всю жизнь, пока наконец до того издрожался, что и ходить перестал. Но стрела господня нашла его, как, бывало, в той древней книге, нашла и в назидание другим поразила смертью в его же башне.

— Стрела была вполне материальная, — заметил священник.

— Пирамиды ещё материальнее, а обитают там мёртвые фараоны, — усмехнулся человек в очках. — Очень любопытны эти древние материальные религии. В течение тысячелетий боги и цари на барельефах натягивают свои выдолбленные на камне луки, такими ручищами, кажется, можно и каменный лук натянуть. Материал, вы скажете, — но какой материал! Бывало с вами: так глядишь, глядишь на эти памятники Древнего Востока, и вдруг почудится — а что, если древний господь бог и сейчас таким чёрным Аполлоном разъезжает по свету в своей колеснице и стреляет в нас чёрными лучами смерти?

— Если и разъезжает, — сказал отец Браун, — то имя ему вовсе не Аполлон. Впрочем, я сомневаюсь, что Мертон убили чёрным лучом и даже каменной стрелой.

— Он вам, наверно, представляется святым Себастьяном, павшим от стрел, — ехидно сказал Дрейдж. — Все миллионеры ведь великомученики. А вам не приходило в голову, что он получил по заслугам? Подозреваю, вы не так уж много знаете о вашем мученике-миллионере. Так вот, позвольте вам сообщить: он получил только сотую долю того, что заслуживал.

— Отчего же, — тихо спросил отец Браун, — вы его не убили?

— То есть как отчего не убил? — изумился Дрейдж. — Нечего сказать, милый же вы священник.

— Ну что вы, — сказал Браун, словно отмахиваясь от комплимента.

— Уж не имеете ли вы в виду, что это я его убил? — прошипел Дрейдж. — Что ж, докажите. Но я вам прямо скажу: невелика потеря.

— Ну нет, потеря крупная, — жёстко ответил Браун. — Для вас. Поэтому-то вы его и не убили. — И, не взглянув на остолебеневшего владельца очков, отец Браун вышел.

Почти месяц миновал, прежде чем отец Браун вновь посетил дом миллионера, павшего третьей жертвой Дэниела Рока. Причастные к делу лица собрались там на своего рода совет. Старик Крейк сидел во главе стола, племянник — справа от него, адвокат — слева; грузный великан негроидного типа, которого, как оказалось, звали Харрис, тоже присутствовал, по-видимому, всего лишь в качестве необходимого свидетеля; остроносый рыжий субъект, отзывавшийся на фамилию Диксон, был представителем то ли пинкертоновского, то ли ещё какого-то частного агентства; отец Браун скромно опустил на свободный стул рядом с ним.

Газеты всех континентов пестрели статьями о гибели финансового колосса, зачинателя Большого Бизнеса, опутавшего своей сетью мир, но у тех, кто был возле него накануне гибели, удалось выяснить весьма немногое. Дядюшка с племянником и адвокат заявили, что к тому времени, когда подняли тревогу, они были уже довольно далеко от стены; охранники, стоявшие возле ворот и внутри дома, отвечали на вопросы не совсем уверенно, но в целом их рассказ не вызывал сомнений. Заслуживающим внимания казалось лишь одно обстоятельство. То ли перед убийством, то ли сразу после него какой-то неизвестный околачивался у ворот и просил впустить его к мистеру Мертону. Что ему нужно, трудно было понять, поскольку выражался он весьма невразумительно, но впоследствии и речи его показались подозрительными, так как говорил он о дурном человеке, которого покарало небо.

Питер Уэйн оживленно подался вперёд, и глаза на его исхудалом лице заблестели.

— Норман Дрейдж. Готов поклясться, — сказал он

— Что это за птица? — спросил дядюшка

— Мне бы тоже хотелось это выяснить, — ответил молодой Уэйн. — Я как-то спросил его, но он на редкость ловко уклоняется от прямых ответов. Он и в знакомство ко мне втёрся хитростью — что-то плёл о летательных машинах будущего, но я никогда ему особенно не доверял.

— Что он за человек? — спросил Крейк.

— Мистик-дилетант, — с простодушным видом сказал отец Браун. — Их не так уж мало, он из тех, кто, разглагольствуя в парижских кафе, туманно намекает, что ему удалось приподнять покрывало Изида или проникнуть в секрет Стоунхенджа. А уж в случае, подобном нашему, они непременно подыщут какое-нибудь мистическое истолкование.

Тёмная прилизанная голова мистера Бернарда Блейка учтиво наклонилась к отцу Брауну, но в улыбке проскальзывала враждебность.

— Вот уж не думал, сэр, — сказал он, — что вы отвергаете мистические истолкования.

— Наоборот, — кротко помаргивая, отозвался Браун. — Именно поэтому я и могу их отвергать. Любой самозванный адвокат способен ввести меня в заблуждение, но вас ему не обмануть, вы ведь сами адвокат. Каждый дурак, нарядившись индейцем, может убедить меня, что он-то и есть истинный и неподдельный Гайавата, но мистер Крейк в одну секунду разоблачит его. Любой мошенник может мне внушить, что знает всё об авиации, но он не проведёт капитана Уэйна. Точно так вышло и с Дрейджем, понимаете? Из-за того, что я немного разбираюсь в мистике, меня не могут одурачить дилетанты. Истинные мистики не прячут тайн, а открывают их. Они ничего не оставят в тени, а тайна так и останется тайной. Зато мистику-дилетанту не обойтись без покрова таинственности, сняв который находишь нечто вполне тривиальное. Впрочем, должен добавить, что Дрейдж преследовал и более практическую цель, толкуя о небесной каре и о вмешательстве свыше.

— Что за цель? — спросил Уэйн. — В чём бы она ни состояла, я считаю, что мы должны о ней знать.

— Видите ли, — медленно начал священник, — он хотел внушить нам мысль о сверхъестественном вмешательстве, так как в общем, так как сам он знал, что ничего сверхъестественного в этих убийствах не было.

— А-а, — сказал, вернее, как-то прошипел Уэйн. — Я так и думал. Попросту говоря, он преступник.

— Попросту говоря, он преступник, но преступления не совершил.

— Вы полагаете, что говорите попросту? — учтиво осведомился Блейк.

— Ну вот, теперь вы скажете, что и я мистик-дилетант, — несколько сконфуженно, но улыбаясь проговорил отец Браун. — Это вышло у меня случайно. Дрейдж не повинен в преступлении... в этом преступлении. Он просто шантажировал одного человека и поэтому вертелся у ворот, но он, конечно, не был заинтересован ни в разглашении тайны, ни в смерти Мертон, весьма невыгодной ему. Впрочем, о нём позже. Сейчас я лишь хотел, чтобы он не вводил нас в сторону.

— В сторону от чего? — любопытно спросил его собеседник.

— В сторону от истины, — ответил священник, спокойно глядя на него из-под полуопущенных век.

— Вы имеете в виду, — заволновался Блейк, — что вам известна истина?

— Да, пожалуй, — скромно сказал отец Браун

Стало очень тихо, потом Крейк вдруг крикнул

— Да куда ж девался секретарь? Уилтон! Он должен быть здесь.

— Мы с мистером Уилтоном поддерживаем друг с другом связь, — сообщил священник. — Мало того, я просил его позвонить сюда и вскоре жду его звонка. Могу добавить также, что в определённом смысле мы и до истины докапывались совместно.

— Если так, то я спокоен, — буркнул Крейк. — Уилтон, как ищайка, шёл по следу за этим неуловимым мерзавцем, так что лучшего спутника для охоты вам не найти. Но каким образом вы, чёрт возьми, докопались до истины? Откуда вы её узнали?

— От вас, — тихо ответил священник, кротко, но твёрдо глядя в глаза рассерженному ветерану. — Я имею в виду, что к разгадке меня подтолкнул ваш рассказ об индейце, бросившем нож в человека, который стоял на крепостной стене.

— Вы уже несколько раз это говорили, — с недоумением сказал Уэйн. — Но что тут общего? Что дом этот похож на крепость и, значит, стрелу, как и тот нож, забросили рукой? Так ведь стрела прилетела издалека. Ее не могли забросить на такое расстояние. Стрела-то полетела далеко, а мы всё топчемся на месте.

— Боюсь, вы не поняли, что с чем сопоставить, — сказал отец Браун. — Дело вовсе не в том, как далеко можно что-то забросить. Оружие было использовано необычным образом — вот что главное. Люди, стоявшие на крепостной стене, думали, что нож пригоден лишь для рукопашной схватки, и не сообразили, что его можно метнуть, как дротик. В другом же известном мне случае люди считали оружие, о котором шла речь, только метательным и не сообразили, что стрелой можно заколоть, как копьем. Короче говоря, мораль здесь такова: если нож мог стать стрелой, то и стрела могла стать ножом.

Все взгляды были устремлены теперь на Брауна, но, как будто не замечая их, он продолжал всё тем же обыденным тоном:

— Мы пытались догадаться, кто стрелял в окно, где находился стрелок, и так далее. Но никто ведь не стрелял. Да и попала стрела в комнату вовсе не через окно.

— Как же она туда попала? — спросил адвокат, нахмурившись.

— Я думаю, её кто-то принёс, — сказал Браун. — Внести стрелу в дом и спрятать её было нетрудно. Тот, кто это сделал, подошёл к Мертону, вонзил стрелу ему в горло, словно кинжал, а затем его осенила остроумная идея разместить всё так, чтобы каждому, кто войдёт в комнату, сразу же представилось, что стрела, словно птица, влетела в окошко.

— Кто-то, — голосом тяжёлым, как камни, повторил старик Крейк.

Зазвонил телефон, резко, настойчиво, отчаянно. Он находился в смежной комнате, и никто не успел шелохнуться, как Браун бросился туда.

— Что за чертовщина? — раздражённо вскрикнул Уэйн.

— Он говорил, что ему должен позвонить Уилтон, — всё тем же тусклым, глухим голосом ответил дядюшка.

— Так, наверно, это он и звонит? — заметил адвокат, явно только для того, чтобы заполнить паузу. Но никто ему не ответил. Молчание продолжалось, пока в комнате внезапно снова не появился Браун. Не говоря ни слова, он прошёл к своему стулу.

— Джентльмены, — начал он. — Вы сами меня просили решить для вас эту загадку, и сейчас, решив её, я обязан сказать вам правду, ничего не смягчая. Человек, сующий нос в подобные дела, должен оставаться беспристрастным.

— Я думаю, это значит, — сказал Крейк, первым прервав молчание, — что вы обвиняете или подозреваете кого-то из нас.

— Мы все под подозрением, — ответил Браун. — Включая и меня, поскольку именно я нашёл труп.

— Ещё бы не подозревать нас, — вспыхнул Уэйн. — Отец Браун весьма любезно объяснил мне, каким образом я мог обстрелять из самолёта окно на верхнем этаже.

— Вовсе нет, — сказал священник, — вы сами мне описали, каким образом могли бы всё это проделать. Сами — вот в чём суть.

— Он, кажется, считает вполне вероятным, — загремел Крейк, — что я своей рукой пустил эту стрелу, спрятавшись где-то за оградой.

— Нет, я считал это практически невероятным, — поморщившись, ответил Браун. — Извините, если я обидел вас, но мне не удалось придумать другого способа проверки. Предполагать, что в тот момент, когда совершалось убийство, мимо окна в огромном самолёте проносится капитан Уэйн и остаётся незамеченным — нелепо и абсурдно. Абсурднее этого только предположить, что почтенный старый джентльмен затеет игру в индейцев и притаится с луком и стрелами в кустах, чтобы убить человека, которого мог бы убить двадцатью гораздо более простыми способами. Но я должен был установить полную

непричастность этих людей к делу, вот мне и пришлось обвинить их в убийстве, чтобы убедиться в их невиновности.

— Что же убедило вас в их невиновности? — спросил Блейк, подавшись вперёд.

— То, как они приняли моё обвинение, — ответил священник.

— Как прикажете вас понять?

— Да будет мне позволено заметить, — спокойно заговорил Браун, — что я считал своей обязанностью подозревать не только их двоих, но и всех остальных. Мои подозрения относительно мистера Крейка и мои подозрения относительно капитана Уэйна выражались в том, что я пытался определить, насколько вероятно и возможна их причастность к убийству. Я сказал им, что пришёл к некоторым выводам, что это были за выводы, я сейчас расскажу. Меня интересовало — когда и как выразят эти господа своё негодование, и едва они возмутились, я понял: они не виновны. Пока им не приходило в голову, что их в чём-то подозревают, они сами свидетельствовали против себя, даже объяснили мне, каким образом могли бы совершить убийство. И вдруг, потрясённые страшной догадкой, с яростными криками набрасывались на меня, а догадались они оба гораздо позже, чем могли бы, но задолго до того, как я их обвинил. Будь они и в самом деле виноваты, они бы себя так не вели. Виновный или с самого начала начеку, или до конца изображает святую невинность. Но он не станет сперва наговаривать на себя, а затем вскакивать и негодуя опровергать подкреплённые его же собственными словами подозрения. Так вести себя мог лишь тот, кто и в самом деле не догадывался о подоплёке нашего разговора. Мысль о содеянном постоянно терзает убийцу; он не может на время забыть, что убил, а потом вдруг спохватиться и отрицать это. Вот почему я исключил вас из числа подозреваемых. Других я исключил по другим причинам, их можно обсудить позже. К примеру, секретарь. Но сейчас не о том. Только что мне звонил Уилтон и разрешил сообщить вам важные новости. Вы, я думаю, уже знаете, кто он такой и чего добивался.

— Я знаю, что он ищет Дэниела Рока, — сказал Уэйн. — Охотится за ним, как одержимый. Ещё я слышал, что он сын старика Хордера и хочет отомстить за его смерть. Словом, точно известно одно: он ищет человека, назвавшегося Роком.

— Уже не ищет, — сказал отец Браун. — Он нашёл его.

Питер Уэйн вскочил.

— Нашёл! — воскликнул он. — Нашёл убийцу! Так его уже арестовали?

— Нет, — ответил Браун, и его лицо сделалось суровым и серьёзным. — Новости важные, как я уже сказал, они важнее, чем вы полагаете. Мне думается, бедный Уилтон взял на себя страшную ответственность. Думается, он возлагает её и на нас. Он выследил преступника, и когда наконец тот оказался у него в руках, Уилтон сам осуществил правосудие.

— Вы имеете в виду, что Дэниел Рок... — начал адвокат.

— Дэниел Рок мёртв, — сказал священник. — Он отчаянно сопротивлялся, и Уилтон убил его.

— Правильно сделал, — проворчал мистер Гикори Крейк.

— Я тоже не сужу его — поделом мерзавцу. Тем более, Уилтон мстил за отца, — подхватил Уэйн. — Это всё равно что раздавить гадюку.

— Я не согласен с вами, — сказал отец Браун. — Мне кажется, мы все сейчас пытаемся скрыть под романтическим покровом беззаконие и самосуд, но, думаю, мы сами пожалеем, если утратим наши законы и свободы. Кроме того, по-моему, нелогично, рассуждая о причинах, толкнувших Уилтона к преступлению, не попытаться даже выяснить причины, толкнувшие к преступлению самого Рока. Он не похож на заурядного грабителя, скорее это был маньяк, одержимый одной всепоглощающей страстью, сперва он действовал угрозами и убивал, лишь убедившись в тщетности своих попыток, вспомните обе жертвы были найдены почти у дома. Оправдать Уилтона нельзя хотя бы потому, что мы не слышали оправданий другой стороны.

— Сил нет терпеть этот сентиментальный вздор, — сердито оборвал его Уэйн. — Кого

выслушивать — гнусного подлеца и убийцу? Уилтон кокнул его, и молодец, и кончен разговор.

— Вот именно, вот именно, — энергично закивал дядюшка.

Отец Браун обвёл взглядом своих собеседников, и лицо его стало ещё суровее и серьёзнее.

— Вы в самом деле так думаете? — спросил он.

И тут всё вспомнил, что он на чужбине, что он — англичанин. Все эти люди — чужие ему, хоть и друзья. Его землякам неведомы страсти, кипевшие в этом кружке чужаков, — неистовый дух Запада, страны мятежников и линчевателей, порой объединявшихся в одном лице. Вот и сейчас они объединились.

— Что ж, — со вздохом сказал отец Браун, — я вижу, вы безоговорочно простили бедняге Уилтону его преступление, или акт личного возмездия, или как уж вы там это назовёте. В таком случае ему не повредит, если я подробнее расскажу вам о деле.

Он резко поднялся, и все, не зная ещё, что он хочет сделать, почувствовали: что-то изменилось, словно холодок пробежал по комнате.

— Уилтон убил Рока довольно необычным способом, — начал Браун.

— Как он убил его? — резко спросил Крейк.

— Стрелой, — ответил священник.

В продолговатой комнате без окон становилось всё темнее по мере того, как тускнел солнечный свет, который проникал в неё из смежной комнаты, той самой, где умер великий миллионер. Все взгляды почти машинально обратились туда, но никто не произнёс ни звука. Затем раздался голос Крейка, надтреснутый, старческий, тонкий, не голос, а какое-то квохтанье.

— Как это так? Как это так? Брандера Мертон убили стрелой. Этого мошенника — тоже стрелой.

— Той же самой стрелой, — сказал Браун. — И в тот же момент.

Снова наступила тишина, придушенная, но и набухающая, взрывчатая, а потом несмело начал молодой Уэйн:

— Вы имеете в виду...

— Я имею в виду, — твёрдо ответил Браун, — что Дэниелом Роком был ваш друг Мертон, и другого Дэниела Рока нет. Ваш друг Мертон всю жизнь бредил этой коптской чашей, он поклонялся ей, как идолу, он молился на неё каждый день. В годы своей необузданной молодости он убил двух человек, чтобы завладеть этим сокровищем, но, должно быть, он не хотел их смерти, он хотел только ограбить их. Как бы там ни было, чаша досталась ему. Дрейдж всё знал и шантажировал Мертон. Совсем с другой целью преследовал его Уилтон. Мне кажется, он узнал правду лишь тогда, когда уже служил здесь, в доме, во всяком случае, именно здесь, вон в той комнате, окончилась охота, и Уилтон убил убийцу своего отца.

Все долго молчали. Потом старый Крейк тихо забарабанил пальцами по столу, бормоча:

— Брандер, наверное, сошёл с ума. Он, наверное, сошёл с ума.

— Но бог ты мой! — не выдержал Питер Уэйн. — Что мы теперь будем делать? Что говорить? Ведь это всё меняет! Репортёры... воротилы бизнеса... как с ними быть? Брандер Мертон — такая же фигура, как президент или Папа Римский.

— Да, несомненно, это кое-что меняет, — негромко начал Бернارد Блейк. — Различие прежде всего состоит...

Отец Браун так ударил по столу, что звякнули стаканы; и даже таинственная чаша в смежной комнате, казалось, откликнулась на удар призрачным эхом.

— Нет! — вскрикнул он резко, словно выстрелил из пистолета. — Никаких различий! Я предоставил вам возможность посочувствовать бедняге, которого вы считали заурядным преступником. Вы и слушать меня не пожелали. Вы все были за самосуд. Никто не возмущался тем, что Рока без суда и следствия прикончили, как бешеного зверя, — он, мол,

получил по заслугам. Что ж, прекрасно, если Дэниел Рок получил по заслугам, то по заслугам получил и Брандер Мертон. Если Рок не вправе претендовать на большее, то и Мертон не вправе. Выбирайте что угодно — ваш мятежный самосуд или нашу скучную законность, но, ради господя всемогущего, пусть уж будет одно для всех беззаконие или одно для всех правосудие.

Никто ему не ответил, только адвокат прошипел:

— А что скажет полиция, если мы вдруг заявим, что намерены простить преступника?

— А что она скажет, если я заявлю, что вы его уже простили? — отпарировал Браун. — Поздновато вы почувствовали уважение к закону, мистер Бернард Блейк. — Он помолчал и уже мягче добавил: — Сам я скажу правду, если меня спросят те, кому положено, а вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Это, собственно, как вам угодно. Уилтон позвонил сюда с одной лишь целью — он сообщил мне, что уже можно обо всём рассказать.

Отец Браун медленно прошёл в смежную комнату и остановился возле столика, за которым встретил свою смерть миллионер. Коптская чаша стояла на прежнем месте, и он помедлил немного, вглядываясь в её радужные переливы и дальше — в голубую бездну небес.

ВЕЩАЯ СОБАКА

— Да, — сказал отец Браун, — собаки — славные создания, только не путайте создание с создателем.

Словоохотливые люди часто невнимательны к словам других. Даже блистательность их порою оборачивается тупостью. Друг и собеседник отца Брауна, восторженный молодой человек по фамилии Финз, постоянно готов был низвергнуть на слушателя целую лавину историй и мыслей, его голубые глаза всегда пылали, а светлые кудри, казалось, были отмечены со лба не щёткой для волос, а бурным вихрем светской жизни. И всё же он замылся и умолк, не в силах раскусить простенький каламбур отца Брауна.

— Вы хотите сказать, что с ними слишком носятся? — спросил он. — Право же, не уверен. Это удивительные существа. Временами мне кажется, что они знают много больше нашего.

Отец Браун молчал, продолжая ласково, но несколько рассеянно поглаживать по голове крупного охотничьего пса, приведённого гостем.

— Кстати, — снова загорелся Финз, — в том деле, о котором я пришёл вам рассказать, участвует собака. Это одно из тех дел, которые называют необъяснимыми. Странная история, но, по-моему, самое странное в ней — поведение собаки. Хотя в этом деле всё загадочно. Прежде всего как могли убить старика Дрюса, когда в беседке, кроме него, никого не было?

Рука отца Брауна на мгновение застыла, он перестал поглаживать собаку.

— Так это случилось в беседке? — спросил он равнодушно.

— А вы не читали в газетах? — отозвался Финз. — Подождите, по-моему, я захватил с собой одну заметку, там есть все подробности.

Он вытащил из кармана газетную страницу и протянул её отцу Брауну, который тут же принялся читать, держа статью в одной руке у самого носа, а другой всё так же рассеянно поглаживая собаку. Он как бы являл собой живую иллюстрацию притчи о человеке, у коего правая рука не ведает, что творит левая.

«Истории о загадочных убийствах, когда труп находят в наглухо запертом доме, а убийца исчезает неизвестно как, не кажутся такими уж невероятными в свете поразительных событий, имевших место в Крэнстоне на морском побережье Йоркшира. Житель этих мест полковник Дрюс убит ударом кинжала в спину, и оружие убийства не обнаружено ни на месте преступления, ни где-либо в окрестностях.

Впрочем, проникнуть в беседку, где умер полковник, было несложно: вход в неё открыт, и вплотную к порогу подходит дорожка, соединяющая беседку с домом. В то же время ясно, что незаметно войти в беседку убийца не мог, так как и тропинка, и дверь постоянно находились в поле зрения нескольких свидетелей, подтверждающих показания друг друга. Беседка стоит в дальнем углу сада, где никаких калиток и лазов нет. По обе стороны дорожки растут высокие цветы, посаженные так густо, что через них нельзя пройти, не оставив следов. И цветы, и дорожка подходят к самому входу в беседку, и совершенно невозможно подобраться туда незаметно каким-либо обходным путем.

Секретарь убитого Патрик Флойд заявил, что видел весь сад с той минуты, когда полковник Дрюс в последний раз мелькнул на пороге беседки, и до того момента, когда был найден труп, всё это время он стоял на самом верху стремянки и подстригал живую изгородь. Его слова подтверждает дочь убитого, Дженет Дрюс, которая сидела на террасе и видела Флойда за работой. В какой-то мере её показания подтверждает и Дональд Дрюс, её брат, который, проспав допоздна, выглянул, ещё в халате, из окна своей спальни. И, наконец, все эти показания совпадают со свидетельством соседа Дрюсов, доктора Валантэна, который ненадолго зашёл к ним и разговаривал на террасе с мисс Дрюс, а также свидетельством стряпчего, мистера Обри Трейла. По всей видимости, он последним видел полковника в живых, — исключая, надо полагать, убийцу. Все эти свидетели единодушно утверждают, что события развивались следующим образом: примерно в половине третьего пополудни мисс Дрюс зашла в беседку спросить у отца, когда он будет пить чай. Полковник ответил, что чай пить не будет, потому что ждёт своего поверенного мистера Трейла, которого и велел прислать к себе, когда тот явится. Девушка вышла и, встретив на дорожке Трейла, направила его к отцу. Поверенный пробыл в беседке около получаса, причём полковник проводил его до порога и, судя по всему, пребывал не только в добром здравии, но и в отличном расположении духа. Незадолго до того мистер Дрюс рассердился на сына, узнав, что тот ещё не вставал после ночного кутежа, но довольно быстро успокоился и чрезвычайно любезно встретил и стряпчего, и двух племянников, приехавших к нему погостить на денёк. Полиция не стала допрашивать племянников, поскольку в то время, когда произошла трагедия, они были на прогулке. По слухам, полковник был не в ладах с доктором Валантэном, Впрочем, доктор зашёл лишь на минутку повидаться с мисс Дрюс, в отношении которой, кажется, имеет самые серьёзные намерения.

По словам стряпчего Трейла, полковник остался в беседке один, это подтвердил и мистер Флойд, который, стоя на своём насесте, отметил, что в беседку больше никто не входил. Спустя десять минут мисс Дрюс снова вышла в сад и, ещё не дойдя до беседки, увидела на полу тело отца: на полковнике был белый полотняный френч, заметный издали. Девушка вскрикнула, сбежались все остальные и обнаружили, что полковник лежит мёртвый возле опрокинутого плетёного кресла. Доктор Валантэн который ещё не успел отойти далеко, установил, что удар нанесён каким-то острым орудием вроде стилета, вонзившимся под лопатку и проткнувшим сердце. В поисках такого орудия полиция обшарила всю окрестность, но ничего не обнаружила»

— Значит, на полковнике был белый френч? — спросил отец Браун, откладывая заметку.

— Да, он привык к такой одежде в тропиках, — слегка опешив, ответил Финз. — С ним там случались занятные вещи, он сам рассказывал. Кстати, Валантэна он, по-моему, недолюбливал потому, что и тот служил в тропиках. Уж не знаю отчего — но так мне кажется. В этом деле ведь всё загадочно. Заметка довольно точно излагает обстоятельства убийства. Меня там не было, когда обнаружили труп, — мы с племянниками Дрюса как раз ушли гулять и захватили с собой собаку, помните, ту самую, о которой я хотел вам рассказать. Но описано всё очень точно: прямая дорожка среди высоких синих цветов, по ней идёт стряпчий в чёрном костюме и цилиндре, а над зелёной изгородью — рыжая голова

секретаря. Рыжего заметно издали, и если люди говорят, что видели его всё время, значит, правда видели. Этот секретарь — забавный тип: никогда ему не сидится на месте, вечно он делает чью-то работу, — вот и на этот раз он заменял садовника. Мне кажется, он американец. У него американский взгляд на жизнь, или подход к делам, как говорят у них в Америке.

— Ну, а поверенный? — спросил отец Браун.

Финз ответил не сразу.

— Трейл произвёл на меня довольно странное впечатление, — проговорил он гораздо медленнее, чем обычно. — В своём безупречном чёрном костюме он выглядит чуть ли не франтом, и всё же в нём есть что-то старомодное. Зачем-то отрастил пышные бакенбарды, каких никто не видывал с времен королевы Виктории. Лицо у него серьёзное, держится он с достоинством, но иногда, как бы спохватившись, вдруг улыбнётся, сверкнёт своими белыми зубами, и сразу всё его достоинство словно слиняет, и в нём появляется что-то слащавое. Может, он просто смущается и потому всё время то теребит галстук, то поправляет булавку в галстук. Кстати, они такие же красивые и необычные, как он сам. Если бы я хоть кого-то мог... да нет, что толку гадать, это совершенно безнадежно. Кто мог это сделать? И как? Неизвестно. Правда, за одним исключением, о котором я и хотел вам рассказать. Знает собака.

Отец Браун вздохнул и с рассеянным видом спросил:

— Вы ведь у них гостили как приятель молодого Дональда? Он тоже ходил с вами гулять?

— Нет, — улыбнувшись, ответил Финз. — Этот шалопай только под утро лёг в постель, а проснулся уже после нашего ухода. Я ходил гулять с его кузенами, молодыми офицерами из Индии. Мы болтали о разных пустяках. Старший, кажется, Герберт, большой любитель лошадей. Помню, он всё время рассказывал нам, как купил кобылу, и ругал её прежнего хозяина. А его братец Гарри всё сетовал, что ему не повезло в Монте-Карло. Я упоминаю это только для того, чтобы вы поняли, что разговор шёл самый тривиальный. Загадочной в нашей компании была только собака.

— А какой она породы? — спросил Браун.

— Такой же, как и моя, — ответил Финз. — Я ведь вспомнил всю эту историю, когда вы сказали, что не надо обожествлять собак. Это большой чёрный охотничий пёс; зовут его Мрак, и не зря, по-моему, — его поведение ещё темней и загадочнее, чем тайна самого убийства. Я уже говорил вам, что усадьба Дрюса находится у моря. Мы прошли по берегу примерно с милю, а потом повернули назад и миновали причудливую скалу, которую местные жители называют Скалой Судьбы. Она состоит из двух больших камней, причём верхний еле держится, тронь — и упадёт. Скала не очень высока, но силуэт у неё довольно жуткий. Во всяком случае, на меня он подействовал угнетающе, а моих молодых весёлых спутников навряд ли занимали красоты природы. Возможно, я уже что-то предчувствовал. Герберт спросил, который час и не пора ли возвращаться, и мне уже тогда показалось, что надо непременно узнать время, что это очень важно. Ни у Герберта, ни у меня не было с собой часов, и мы окликнули его брата, который остановился чуть поодаль у изгороди раскурить трубку. Он громко крикнул: «Двадцать минут пятого», — и его трубный голос в наступающих сумерках показался мне грозным. Это вышло у него ненамеренно и потому прозвучало ещё более зловеще, а потом, конечно, мы узнали, что именно в эти секунды уже надвигалась беда. Доктор Валантэн считает, что бедняга Дрюс умер около половины пятого.

Братья решили, что можно ещё минут десять погулять, и мы прошлись чуть подальше по песчаному пляжу, кидали камни, забрасывали в море палки, а собака плавала за ними. Но меня всё время угнетали надвигающиеся сумерки, и даже тень, которую отбрасывала причудливая скала, давила на меня как тяжкий груз. И тут случилась странная вещь. Герберт забросил в воду свою трость, Мрак поплыл за ней, принёс, и тут же Гарри бросил свою. Собака снова кинулась в воду и поплыла, но вдруг остановилась, причём, кажется, всё это было ровно в половине пятого. Пёс вернулся на берег, встал перед нами, а потом вдруг

задрал голову и жалобно завыл, чуть ли не застонал, — я такого воя в жизни не слышал. «Что с этой чёртовой собакой?» — спросил Герберт. Мы не знали. Тонкий жалобный вой, огласив безлюдный берег, оборвался и замер. Наступила тишина, как вдруг её нарушил новый звук. На сей раз мы услышали слабый отдалённый крик, казалось, где-то за изгородью вскрикнула женщина. Мы тогда не поняли, кто это, но потом узнали. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца.

— Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому, — мягко подсказал отец Браун. — А потом?

— Я расскажу вам, что было потом, — угрюмо и торжественно ответил Финз. — Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Я отчётливо помню чёрную шляпу и чёрные бакенбарды на фоне синих цветов, протянувшихся широкой полосой до самой беседки, помню закатное небо и странный силуэт скалы. Трейл стоял в тени, лица его не было видно, но он улыбался, кланусь, я видел, как блестели его белые зубы.

Едва пёс заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным, негодующим лаем, в котором так отчётливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съезился и побежал по дорожке.

Отец Браун вскочил с неожиданной яростью.

— Стало быть, его обвинила собака? Разоблачил Вещий пёс? А не заметили вы, летали в то время птицы и, главное, где: справа или слева? Осведомлялись вы у авгуров, какие принести жертвы? Надеюсь, вы вспороли собаке живот, чтобы исследовать её внутренности? Вот какими научными доказательствами пользуетесь вы, человеколюбцы-язычники, когда вам взбредёт в голову отнять у человека жизнь и честное имя.

Финз на мгновение потерял дар речи, потом спросил:

— Постойте, что это вы? Что я вам такого сделал?

Браун испуганно взглянул на него — так же испуганно и виновато люди смотрят на столб, наткнувшись на него в темноте.

— Не обижайтесь, — сказал он с неподдельным огорчением. — Простите, что я так набросился на вас. Простите, пожалуйста.

Финз взглянул на него с любопытством.

— Мне иногда кажется, что самая загадочная из загадок — вы, — сказал он. — А всё-таки сознайтесь: пусть, по-вашему, собака непричастна к тайне, но ведь сама тайна остаётся. Не станете же вы отрицать, что в тот миг, когда пёс вышел на берег и завыл, его хозяйина прикончила какая-то невидимая сила, которую никому из смертных не дано ни обнаружить, ни даже вообразить. Что до стряпчего, дело не только в собаке; есть и другие любопытные моменты. Он мне сразу не понравился — увёртливый, слащавый, скользкий тип, и я вот что вдруг заподозрил, наблюдая за его ухватками. Как вы знаете, и врач, и полицейские прибыли очень быстро: доктора Валантэна вернули с полпути, и он немедленно позвонил в полицию. Кроме того, дом стоит на отлёте, людей там немного, и было нетрудно всех обыскать. Их тщательно обыскали, но оружия не нашли. Обшарили дом, сад и берег — с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийце было почти так же трудно, как спрятаться самому.

— Спрятать кинжал, — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом.

— Так вот, — продолжал Финз, — я уже говорил, что этот Трейл всё время поправлял то галстук, то булавку в галстук... особенно булавку. Эта булавка напоминает его самого — щёгольская и в то же время старомодная. В неё вставлен камешек — вы такие, наверное, видели — с цветными концентрическими кругами, похожий на глаз. Меня раздражало, что внимание Трейла так сконцентрировано на этом камне. Мне чудилось, что он циклоп, а камень — его глаз. Булавка была не только массивная, но и длинная, и мне вдруг пришло в голову: может быть, он так ей занят оттого, что она ещё длинней, чем кажется? Может, она длиною с небольшой кинжал?

Отец Браун задумчиво кивнул.

— Других предположений насчёт орудия убийства не было? — спросил он

— Было ещё одно, — ответил Финз. — Его выдвинул молодой Дрюс — не сын, а племянник. Глядя на Герберта и Гарри, никак не скажешь, что они могут дать толковый совет сыщику. Герберт и впрямь бравый драгун, украшение конной гвардии и завзятый лошадиник, но младший, Гарри, одно время служил в индийской полиции и кое-что смыслит в этих вещах. Он ловко взялся за дело, пожалуй, даже слишком ловко, — пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Впрочем, он в каком-то смысле сыщик, хоть и безработный, и вложил в свою затею не только любительский пыл. Вот с ним-то мы и поспорили насчёт орудия убийства, и я узнал кое-что новое. Я упомянул, что собака лаяла на Трейла, а он возразил, если собака очень злится, она не лает, а рычит.

— Совершенно справедливо, — вставил священник.

— Младший Дрюс добавил, что он сам не раз слышал, как этот пёс рычит на людей, к примеру — на Флойда, секретаря полковника. Я очень резко возразил, что это опровергает его собственные доводы — нельзя обвинить в одном и том же преступлении несколько человек, тем паче Флойда, безобидного, как школьник. К тому же он был всё время на виду, над зелёной оградой, и его рыжая голова бросалась всем в глаза. «Да, — отвечал Гарри Дрюс, — здесь у меня не совсем сходятся концы с концами, но давайте на минутку прогуляемся в сад. Я хочу показать вам одну вещь, которую, по-моему, никто ещё не видел». Это было в самый день убийства, и в саду всё оставалось без перемен, стремянка по-прежнему стояла у изгороди, и, подойдя к ней вплотную, мой спутник наклонился и что-то вынул из густой травы. Оказалось, что это садовые ножницы; на одном из лезвий была кровь.

Отец Браун помолчал, потом спросил:

— А зачем приходил стряпчий?

— Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание, — ответил Финз. — Кстати, о завещании: его ведь подписали не в тот день.

— Надо полагать, что так, — согласился отец Браун. — Чтобы оформить завещание, нужны два свидетеля.

— Совершенно верно. Стряпчий приезжал накануне, и завещание оформили, но на следующий день Трейла вызвали снова — старик усомнился в одном из свидетелей и хотел это обсудить.

— А кто были свидетели? — спросил отец Браун.

— В том-то и дело, — с жаром воскликнул Финз. — Его свидетелями были Флloyd и Валантэн — вы помните, врач-иностранец, или уж не знаю, кто он там такой. И вдруг они поссорились. Флloyd ведь постоянно суётся в чужие дела. Он из тех любителей пороть горячку, которые, к сожалению, употребляют весь свой пыл лишь на то, чтобы кого-нибудь разоблачить; он из тех, кто никогда и никому не доверяет. Такие, как он, обладатели огненных шевелюр и огненных темпераментов, всегда или доверчивы без меры, или безмерно недоверчивы, а иногда и то и другое вместе. Он не только мастер на все руки, он даже учит мастеров. Он не только сам всё знает, он всех предостерегает против всех. Зная за ним эту слабость, не следовало бы придавать слишком большое значение его подозрениям, но в данном случае он, кажется, прав. Флloyd утверждает, что Валантэн на самом деле никакой не Валантэн. Он говорит, что встречал его прежде и тогда его звали де Вийон. Значит, подпись его недействительна. Разумеется, он любезно взял на себя труд растолковать соответствующую статью закона стряпчему, и они зверски переругались.

Отец Браун засмеялся.

— Люди часто ссорятся, когда им нужно засвидетельствовать завещание. Первый вывод, который тут можно сделать, что им самим ничего не причитается по этому завещанию. Ну, а что говорит Валантэн? Ваш всеведущий секретарь, несомненно, больше знает об его фамилии, чем он сам. Но ведь даже у доктора могут быть кое-какие сведения о собственном имени.

Финз немного помедлил, прежде чем ответить.

— Доктор Валантэн странно отнёсся к делу. Доктор вообще странный человек. Он довольно интересен внешне, но сразу чувствуется иностранец. Он молод, но у него борода, а лицо очень бледное, страшно бледное и страшно серьёзное. Глаза у него страдальческие — то ли он близорукий и не носит очков, то ли у него голова болит от мыслей, но он вполне красив и всегда безупречно одет — в цилиндре, в тёмном смокинге с маленькой красной розеткой. Держится он холодно и высокомерно и, бывает, так на вас глянет, что не знаешь, куда деваться. Когда его обвинили в том, что он скрывается под чужим именем, он, как сфинкс, устоял на секретаря, а затем сказал, что, очевидно, американцам незачем менять имена, за неимением таковых. Тут рассердился и полковник и наговорил доктору резкостей, думаю, он был бы сдержаннее, если бы Валантэн не собирался стать его зятем. Но вообще я не обратил бы внимания на эту перепалку, если бы не один разговор, который я случайно услышал на следующий день, незадолго до убийства. Мне неприятно его пересказывать, ведь я сознаюсь тем самым, что подслушивал. В день убийства, когда мы шли к воротам, направляясь на прогулку, я услышал голоса доктора Валантэна и мисс Дрюс. По-видимому, они ушли с террасы и стояли возле дома в тени за кустами цветов. Переговаривались они жарким шёпотом, а иногда просто шипели — влюблённые ссорились. Таких вещей не пересказывают, но, на беду, мисс Дрюс повторила несколько раз слово «убийство». То ли она просила не убивать кого-то, то ли говорила, что убийством нельзя защитить свою честь. Не так уж часто обращаются с такими просьбами к джентльмену, заглянувшему на чашку чая.

— Вы не заметили, — спросил священник, — очень ли сердился доктор после той перепалки с секретарем и полковником?

— Да вовсе нет, — живо отозвался Финз, — он и вполтину не был так сердит, как секретарь. Это секретарь разбушевался из-за подписей.

— Ну, а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?

— Полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело. Трейл не стал нам сообщать, какие изменения внесены в завещание, но позже, а точнее — сегодня утром, я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну, перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца.

— Мы всё рассуждаем об убийстве, — задумчиво заметил отец Браун, — а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоропостижная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс.

— Господи! Как вы хладнокровно говорите, — воскликнул Финз, взглянув на него с ужасом. — Неужели вы серьёзно думаете, что она...

— Она выходит замуж за доктора? — спросил отец Браун

— Кое-кто не одобряет этого, — последовал ответ. — Но доктора любят и ценят в округе, он искусный, преданный своему делу хирург.

— Настолько преданный, — сказал отец Браун, — что берёт с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме. Ведь был же у него хоть ланцет, когда он осматривал тело, а до дому он, по-моему, добраться не успел.

Финз вскочил и удивленно уставился на него.

— То есть вы предполагаете, этим же самым ланцетом он...

Отец Браун покачал головой.

— Все наши предположения пока что — чистая фантазия, — сказал он. — Тут не в том вопрос — кто или чем убил, а — как? Заподозрить можно многих, и даже орудий убийства хоть отбавляй — булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в беседке? Как даже булавка оказалась там?

Говоря это, священник рассеянно разглядывал потолок, но при последних словах его взгляд оживился, словно он вдруг заметил на потолке какую-то необыкновенную муху.

— Ну, так как же всё-таки, по-вашему? — спросил молодой человек. — Что вы посоветуете мне, у вас такой богатый опыт?

— Боюсь, я мало чем могу помочь, — сказал отец Браун, вздохнув. — Трудно о чём-либо судить, не побывав на месте преступления, да и людей я не видел. Пока вы только можете возвратиться туда и продолжить расследование. Сейчас, как я понимаю, это в какой-то мере взял на себя ваш друг из индийской полиции. Я бы вам посоветовал поскорее выяснить, каковы его успехи. Посмотрите, что там делает ваш сыщик-любитель. Может быть, уже есть новости.

Когда гости — двуногий и четвероногий — удалились, отец Браун взял карандаш и, вернувшись к прерванному занятию, стал составлять план проповеди об энциклике «*Rerum novarum*»¹⁶. Тема была обширна, и план пришлось несколько раз перекраивать, вот почему за тем же занятием он сидел и двумя днями позже, когда в комнату снова вбежала большая чёрная собака и стала возбуждённо и радостно прыгать на него. Вошедший вслед за нею хозяин был также возбуждён, но его возбуждение выражалось вовсе не в такой приятной форме, голубые глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит, лицо было взволнованным и даже немного побледнело.

— Вы мне велели, — начал он без предисловия, — выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал?

Священник промолчал, и гость запальчиво продолжил:

— Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой.

Губы отца Брауна лишь слегка зашевелились, и то, что он пробормотал, не имело никакого отношения ни к нашей истории, ни даже к нашему миру.

— Вы иногда просто пугаете меня, — сказал Финз. — Вы неужели вы этого ожидали?

— Считал возможным, — ответил отец Браун. — Я именно поэтому и просил вас выяснить, чем он занят. Я надеялся, что время ещё есть.

— Тело обнаружил я, — чуть хрипловато начал Финз. — Никогда не видел более жуткого зрелища. Выйдя в сад, я сразу почувствовал — там случилось ещё что-то, кроме убийства. Так же, как прежде, колыхалась сплошная масса цветов, подступая синими клиньями к чёрному проёму входа в старенькую серую беседку, но мне казалось, что это бесы пляшут перед входом в преисподнюю. Я поглядел вокруг; всё как будто было на месте, но мне стало мерещиться, что как-то изменились самые очертания небосвода. И вдруг я понял, в чём дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна Скала Судьбы. Её не было.

Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно.

— Это было всё равно, как если бы снялась с места гора или луна упала с неба, а ведь я всегда, конечно, знал, что эту каменную глыбу очень легко свалить. Что-то будто обожгло меня, я пробежал по дорожке и прорвался напролом через живую изгородь, как сквозь паутину. Кстати, изгородь и вправду оказалась жиденькой, она лишь выглядела плотной, поскольку до сих пор никто сквозь неё не ломился. У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала, бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватывал камень, словно бы стаскивая его на себя; а рядом на буром песке большими расплзающимися буквами он нацарапал: «Скала Судьбы да падёт на безумца».

— Всё это случилось из-за завещания, — заговорил отец Браун. — Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк, особенно — после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс, из полиции его выгнали, он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя.

— Да погодите вы! — крикнул растерянный Финз. — Я за вами никак не поспею.

— Кстати о завещании, — невозмутимо продолжал отец Браун, — пока я не забыл или мы с вами не перешли к более важным темам. Мне кажется, эта история с доктором

¹⁶ «О новых делах» (лат.).

объясняется просто. Я даже припоминаю, что слышал где-то обе фамилии. Этот ваш доктор — французский аристократ, маркиз де Вийон. Но при этом он ярый республиканец и, отказавшись от титула, стал носить давно забытое родовое имя. Гражданин Рикетти¹⁷ на десять дней сбил с толку всю Европу.

— Что это значит? — изумленно спросил молодой человек.

— Так, ничего, — сказал священник. — В девяти случаях из десяти люди скрываются под чужим именем из жульнических побуждений, здесь же соображения — самые высокие. В том-то и соль шутки доктора по поводу американцев, не имеющих имён — то есть титулов. В Англии маркиза Хартингтона никто не называет мистером Хартингтоном, но во Франции маркиз де Вийон сплошь и рядом именуется мсье де Вийоном. Вот ему и пришлось заодно изменить и фамилию. А что до разговора влюблённых об убийстве, я думаю, и в том случае повинен французский этикет. Доктор собирался вызвать Флойда на дуэль, а девушка его отговаривала.

— Вот оно что! — восторгаясь, протянул Финз. — Ну, тогда я понял, на что она намекала.

— О чём вы это? — с улыбкой спросил священник.

— Видите ли, — отозвался молодой человек, — это случилось прямо перед тем, как я нашёл тело бедного Гарри, но я так переволновался, что всё забыл. Разве станешь помнить об идиллической картинке после того, как столкнулся с трагедией? Когда я шёл к дому полковника, я встретил его дочь с доктором Валантэном. Она, конечно, была в трауре, а доктор всегда носит чёрное, будто собрался на похороны; но вид у них был не такой уж похоронный. Мне ещё не приходилось встречать пары, столь радостной и весёлой и в то же время сдержанной. Они остановились поздороваться со мной, и мисс Дрюс сказала, что они поженились и живут в маленьком домике на окраине городка, где доктор продолжает практиковать. Я удивился, так как знал, что по завещанию отца дочери досталось всё состояние. Я деликатно намекнул на это, сказав, что шёл в усадьбу, где надеялся её встретить. Но она засмеялась и ответила: «Мы от всего отказались. Муж не любит наследниц». Оказывается, они и в самом деле настояли, чтобы наследство отдали Дональду, надеюсь, встряска пойдёт ему на пользу и он наконец образумится. Он ведь, в общем-то, не так уж плох, просто очень молод, да и отец вёл себя с ним довольно неумно. Я всё это вспоминаю потому, что именно тогда мисс Дрюс обронила одну фразу, которую я в то время не понял; но сейчас я убеждён, что ваша догадка правильна. Внезапно вспыхнув, она сказала с благородной надменностью бескорыстия: «Надеюсь, теперь этот рыжий дурак перестанет беспокоиться о завещании. Мой муж ради своих принципов отказался от герба и короны времён крестоносцев. Неужели он станет из-за такого наследства убивать старика?» Потом она снова рассмеялась и сказала: «Муж отправляет на тот свет одних лишь пациентов. Он даже не послал своих друзей к Флойду». Теперь мне ясно, что она имела в виду секундантов.

— Мне это тоже в какой-то степени ясно, — сказал отец Браун. — Но, если быть точным, что означают её слова о завещании? Почему оно беспокоит секретаря?

Финз улыбнулся.

— Жаль, что вы с ним незнакомы, отец Браун. Истинное удовольствие смотреть, как он берётся «встряхнуть кого-нибудь как следует»! Дом полковника он встряхнул довольно основательно. Страсти на похоронах разгорелись, как на скачках. Флойд и без повода готов наломать дров, а тут и впрямь была причина. Я вам уже рассказывал, как он учил садовника ухаживать за садом и просвещал законника по части законов. Стоит ли говорить, что он и хирурга принялся наставлять по части хирургии, а так как хирургом оказался Валантэн, наставник обвинил его и в более тяжких грехах, чем неумелость. В его рыжей башке засела мысль, что убийца — именно доктор, и когда прибыли полицейские, Флойд держался весьма

¹⁷ Рикетти — имя взятое французским политическим деятелем графом Мирабо после отмены во Франции в 1890 г. дворянских титулов.

покровительственно. Стоит ли говорить, что он вообразил себя величайшим из всех сыщиков-любителей? Шерлок Холмс со всем своим интеллектуальным превосходством и высокомерием не подавлял так Скотланд-Ярд, как секретарь полковника Дрюса третировал полицейских, расследующих убийство полковника. Видели бы вы его! Он расхаживал с надменным, рассеянным видом, гордо встряхивал рыжей гривой и раздражительно и резко отвечал на вопросы. Вот эти-то его фокусы и взбесили так сильно мисс Дрюс. У него, конечно, была своя теория — одна из тех, которыми кишат романы, но Флойду только в книге и место, он был бы там куда забавнее и куда безвреднее.

— Что же это за теория? — спросил отец Браун.

— О, теория первосортная, — хмуро ответил Финз. — Она вызвала бы сенсацию, если бы продержалась ещё хоть десять минут. Флойд сказал, что полковник был жив, когда его нашли в беседке, и доктор заколол его ланцетом, разрезая одежду

— Понятно, — произнёс священник. — Он, значит, просто отдыхал, уткнувшись лицом в грязный пол.

— Напористость — великое дело, — продолжал рассказчик. — Думаю, Флойд любой ценою протолкнул бы свою теорию в газеты и, может быть, добился бы ареста доктора, если бы весь этот вздор не разлетелся вдребезги, когда Гарри Дрюса нашли под Скалой Судьбы. Это всё, чем мы располагаем. Думаю, что самоубийство почти равносильно признанию. Но подробностей этой истории не узнает никто и никогда.

Наступила пауза, затем священник скромно сказал:

— Мне кажется, я знаю и подробности.

Финз изумленно взглянул на него.

— Но послушайте! — воскликнул он. — Как вы могли их выяснить и почему вы уверены, что дело было так, а не иначе? Вы сидите здесь за сотню миль от места происшествия и сочиняете проповедь. Каким же чудом могли вы всё узнать? А если вы и впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?

Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело как взрыв.

— Собака! — крикнул он. — Ну конечно, собака. Если бы там, на берегу, вы уделили ей достаточно внимания, то без моей помощи восстановили бы всё с начала до конца.

Финз в ещё большем удивлении воззрился на священника.

— Но вы ведь сами назвали мои догадки чепухой и сказали, что собака не имеет никакого отношения к делу.

— Она имеет самое непосредственное отношение к делу, — сказал отец Браун, — и вы бы это обнаружили, если бы видели в ней собаку, а не бога-вседержителя, который вершит над нами правый суд. — Отец Браун замялся, потом продолжал смущённо и как будто виновато: — По правде говоря, я до смерти люблю собак. И мне кажется, люди, склонные окружать их каким-то мистическим ореолом, меньше всего думают о них самих. Начнём с пустяка: отчего собака лаяла на Трейла и рычала на Флойда? Вы спрашиваете, как я могу судить о том, что случилось за сотню миль отсюда, но ведь это, собственно, ваша заслуга — вы так хорошо описали всех этих людей, что я совершенно ясно их себе представил. Люди вроде Трейла, которые вечно хмурятся, а иногда вдруг ни с того ни с сего улыбаются и что-то вертят в пальцах, это люди нервные, легко теряющие самообладание. Не удивлюсь, если и незаменимый Флойд очень возбудим и нервозен, таких немало среди деловитых янки. Почему иначе, услышав, как вскрикнула Джэнет Дрюс, он поранил руку ножницами и уронил их?

Ну, а собаки, как известно, терпеть не могут нервных людей. То ли их нервность передаётся собакам, то ли собаки — они ведь всё-таки звери, по-звериному агрессивны, то ли им просто обидно, что их не любят, — собаки ведь очень самолюбивы. Как бы там ни было, бедняга Мрак невзлюбил и того и другого просто потому, что оба они его боялись. Вы, я знаю, очень умны, а над умом грех насмехаться, но по временам мне кажется, вы чересчур

умны, чтобы понимать животных. Или людей, особенно, если они ведут себя почти так же примитивно, как животные. Животные незамысловатые существа, они живут в мире трюизмов. Возьмём наш случай: собака лает на человека, а человек убегает от собаки. Так вот, вам, по-моему, не хватает простоты, чтобы правильно это понять: собака лает потому, что человек ей не нравится, а человек убегает потому, что боится собаки. Других причин у них нет, да и зачем они? Вам же понадобилось всё усложнить, и вы решили, что собака — ясновидица, какой-то глашатай судьбы. По-вашему, стряпчий бежал не от собаки, а от палача. Но ведь если подумать толком, все эти измышления просто на редкость несостоятельны. Если бы собака и впрямь так определённо знала, кто убил её хозяина, она не таялась бы на него, а вцепилась бы ему в горло. С другой стороны, неужели вы и вправду считаете, что бессердечный злодей, способный убить своего старого друга и тут же на глазах его дочери и осматривавшего тело врача расточать улыбки родственникам жертвы, — неужели, по-вашему, этот злодей выдаст себя в приступе раскаяния лишь потому, что на него залаяла собака? Он мог ощутить зловещую иронию этого совпадения. Оно могло потрясти его, как всякий драматичный штрих. Но он не стал бы удирать через весь сад от свидетеля, который, как известно, не умеет говорить. Так бегут не от зловещей иронии, а от собачьих зубов. Ситуация слишком проста для вас. Что до случая на берегу, то здесь всё обстоит гораздо интереснее. Сперва я ничего не мог понять. Зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно? Это не в собачьих обычаях. Если бы Мрак был чем-то сильно озабочен, он вообще не побежал бы за палкой. Он бы, пожалуй, побежал совсем в другую сторону, на поиски того, что внушило ему опасения. Но если уж собака кинулась за чем-то — за камнем, за палкой, за дичью, я по опыту знаю, что её можно остановить, да и то не всегда, только самым строгим окриком. И уж ни в коем случае она не повернёт назад потому, что передумала.

— Тем не менее она повернула, — возразил Финз, — и возвратилась к нам без палки.

— Без палки она возвратилась по весьма существенной причине, — ответил священник. — Она не смогла её найти и поэтому завывала. Кстати, собаки воют именно в таких случаях. Они свято чтут ритуалы. Собаки так же придирчиво требуют соблюдения правил игры, как дети требуют повторения всех подробностей сказки. На этот раз в игре что-то нарушилось. И собака вернулась к вам, чтобы пожаловаться на палку, с ней никогда ещё ничего подобного не случалось. Впервые в жизни уважаемый и достойный пёс потерпел такую обиду от никудышной старой палки.

— Что же натворила эта палка? — спросил Финз.

— Утонула, — сказал отец Браун.

Финз молча и недоумённо глядел на отца Брауна, и тот продолжил:

— Палка утонула, потому что это была собственно не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковой палке. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверно, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать оружие убийства — забросить его в море, играя с собакой.

— Кажется, я вас понял, — немного оживился Финз. — Но пусть даже это трость со шпагой, мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться.

— У меня забрезжила одна догадка, — сказал отец Браун, — в самом начале вашего рассказа, когда вы произнесли слово «беседка». И ещё больше всё прояснилось, когда вы упомянули, что полковник носил белый френч. То, что пришло мне в голову, конечно, просто неосуществимо, если полковника закололи кинжалом, но если мы допустим, что убийца действовал длинным оружием, вроде рапиры, это не так уж невозможно.

Отец Браун откинулся на спинку кресла, устремил взгляд в потолок и начал излагать давно уже, по-видимому, обдуманное и тщательно выношенное соображение.

— Все эти загадочные случаи вроде истории с Жёлтой комнатой¹⁸, когда труп находят

¹⁸ Речь идёт о детективном романе французского писателя Г. Леру (1868 – 1927) «Тайна Жёлтой комнаты».

в помещении, куда никто не мог проникнуть, не похожи на наш, поскольку дело происходило в беседке. Говоря о Жёлтой комнате и о любой другой, мы всегда исходим из того, что её стены однородны и непроницаемы. Иное дело беседка; тут стены часто сделаны из переплетённых веток и планок, и, как бы густо их ни переплести, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. Сидел он в кресле, а оно тоже было плетёное, в нём тоже светились дырочки. Прибавим ещё, что беседка находилась у самой изгороди, изгородь же, как вы только что говорили, была очень реденькой. Человек, стоявший по другую её сторону, легко мог различить сквозь сетку веток и планок белое пятно полковничьего френча, отчётливое, как белый круг мишени.

Должен сказать, вы довольно туманно описали место действия; но, прикинув кое-что в уме, я восполнил пробелы. К примеру, вы сказали, что Скала Судьбы не очень высока; но вы же говорили, что она, как горная вершина, нависает над садом. А всё это значит, что скала стоит очень близко от сада, хотя путь до неё занимает много времени. Опять же, вряд ли молодая леди завопила так, что её было слышно за полмили. Она просто вскрикнула, и всё же, находясь на берегу, вы её услышали. Среди прочих интересных фактов вы, позвольте вам напомнить, сообщили и такой: на прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку.

Финз слегка вздрогнул.

— Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь это значит, что он принял решение внезапно, не раздумывая, почти не надеясь на успех. К тому же он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника. Кстати, они ему и не достались.

Отец Браун оживился.

— Вы не разбираетесь в его характере, — сказал он с таким видом, будто сам всю жизнь был знаком с покойным Гарри Дрюсом. — Он своеобразный человек, но мне такие попадались. Если бы он точно знал, что деньги перейдут к нему, он едва ли стал бы действовать. Тогда он бы видел, как это мерзко.

— Вам не кажется, что это несколько парадоксально? — спросил Финз.

— Он игрок, — сказал священник, — он и по службе пострадал за то, что действовал на свой риск, не дожидаясь приказов. Вероятно, он прибегал к недозволенным методам, ведь во всех странах полицейская служба больше похожа на царскую охранку, чем нам хотелось бы думать. Но он слишком далеко зашёл и сорвался. Для людей такого типа вся прелесть в риске. Им очень важно сказать: «Только я один мог на это решиться, только я один мог понять — вот оно! Теперь или никогда! Лишь гений или безумец мог сопоставить все факты: старик сердится на Дональда; он послал за стряпчим; в тот же день послал за Гербертом и за мной... и это всё, — прибавить можно только то, что он при встрече улыбнулся мне и пожал руку. Вы скажете — безумие, но так и делаются состояния. Выигрывает тот, у кого хватит безумия предвидеть». Иными словами, он гордился наитием. Это мания величия азартного игрока. Чем меньше надежды на успех, чем поспешнее надо принять решение, тем больше соблазна. Случайно увидев в просвете веток белое пятнышко френча, он не устоял перед искушением. Его опьянила самая обыденность обстановки. «Если ты так умён, что связал воедино ряд случайностей, не будь же трусом и не упускай возможности», — нащёптывает игроку дьявол. Но и сам дьявол едва ли побудил бы этого несчастного убить, обдуманно и осторожно, старика дядю, от которого он всю жизнь дожидался наследства. Это было бы слишком респектабельно.

Он немного помолчал, затем продолжал с каким-то кротким пылом:

— А теперь попытайтесь заново представить себе всю эту сцену. Он стоял у изгороди, в чаду искушения, а потом поднял глаза и увидел причудливый силуэт, который мог бы стать образом его смятённой души: большая каменная глыба чудом держалась на другой, как перевёрнутая пирамида, и он вдруг вспомнил, что её называют Скалой Судьбы. Попробуйте себе представить, как воспринял это зрелище именно в этот момент именно этот человек. По-моему, оно не только побудило его к действию, а прямо подхлестнуло. Тот, кто хочет

вознестись, не должен бояться падения. Он ударил не раздумывая; ему осталось только замести следы. Если во время розысков, которые, конечно, неизбежны, у него обнаружат шпагу, да ещё с окровавленным клинком, он погиб. Если он её где-нибудь бросит, её найдут и, вероятно, выяснят, чья она. Если он даже закинет её в море, его спутники это заметят. Значит, надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы его поступок никому не показался странным. И он придумал такую уловку, как вы знаете, весьма удачную. Только у него одного были часы, и вот он сказал вам, что ещё не время возвращаться, и, отойдя немного дальше, затеял игру с собакой. Представляете, с каким отчаянием блуждал его взгляд по пустынному берегу, прежде чем он заметил собаку!

Финз кивнул, задумчиво глядя перед собой. Казалось, его больше всего волнует самая отвлечённая сторона этой истории.

— Странно, — сказал он, — что собака всё же имеет отношение к делу.

— Собака, если бы умела говорить, могла бы рассказать чуть ли не всё об этом деле, — сказал священник. — Вас же я осуждаю за то, что вы, благо пёс говорить не умеет, выступаете от его имени, заставляя его изъясняться языками ангельскими и человеческими. Вас коснулось поветрие, которое в наше время распространяется всё больше и больше. Оно узурпаторски захватило власть над умами. Я нахожу его и в газетных сенсациях, и даже в модных словечках. Люди с готовностью принимают на веру любые голословные утверждения. Оттесняя ваш старинный рационализм и скепсис, лавиною надвигается новая сила, и имя ей — суеверие. — Он встал и, гневно нахмурясь, продолжал, как будто обращаясь к самому себе: — Вот оно, первое последствие неверия. Люди утратили здравый смысл и не видят мир таким, каков он есть. Теперь стоит сказать: «О, это не так просто!» — и фантазия развёртывается без предела, словно в страшном сне. Тут и собака что-то предвещает, и свинья приносит счастье, а кошка — беду, и жук — не просто жук, а скарабей. Словом, возродился весь зверинец древнего политеизма, — и пёс Анубис, и зеленоглазая Пахт, и тельцы васанские. Так вы катитесь назад, к обожествлению животных, обращаясь к священным слонам, крокодилам и змеям, и всё лишь потому, что вас пугает слово «человек».

Финз встал, слегка смущённый, будто подслушал чужие мысли. Он позвал собаку и вышел, что-то невнятно, но бодро пробормотав на прощанье. Однако звать собаку ему пришлось дважды, ибо она, не шелохнувшись, сидела перед отцом Брауном и глядела на него так же внимательно, как некогда глядел волк на святого Франциска.

ЧУДО «ПОЛУМЕСЯЦА»

«Полумесяц» был задуман в своём роде столь же романтическим, как и его название; и события, которые в нём произошли, по-своему были тоже романтически. Он был выражением того подлинного чувства, исторического и чуть ли не героического, какое прекрасно уживается с торгашеским духом в старейших городах восточного побережья Америки. Первоначально он представлял собой полукруглое здание классической архитектуры, поистине воскрешающее атмосферу XVIII века, когда аристократическое происхождение таких людей, как Вашингтон и Джефферсон, не только не мешало, но помогало им быть истыми республиканцами. Путешественники, встречаемые неизменным вопросом — что они думают о нашем городе, с особой осторожностью должны были отвечать на вопрос — что они думают о нашем «Полумесяце». Даже появившиеся со временем несообразности, нарушившие первоначальную гармонию оригинала, свидетельствовали о его жизнеспособности. На одном конце, то есть роге, «Полумесяца» крайние окна выходили на огороженный участок, что-то вроде помещичьего сада, где деревья и кусты располагались чинно, как в английском парке времён королевы Анны. И тут же за углом другие окна тех же самых комнат, или, вернее, номеров, упирались в глухую неприглядную стену громадного склада, имевшего отношение к какой-то промышленности. Комнаты в этом конце «Полумесяца» были перестроены по унылому шаблону американских отелей, и вся эта часть дома вздымалась вверх, не достигая, правда, высоты соседнего склада, но, во всяком случае,

достаточно высоко, чтобы в Лондоне её окрестили небоскребом. Однако колоннада, которая шла по всему переднему фасаду, отличалась несколько пострадавшей от непогоды величием и наводила на мысль о том, что духи отцов республики, возможно, ещё разгуливают под её сенью. Внутри же опрятные, блиставшие новизной номера были меблированы по последнему слову нью-йоркской моды, в особенности в северной оконечности здания, между аккуратным садом и глухой стеной. Это были, в сущности, миниатюрные квартирки, как бы мы выразились в Англии, состоявшие из гостиной, спальни и ванной комнаты и одинаковые, как ячейки улья. В одной из таких ячеек за письменным столом восседал знаменитый Уоррен Уинд, он разбирал письма и рассылал приказания с изумительной быстротой и чёткостью. Сравнить его можно было бы лишь с упорядоченным смерчем.

Уоррен Уинд был маленький человечек с развевающимися седыми волосами и остроконечной бородкой, на вид хрупкий, но при этом бешено деятельный. У него были поразительные глаза, ярче звёзд и притягательнее магнитов, и кто их раз видел, тот не скоро забывал. И вообще, как реформатор и организатор многих полезных начинаний, он доказал, что не только глаза, но и вся голова у него самого высшего качества. Ходили всевозможные легенды о той сверхъестественной быстроте, с какой он мог составить здравое суждение о чём угодно, в особенности о людях. Передавали, что он нашёл себе жену (долго потом трудившуюся рядом с ним на общее благо), выбрав её мгновенно из целого батальона женщин, одетых в одинаковое форменное платье и маршировавших мимо него во время какого-то официального торжества, по одной версии, это были девушки-скауты, по другой — женская полиция. Рассказывали ещё о том, как трое бродяг, одинаково грязных и оборванных, явились к нему однажды за подаванием. Ни минуты не колеблясь, он одного послал в нервную клинику, другого определил в заведение для алкоголиков, а третьего взял к себе лакеем, и тот с успехом и не без выгоды нёс свою службу в течение многих лет. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты об его молниеносных суждениях и колких, находчивых ответах в беседах с Рузвельтом, Генри Фордом, миссис Асквит и со всеми теми, с кем у американского общественного деятеля неминуемо бывают исторические встречи, хотя бы только на страницах газет. Благоговейного трепета в присутствии этих особ он, естественно, никогда не испытывал, а потому и теперь, в описываемый момент, он хладнокровно крутил свой центробежный бумажный смерч, хотя человек, стоявший перед ним, был почти столь же значителен, как и вышеупомянутые исторические деятели.

Сайлас Т. Вэндем, миллионер и нефтяной магнат, был тощий мужчина с длинной жёлтой физиономией и иссиня-чёрными волосами, краски эти сейчас были не очень ясно различимы, так как он стоял против света, на фоне окна и белой стены склада, но тем не менее весьма зловещи. Его узкое элегантное пальто, отделанное каракулем, было застёгнуто на все пуговицы. На энергичное же лицо и сверкающие глаза Уинда падал яркий свет из другого окна, выходящего в сад, так как стул и письменный стол были обращены к этому окну. Хотя лицо филантропа и казалось озабоченным, озабоченность эта, бесспорно, не имела никакого отношения к миллионеру. Камердинер Уинда, или его слуга, крупный, сильный человек с прилизанными светлыми волосами, стоял сбоку от своего господина с пачкой писем в руке. Личный секретарь Уинда, рыжий молодой человек с умным острым лицом, уже держался за ручку двери, как бы на лету подхватив какую-то мысль хозяина или повинаясь его жесту. Комната, не только скромно, но даже аскетически обставленная, была почти пуста, — со свойственной ему педантичностью. Уинд снял и весь верхний этаж, обратив его в кладовую, все его бумаги и имущество хранились там в ящиках и обвязанных верёвками тюках.

— Уилсон, отдайте их дежурному по этажу, — приказал Уинд слуге, протягивая ему письма. — А потом принесите мне брошюру о ночных клубах Миннеаполиса, вы найдёте её в пакете под буквой «Г». Мне она понадобится через полчаса, а до тех пор меня не беспокойте. Так вот, мистер Вэндем, предложение ваше представляется мне весьма многообещающим, но я не могу дать окончательного ответа, пока не ознакомлюсь с отчётом.

Я получу его завтра к вечеру и немедленно позвоню вам. Простите, что пока не могу высказаться определеннее.

Мистер Вэндем, очевидно, догадался, что его вежливо выпроваживают, и по его болезненно-жёлтому мрачному лицу скользнуло подобие усмешки — он оценил иронию ситуации.

— Видимо, мне пора уходить, — сказал он.

— Спасибо, что заглянули, мистер Вэндем, — вежливо откликнулся Уинд. — Извините, что не провожаю вас, — у меня тут дело, которое не терпит отлагательства. Феннер, — обратился он к секретарю, — проводите мистера Вэндема до автомобиля и оставьте меня одного на полчаса. Мне надо кое-что обдумать самому. После этого вы мне понадобится.

Трое вышли вместе в коридор и притворили за собой дверь. Могучий слуга Уилсон направился к дежурному, а двое других повернули в противоположную сторону, к лифту, поскольку кабинет Уинда находился на четырнадцатом этаже. Не успели они отойти от двери и на ярд, как вдруг увидели, что коридор заполнен надвигающейся на них внушительной фигурой. Человек был высок и широкоплеч, его массивность особенно подчёркивал белый или очень светлый серый костюм, очень широкополая белая шляпа и почти столь же широкий ореол почти столь же белых волос. В этом ореоле лицо его казалось сильным и благородным, как у римского императора, если не считать мальчишеской, даже младенческой яркости глаз и блаженной улыбки.

— Мистер Уоррен Уинд у себя? — бодро осведомился он.

— Мистер Уоррен Уинд занят, — ответил Феннер. — Его нельзя беспокоить ни под каким видом. Если позволите, я его секретарь и могу передать любое поручение.

— Мистера Уоррена Уинда нет ни для Папы Римского, ни для коронованных особ, — проговорил нефтяной магнат с кислой усмешкой. — Мистер Уоррен Уинд чертовски привередлив. Я зашёл вручить ему сущую безделицу — двадцать тысяч долларов на определённых условиях, а он велел мне зайти в другой раз, как будто я мальчишка, который прибежит по первому зову.

— Прекрасно быть мальчишкой, — заметил незнакомец, — а ещё прекраснее услышать зов. Я вот пришёл передать ему зов, который он обязан услышать. Это зов великой, славной страны, там, на Западе, где выковывается истинный американец, пока все вы тут спите без просыпу. Вы только передайте ему, что Арт Олбойн из Оклахома-сити явился обратиться к нему.

— Я повторяю: никому не велено входить, — резко возразил рыжий секретарь. — Он распорядился, чтобы никто не беспокоил его в течение полчаса.

— Все вы тут, на Востоке, не любите, когда вас беспокоят, — возразил жизнерадостный мистер Олбойн, — но похоже, что на Западе подымается сильный ветер, и уж он-то вас побеспокоит. Ваш Уинд высчитывает, сколько денег пойдёт на ту или другую затхлую религию, а я вам говорю: всякий проект, который не считается с новым движением Великого Духа в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего.

— Как же! Знаем мы эти религии будущего, — презрительно проронил миллионер. — Я по ним прошёлся частым гребнем. Запаршивели, как бродячие собаки. Была такая особа по имени София, ей бы зваться Сапфирой¹⁹. Надувательство чистой воды. Привязывают нитки к столам и тамбуринам. Потом была ещё компания, «Невидимая Жизнь», — они утверждали, будто могут исчезать, когда захотят. И исчезли-таки, и сотня тысяч моих долларов вместе с ними. Знал я и Юпитера Иисуса из Денвера, виделся с ним несколько недель кряду, а он тоже оказался обыкновенным жуликом. Был и пророк-патаговец, — он давно уже дал тягу в свою Патагонию. Нет, с меня хватит — отныне я верю только тому, что вижу своими глазами. Кажется, это называется атеизмом.

¹⁹ Сапфира — жена одного из членов первохристианской общины. Они с мужем утаили от общины часть своего имущества и были поражены смертью (Деяния Апостолов V, 1).

— Да нет, вы меня не так поняли, — пылко запротестовал человек из Оклахомы. — Я, похоже, ничуть не меньше атеист, чем вы. В нашем движении никакой сверхъестественной или суеверной чепухи не водится, одна чистая наука. Единственно настоящая, правильная наука — это здоровье, а единственно настоящее, правильное здоровье — уметь дышать. Наполните ваши лёгкие просторным воздухом прерий, и вы сдуете ваши затхлые восточные города в океан. Вы сдуете ваших великих мужей, как пух чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя на родине: мы дышим. Мы не молимся, мы дышим.

— Не сомневаюсь, — утомлённо произнёс секретарь. На его умном, живом лице ясно проступала усталость. Однако он выслушал оба монолога с примечательным терпением и вежливостью (в опровержение легенд о нетерпимости и наглости американцев).

— Никакой мистики, — продолжал Олбойн, — великое естественное явление природы. Оно и стоит за всеми мистическими домыслами. Для чего был нужен иудеям бог? Для того, чтобы вдохнуть в ноздри человека дыхание жизни. А мы в Оклахоме впиваем это дыхание собственными ноздрями. Само слово «дух» означает «дыхание». Жизнь, прогресс, пророчество — всё сводится к одному: к дыханию.

— Некоторые скажут, что всё сводится к болтовне, — заметил Вэндем, — но я рад, что вы хотя бы обошлись без религиозных фокусов.

На умном лице секретаря, особенно бледном по контрасту с рыжими волосами, промелькнуло какое-то странное выражение, похожее на затаённую горечь.

— А я вот не рад, — сказал он. — Но ничего не могу поделать. Вам, я вижу, доставляет удовольствие быть атеистами, поэтому вы можете верить во что хотите. А для меня... видит бог, я хотел бы, чтобы он существовал. Но его нет. Такое уж моё везение.

И вдруг у них мурашки побежали по коже, они осознали, что к их группе, топтавшейся перед кабинетом Уинда, неслышно и незаметно прибавился ещё один человек. Давно ли этот четвёртый стоял подле них, никто из увлечённых разговором участников диспута сказать не мог, но вид у него был такой, будто он почтительно и даже робко дожидается возможности вернуть что-то очень важное. Им, взбудораженным спором, показалось, что он возник из-под земли внезапно и бесшумно, как гриб. Да и сам он был вроде большого чёрного гриба, коротенький, приземистый и неуклюжий, в нахлобученной на лоб большой чёрной шляпе. Сходство было бы ещё полнее, если бы грибы имели обыкновение носить с собой потрёпанные бесформенные зонтики.

Секретарь удивился ещё и тому, что человек этот был священником. Но когда тот обратил к нему своё круглое лицо, выглядывающее из-под круглой шляпы, и простодушно спросил, может ли он видеть мистера Уоррена Уинда, Феннер ответил по-прежнему отрицательно и ещё отрывистей, чем раньше.

Священник, однако, не сдался.

— Мне действительно очень нужно видеть мистера Уинда, — сказал он. — Как ни странно, это всё, что мне нужно. Я не хочу говорить с ним. Я просто хочу убедиться, что он у себя и что его можно увидеть.

— А я вам говорю: он у себя, но видеть его нельзя, — проговорил Феннер с возрастающим раздражением. — Что это значит — «убедиться, что он у себя»? Ясно, он у себя. Мы оставили его там пять минут назад и с тех пор не отходим от двери.

— Хорошо, но я хочу убедиться, что с ним всё благополучно, — упрямо продолжал священник.

— А в чём дело? — с досадой осведомился секретарь.

— Дело в том, что у меня есть важные, я бы сказал, веские причины сомневаться, всё ли с ним благополучно.

— О господи! — в бешенстве воскликнул Вэндем. — Никак, опять суеверия!

— Я вижу, мне надо объясниться, — серьёзно сказал священник. — Я чувствую, вы не разрешите мне даже в щёлочку заглянуть, пока я всего не расскажу.

Он в раздумье помолчал, а затем продолжил, не обращая внимания на удивлённые лица окружающих:

— Я шёл по улице вдоль колоннады и вдруг увидел оборванца, вынырнувшего из-за угла на дальнем конце «Полумесяца». Тяжело топая по мостовой, он мчался навстречу мне. Я разглядел высокую костлявую фигуру и узнал знакомое лицо — лицо одного шального ирландца, которому я когда-то немного помог. Имени его я не назову. Завидев меня, он отшатнулся и крикнул: «Святые угодники, да это отец Браун! И напугали же вы меня! Надо же вас встретить как раз сегодня». Из этих слов я понял, что он учинил что-то скверное. Впрочем, он не очень струхнул при виде меня, потому что тут же разговорился. И странную он рассказал мне историю. Он спросил, знаком ли мне некий Уоррен Уинд, и я ответил, что нет, хотя и знал, что тот занимает верх этого дома. И он сказал: «Уинд воображает себя господом богом, но если б он слышал, что я так про него говорю, он бы взял и повесился». И повторил истерическим голосом несколько раз: «Да, взял бы и повесился». Я спросил его, не сделал ли он чего худого Уинду, и он дал очень заковыристый ответ. Он сказал: «Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не пулей, а проклятием». Насколько я понял, он всего лишь пробежал по переулку между этим зданием и стеной склада, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стенку, точно это могло обрушить дом. «Но при этом, — добавил он, — я проклял его страшным проклятием и пожелал, чтоб адская месть схватила его за ноги, а правосудие божие — за волосы и разорвали его надвое, как Иуду, чтоб духу его на земле больше не было». Не важно, о чём ещё я говорил с этим несчастным сумасшедшим; он ушёл в более умиротворённом состоянии, а я обогнул дом, чтобы проверить его рассказ. И что же вы думаете — в переулке под стеной валялся ржавый старинный пистолет. Я достаточно разбираюсь в огнестрельном оружии, чтобы понять, что пистолет был заряжен лишь малой толикой пороха: на стене виднелись чёрные пятна пороха и дыма и даже кружок от дула, но ни малейшей отметины от пули. Он не оставил ни единого следа разрушения, ни единого следа вообще, кроме чёрных пятен и чёрного проклятия, брошенного в небо. И вот я явился сюда узнать, всё ли в порядке с Уорреном Уиндом.

Феннер усмехнулся:

— Могу вас успокоить, он в полном порядке. Всего несколько минут назад мы оставили его в кабинете — он сидел за столом и писал. Он был абсолютно один, его комната — на высоте ста футов над улицей и расположена так, что никакой выстрел туда не достанет, даже если бы ваш знакомый стрелял не холостыми. Имеется только один вход в комнату — вот этот, а мы не отходили от двери ни на минуту.

— И всё-таки, — серьёзно произнёс отец Браун, — я хотел бы зайти и взглянуть на него своими глазами.

— Но вы не зайдёте, — отрезал секретарь. — Господи, неужели вы и впрямь придаёте значение проклятиям!

— Вы забываете, — насмешливо сказал миллионер, — что занятие преподобного джентльмена — раздавать благословения и проклятия. За чем же дело, сэр? Если его упекли с помощью проклятия в ад, почему бы вам не вызволить его оттуда с помощью благословения? Что проку от ваших благословений, если они не могут одолеть проклятия какого-то ирландского проходимца?

— Кто же нынче верит в подобные вещи? — запротестовал пришелец с Запада.

— Отец Браун, я думаю, много во что верит, — не отставал Вэндем, у которого разыгралась желчь от недавней обиды и от теперешних пререканий. — Отец Браун верит, что отшельник переплыл реку на крокодиле, выманив его заклинаниями неизвестно откуда, а потом повелел крокодилу сдохнуть, и тот послушно издох. Отец Браун верит, что какой-то святой угодник преставился, а после смерти утродился, дабы осчастливить три прихода, возмнившие себя местом его рождения. Отец Браун верит, будто один святой повесил плащ на солнечный луч, а другой переплыл на плаще Атлантический океан. Отец Браун верит, что у святого осла было шесть ног и что дом в Лорето летал по воздуху. Он верит, что сотни каменных дев могли плакать и сетовать дни напролёт. Ему ничего не стоит поверить, будто человек исчез через дверную скважину или испарился из запертой комнаты. Надо полагать, он не слишком-то считается с законами природы.

— Но зато я обязан считаться с законами Уоррена Уинда, — устало заметил секретарь, — а в его правила входит оставаться одному, когда он пожелает. Уилсон скажет вам то же самое. — Рослый слуга, посланный за брошюрой, как раз в этот момент невозмутимо шёл по коридору с брошюрой в руках. — Уилсон сядет на скамью рядом с коридорным и будет сидеть, пока его не позовут, и тогда только войдёт в кабинет, но не раньше. Как и я. Мы с ним прекрасно понимаем, чей хлеб едим, и сотни святых и ангелов отца Брауна не заставят нас забыть об этом.

— Что касается святых и ангелов... — начал священник.

— То всё это чепуха, — закончил за него Феннер. — Не хочу сказать ничего обидного, но такие фокусы хороши для часовен, склепов и тому подобных диковинных мест. Сквозь дверь американского отеля духи проникнуть не могут.

— Но люди могут открыть даже дверь американского отеля, — терпеливо возразил отец Браун. — И, по-моему, самое простое — открыть её.

— А ещё проще потерять своё место, — отпарировал секретарь, — Уоррен Уинд не станет держать в секретарях таких простаков. Во всяком случае, простаков, верящих в сказки, в которые верите вы.

— Ну что ж, — серьёзно сказал священник, — это правда, я верю во многое, во что вы, вероятно, не верите. Но мне пришлось бы долго перечислять это и доказывать, что я прав. Открыть же дверь и доказать, что я не прав, можно секунды за две.

Слова эти, очевидно, нашли отклик в азартной и мятежной душе пришельца с Запада.

— Признаюсь, я не прочь доказать, что вы не правы, — произнёс Олбойн, решительно шагнув к двери, — и докажу.

Он распахнул дверь и заглянул в комнату. С первого же взгляда он убедился, что кресло Уоррена Уинда пусто. Со второго взгляда он убедился, что кабинет Уоррена Уинда тоже пуст.

Феннер, словно наэлектризованный, кинулся вперёд.

— Уинд в спальне, — отрывисто бросил он, — больше ему быть негде. — И он исчез в глубине номера.

Все застыли в пустом кабинете, озираясь кругом. Их глазам предстала суровая, вызывающе аскетическая простота мебелировки, уже отмеченная ранее. Бесспорно, в комнате и мыши негде было спрятаться, не то что человеку. В ней не было драпировок и, что редкость в американских гостиницах, не было шкафов. Даже письменный стол был обыкновенной конторкой. Стулья тут стояли жёсткие, с высокой спинкой, прямые, как скелеты. Мгновение спустя из недр квартиры возник секретарь, обыскавший две другие комнаты. Ответ можно было ясно прочесть по его глазам, но губы его шевельнулись механически, сами по себе, и он резко, как бы утверждая, спросил:

— Он не появлялся?

Остальные даже не нашли нужным отвечать на его вопрос. Разум их будто натолкнулся на глухую стену, подобную той, которая глядела в одно из окон и постепенно, по мере того, как медленно надвигался вечер, превращалась из белой в серую.

Вэндем подошёл к подоконнику, у которого стоял полчаса назад, и выглянул в открытое окно. Ни трубы, ни пожарной лестницы, ни выступа не было на стене, отвесно спускавшейся вниз, в улочку, не было их и на стене, вздымавшейся над окном на несколько этажей вверх. По другую же сторону улицы тянулась лишь унылая пустыня беленой стены склада. Вэндем заглянул вниз, словно ожидая увидеть останки покончившего самоубийством филантропа, но на мостовой он разглядел лишь небольшое тёмное пятно — по всей вероятности, уменьшенный расстоянием пистолет. Тем временем Феннер подошёл к другому окну в стене, в равной степени неприступной, выходившему уже не на боковую улицу, а в небольшой декоративный сад. Группа деревьев мешала ему как следует осмотреть местность, но деревья эти оставались где-то далеко внизу, у основания жилой громады. И Вэндем, и секретарь отвернулись от окон и уставились друг на друга, в сгущающихся сумерках на полированных крышках столов и конторок быстро тускнели последние отблески

солнечного света. Феннер повернул выключатель, как будто сумерки раздражали его, и комната, озарённая электрическим светом, внезапно обрела чёткие очертания.

— Как вы недавно изволили заметить, — угрюмо произнёс Вэндем, — никаким выстрелом снизу его не достать, будь даже пистолет заряжен. Но если бы в него и попала пуля, не мог же он просто лопнуть, как мыльный пузырь.

Секретарь, ещё более бледный, чем обычно, досадливо взглянул на желчную физиономию миллионера.

— Откуда у вас такие гробовые настроения? При чём тут пули и пузыри? Почему бы ему не быть в живых?

— Действительно, почему? — ровным голосом переспросил Вэндем. — Скажите мне, где он, и я скажу вам, как он туда попал.

Поколебавшись, секретарь кисло пробормотал:

— Пожалуй, вы правы. Вот мы и напоролись на то, о чём спорили. Будет забавно, если вы или я вдруг придём к мысли, что проклятие что-то да значит! Но кто мог добраться до Уинда, замурованного тут, наверху?..

Мистер Олбойн из Оклахомы до этого момента стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и казалось, что и белый ореол вокруг его головы, и круглые глаза излучают изумление. Теперь он сказал рассеянно, с безответственной дерзостью балованного ребёнка:

— Похоже, вы не очень-то его долбоуливали, а, мистер Вэндем?

Длинное жёлтое лицо мистера Вэндема ещё больше помрачнело и оттого ещё больше вытянулось, однако он улыбнулся и невозмутимо ответил.

— Что до совпадений, если на то пошло, именно вы сказали, что ветер с Запада сдует наших великих мужей, как пух чертополоха.

— Говорить-то я говорил, — простодушно подтвердил мистер Олбойн, — но как это могло случиться, черт побери?

Последовавшее молчание нарушил Феннер, крикнувший неожиданно запальчиво, почти с иступлением:

— Одно только можно сказать: этого просто не было. Не могло этого быть.

— Нет, нет, — донёсся вдруг из угла голос отца Брауна, — это именно было.

Все вздрогнули. По правде говоря, они забыли о незаметном человечке, который подбил их открыть дверь. Теперь же, вспомнив, сразу переменили своё отношение к нему. На них нахлынуло раскаяние: они пренебрежительно сочли его суеверным фантазёром, когда он позволил себе только намекнуть на то, в чём теперь они убедились собственными глазами.

— Ах чёрт! — выпалил импульсивный уроженец Запада, привыкший, видимо, говорить всё, что думает. — А может, тут и в самом деле что-то есть?

— Должен признать, — проговорил Феннер, хмуро уставясь в стол, — предчувствия его преподобия, видимо, обоснованны. Интересно, что он ещё скажет нам по этому поводу?

— Он скажет, может быть, — ядовито заметил Вэндем, — что нам делать дальше, чёрт побери!

Маленький священник, казалось, отнёсся к сложившейся ситуации скромно, по-деловому.

— Единственное, что я могу придумать, — сказал он, — это сперва поставить в известность владельцев отеля, а потом поискать следы моего знакомого с пистолетом. Он исчез за тем углом «Полумесяца», где сад. Там стоят скамейки, облюбованные бродягами.

Переговоры с администрацией отеля, приведшие к окольным переговорам с полицейскими властями, отняли довольно много времени, и, когда они вышли под своды длинной классической колоннады, уже наступила ночь. «Полумесяц» выглядел таким же холодным и ущербным, как и его небесный тёзка; сияющий, но призрачный, тот как раз поднимался из-за чёрных верхушек деревьев, когда они завернули за угол и очутились у небольшого сада. Ночь скрыла всё искусственное, городское, что было в саду, и, когда они зашли вглубь, слившись с тенями деревьев, им почудилось, будто они вдруг перенеслись за

сотни миль отсюда. Некоторое время они шли молча, но вдруг Олбойн, который был непосредственной других, не выдержал.

— Сдаюсь, — воскликнул он, — пасую. Вот уж не думал, что когда-нибудь наскочу на этокое! Но что поделаешь, если оно само на тебя наскочит! Прошу простить меня, отец Браун, перехожу на вашу сторону. Отныне я руками и ногами за сказки. Вот вы, мистер Вэндем, объявили себя атеистом и верите только в то, что видите. Так что же вы видите? Вернее, чего же вы не видите?

— Вот именно! — угрюмо кивнул Вэндем.

— Бросьте, это просто луна и деревья действуют вам на нервы, — упорствовал Феннер. — Деревья в лунном свете всегда кажутся диковинными, ветки торчат как-то странно. Поглядите, например, на эту...

— Да, — сказал Браун, останавливаясь и всматриваясь вверх сквозь путаницу ветвей. — В самом деле, очень странная ветка.

Помолчав, он добавил:

— Она как будто сломана.

На этот раз в его голосе послышалась такая нотка, что его спутники безотчётно похолодели. Действительно, с дерева, вырисовывавшегося чёрным силуэтом на фоне лунного неба, безвольно свисало нечто, казавшееся сухой веткой. Но это не была сухая ветка. Когда они подошли ближе, Феннер, громко выругавшись, отскочил в сторону. Затем снова подбежал и снял петлю с шеи жалкого, поникшего человечка, с головы которого перьями свисали седые космы. Ещё до того, как он с трудом спустил тело с дерева, он уже знал, что снимает мертвеца. Ствол был обмотан десятками футов веревки, и лишь короткий отрезок её шёл от ветки к телу. Большая садовая бочка откатилась на ярд от ног трупа, как стул, вышибленный ногами самоубийцы.

— Господи, помилуй! — прошептал Олбойн, и не понять было, молитва это или божба. — Как там сказал этот тип: «Если б он слышал, он бы взял и повесился»? Так он сказал, отец Браун?

— Так, — ответил священник.

— Да, — глухо выговорил Вэндем. — Мне никогда и не снилось, что я увижу или признаю что-нибудь подобное. Но что тут ещё добавить? Проклятие осуществилось.

Феннер стоял, закрыв ладонями лицо. Священник дотронулся до его руки.

— Вы были очень привязаны к нему?

Секретарь отнял руки; его бледное лицо в лунном свете казалось мёртвым.

— Я ненавидел его всей душой, — ответил он, — если его убило проклятие, уж не моё ли?

Священник крепче сжал его локоть и сказал с жаром, какого до того не выказывал:

— Пожалуйста, успокойтесь, вы тут ни при чём.

Полиции пришлось нелегко, когда дошло до опроса четырёх свидетелей, замешанных в этом деле. Все четверо пользовались уважением и заслуживали полного доверия, а один, Сайлас Вэндем, директор нефтяного треста, обладал авторитетом и властью. Первый же полицейский чин, попытавшийся выразить недоверие к услышанному, мгновенно вызвал на себя гром и молнии со стороны грозного магната.

— Не смейте мне говорить, чтобы я держался фактов, — обрезал его миллионер. — Я держался фактов, когда вас ещё и на свете не было, а теперь факты сами держатся за меня. Я вам излагаю факты, лишь бы у вас хватило ума правильно их записать.

Полицейский был молод летами и в небольших чинах, и ему смутно представлялось, что миллионер — фигура настолько государственная, что с ним нельзя обращаться, как с рядовым гражданином. Поэтому он передал магната и его спутников в руки своего более закалённого начальника, некоего инспектора Коллинза, сидящего человека, усвоившего грубовато-успокаивающий тон; он словно заявлял своим видом, что он добродушен, но вздора не потерпит.

— Так, так, — проговорил он, глядя на троих свидетелей весело поблёскивающими

глазами, — странная выходит история.

Отец Браун уже вернулся к своим повседневным обязанностям, но Сайлас Вэндем соблаговолит отложить исполнение своих ответственных обязанностей нефтяного заправили ещё на час или около того, чтобы дать показания о своих потрясающих впечатлениях. Обязанности Феннера, как секретаря, фактически прекратились со смертью патрона, что же касается великолепного Арта Олбойна, то, поскольку ни в Нью-Йорке, ни в каком другом месте у него не было иных обязанностей, кроме как сеять религию Дыхания Жизни или Великого Духа, ничто не отвлекало его в настоящий момент от выполнения гражданского долга. Вот почему все трое выстроились в кабинете инспектора, готовые подтвердить показания друг друга.

— Пожалуй, для начала скажу вам сразу, — бодро заявил инспектор, — бесполезно морочить мне голову всякой мистической дребеденью. Я человек практический, я полицейский. Оставим эти штуки для священников и всяких там служителей храмов. Этот ваш патер взвинтил вас всех рассказами про страшную смерть и Страшный суд, но я намерен целиком исключить из этого дела и его, и его религию. Если Уинд вышел из комнаты, значит, кто-то его оттуда выпустил. И если Уинд висел на дереве, значит, кто-то его повесил.

— Совершенно верно, — сказал Феннер. — Но поскольку все мы свидетельствуем, что его никто не выпускал, то весь вопрос в том, как же его ухитрились повесить.

— А как ухитряется нос вырасти на лице? — спросил инспектор. — На лице у него вырос нос, а на шее оказалась петля. Таковы факты, а я, повторяю, человек практический и руководствуюсь фактами. Чудес на свете не бывает. Значит, это кто-то сделал.

Олбойн держался на заднем плане, и его крупная, широкая фигура составляла естественный фон для его более худощавых и подвижных спутников. Он стоял, склонив свою белую голову, с несколько отсутствующим видом, но при последних словах инспектора вскинул её, по-львиному тряхнул седой гривой и окончательно очнулся, хотя и сохранил ошеломлённое выражение. Он вдвинулся в середину группы, и у всех возникло смутное ощущение, будто он стал ещё более громоздким, чем раньше. Они слишком поспешно сочли его дураком или фигляром, однако он был не так уж глуп, утверждая, что в нём таится скрытая сила, как у западного ветра, который копит свою мощь, чтобы однажды смести всякую мелочь.

— Стало быть, мистер Коллинз, вы человек практический, — голос его прозвучал одновременно и мягко, и с нажимом. — Вы, кажется, два или три раза за свою короткую речь упомянули, что вы человек практический, так что ошибиться трудно. Что ж, весьма примечательный факт для того, кто займётся вашей биографией, описав вашу учёность и застольные беседы с приложением портрета в возрасте пяти лет, дагерротипа бабушки и видов родного города. Надеюсь, ваш биограф не забудет упомянуть, что у вас был нос, как у мопса, и на нём прыщ, и что вы были так толсты, что из-за живота ног не видели. Ну, раз вы такой ходячий практик, может, вы допрактикуетесь до того, что оживите Уоррена Уинда и выясните доподлинно у него самого, как человек практический проникает сквозь дощатую дверь? Но мне сдаётся, вы ошибаетесь. Вы не ходячий практик, а ходячее недоразумение, вот вы кто. Господь всемогущий решил нас посмешить, когда придумал вас.

С присущей ему театральностью он плавным шагом двинулся к двери, прежде чем ошарашенный инспектор обрёл дар речи, и никакие запоздалые возражения уже не могли отнять у Олбойна его торжества.

— По-моему, вы совершенно правы, — поддержал его Феннер. — Если таковы практические люди, мне подавайте священников.

Ещё одна попытка установить официальную версию события была сделана, когда власти полностью осознали, кто свидетели этой истории и каковы вытекающие из неё последствия. Она уже просочилась в прессу в самой что ни на есть сенсационной и даже бесстыдно идеалистической форме. Многочисленные интервью с Вэндемом по поводу его чудесного приключения, статьи об отце Брауне и его мистических предчувствиях вскоре

побудили тех, кто призван направлять общественное мнение, направить его в здоровое русло. В следующий раз нашли более острый и тактичный подход к неудобным свидетелям: при них как бы невзначай упомянули, что подобными аномальными происшествиями интересуется профессор Вэр и этот поразительный случай привлёк его внимание. Профессор Вэр, весьма выдающийся психолог, особое пристрастие питал к криминологии, и только спустя некоторое время они обнаружили, что он самым тесным образом связан с полицией.

Профессор оказался обходительным джентльменом, одетым в спокойные светло-серые тона, в артистическом галстуке и со светлой заостренной бородкой, — любой, не знакомый с таким типом учёного, принял бы его скорее за пейзажиста. Манеры его создавали впечатление не только обходительности, но и искренности.

— Да, да, понимаю, — улыбнулся он. — Могу догадаться, что вам пришлось испытать. Полиция не блещет умом при расследованиях психологического свойства, не правда ли? Разумеется, старина Коллинз заявил, что ему нужны только факты. Какое нелепое заблуждение! В делах подобного рода требуются не только факты, гораздо существеннее игра воображения.

— По-вашему, — угрожающе проговорил Вэндем, — всё, что мы считаем фактами, лишь игра воображения?

— Ничуть не бывало, — возразил профессор. — Я просто хочу сказать, что полиция глупо поступает, исключая в таких делах психологический момент. Конечно же, психологический элемент — главнейшее из главных, хотя у нас это только начинают понимать. Возьмите, к примеру, элемент, называемый индивидуальностью. Я, надо сказать, и раньше слышал об этом священнике, Брауне, — он один из самых замечательных людей нашего времени. Людей, подобных ему, окружает особая атмосфера, и никто не может сказать, насколько нервы и разум других людей подпадают под её временное влияние. Гипнотизм незаметно присутствует в каждодневном человеческом общении, люди оказываются загипнотизированными, когда гипноз достигает определённой степени. Не обязательно гипнотизировать с помоста, в публичном собрании, во фраке. Религия Брауна знает толк в психологическом воздействии атмосферы и умеет воздействовать на весь организм в целом, даже на орган обоняния, например. Она понимает значение всяких любопытных влияний, производимых музыкой на животных и людей, она может...

— Да бросьте вы! — огрызнулся Феннер. — Что же, по-вашему, он прошёл по коридору с церковным органом под мышкой?

— О нет, ему нет нужды прибегать к таким штукам! — засмеялся профессор. — Он умеет сконцентрировать сущность всех этих спиритуалистических звуков и даже запахов в немногих скупых жестах искусно, как в школе хороших манер. Без конца ставятся научные эксперименты, показывающие, что люди, чьи нервы перенапряжены, сплошь и рядом считают, будто дверь закрыта, когда она открыта, или наоборот. Люди расходятся во мнении насчёт количества дверей и окон перед их глазами. Они испытывают зрительные галлюцинации среди бела дня. С ними это случается даже без гипнотического влияния чужой индивидуальности, а тут мы имеем дело с очень сильной, обладающей даром убеждения индивидуальностью, задавшей целью закрепить всего один образ в вашем мозгу — образ буйного ирландского бунтовщика, посылающего в небо проклятье и холостой выстрел, эхо которого обрушилось громом небесным.

— Профессор! — воскликнул Феннер. — Я бы на смертном одре мог поклясться, что дверь не открывалась.

— Последние эксперименты, — невозмутимо продолжал профессор, — наводят на мысль о том, что наше сознание не является непрерывным, а представляет собой последовательную цепочку быстро сменяющих друг друга впечатлений, как в кинематографе. Возможно, кто-то или что-то проскальзывает, так сказать, между кадрами. Кто-то или что-то действует только на тот миг, когда наступает затемнение. Вероятно, условный язык заклинаний и все виды ловкости рук построены как раз на этих, так сказать,

вспышках слепоты между вспышками видения. Итак, этот священник и проповедник трансцендентных идей начинил вас трансцендентными образами, в частности, образом кельта, подобно титану обрушившего башню своим проклятием. Возможно, он сопровождал это каким-нибудь незаметным, но властным жестом, направив ваши глаза в сторону неизвестного убийцы, находящегося внизу. А может быть, в этот момент произошло ещё что-то или кто-то ещё прошёл мимо.

— Уилсон, слуга, прошёл по коридору, — пробурчал Олбойн, — и уселся ждать на скамье, но он вовсе не так уж нас и отвлёт.

— Как раз об этом судить трудно, — возразил Вэр, — может быть, дело в этом эпизоде, а вероятнее всего, вы следили за каким-нибудь жестом священника, рассказывающего свои небылицы. Как раз в одну из таких чёрных вспышек мистер Уоррен Уинд и выскользнул из комнаты и пошёл навстречу своей смерти. Таково наиболее правдоподобное объяснение. Вот вам иллюстрация последнего открытия: сознание не есть непрерывная линия, а скорее пунктирная.

— Да уж, пунктирная, — проворчал Феннер. — Я бы сказал, одни чёрные промежутки.

— Ведь вы не верите, в самом деле, — спросил Вэр, — будто ваш патрон был заперт в комнате, как в камере?

— Лучше уж верить в это, чем считать, что меня надо запереть в комнату, которая выстегана изнутри, — возразил Феннер. — Вот что мне не нравится в ваших предположениях, профессор. Я скорее поверю священнику, который верит в чудо, чем разуверюсь в праве любого человека на доверие к факту. Священник мне говорит, что человек может воззвать к богу, о котором мне ничего не известно, и тот отомстит за него по законам высшей справедливости, о которой мне тоже ничего не известно. Мне нечего возразить, кроме того, что я об этом ничего не знаю. Но, по крайней мере, если просьбу и выстрел ирландского бедняги услышали в горнем мире, этот горний мир вправе откликнуться столь странным, на наш взгляд, способом. Вы, однако, убеждаете меня не верить фактам нашего мира в том виде, в каком их воспринимают мои собственные пять органов чувств. По-вашему выходит, что целая процессия ирландцев с мушкетами могла промаршировать мимо, пока мы разговаривали, стоило им лишь ступить на слепые пятна нашего рассудка. Послушать вас, так простенькие чудеса святых, — скажем, материализация крокодилов или плащ, висящий на солнечном луче, — покажутся вполне здоровыми и естественными.

— Ах так! — довольно резко произнёс профессор Вэр. — Ну, раз вы твёрдо решили верить в вашего священника и в его сверхъестественного ирландца, я умолкаю. Вы, как видно, не имели возможности познакомиться с психологией.

— Именно, — сухо ответил Феннер, — зато я имел возможность познакомиться с психологами.

И, вежливо поклонившись, он вывел свою делегацию из комнаты. Он молчал, пока они не очутились на улице, но тут разразился бурной речью.

— Психопаты несчастные! — вне себя закричал он. — Соображают они или нет, куда покатится мир, если никто не будет верить собственным глазам? Хотел бы я прострелить его дурацкую башку, а потом объяснить, что сделал это в слепой момент. Может, чудо у отца Брауна и сверхъестественное, но он обещал, что оно произойдёт, и оно произошло. А все эти чёртовы маньяки увидят что-нибудь, а потом говорят, будто этого не было. Послушайте, мне кажется, мы просто обязаны довести до всеобщего сведения тот небольшой урок, который он нам преподал. Мы с вами нормальные, трезво мыслящие люди, мы никогда ни во что не верили. Мы не были тогда пьяны, не были объаты религиозным экстазом. Просто всё случилось так, как он предсказал.

— Совершенно с вами согласен, — отозвался миллионер. — Возможно, это начало великой эпохи в сфере религии. Как бы то ни было, отец Браун, принадлежащий именно к этой сфере, несомненно, оставит в ней большой след.

Несколько дней спустя отец Браун получил очень вежливую записку, подписанную

Сайласом Т. Вэндемом, где его приглашали в назначенный час явиться на место исчезновения, чтобы засвидетельствовать это непостижимое происшествие. Само происшествие, стоило ему только проникнуть в газеты, было повсюду подхвачено энтузиастами оккультизма. По дороге к «Полумесяцу» отец Браун видел броские объявления, гласившие «Самоубийца нашёлся» или «Проклятие убивает филантропа». Поднявшись на лифте, он нашёл всех в сборе: Вэндема, Олбойна и секретаря. И сразу заметил, что тон их по отношению к нему стал совсем иным, почтительным и далее благоговейным. Когда он вошёл, они стояли у стола Уинда, где лежал большой лист бумаги и письменные принадлежности. Они обернулись, приветствуя его.

— Отец Браун, — сказал выделенный для этой цели оратор, седовласый пришелец с Запада, несколько повзрослевший от сознания ответственности своей роли, — мы пригласили вас сюда прежде всего, чтобы принести вам наши извинения и нашу благодарность. Мы признаём, что именно вы первый угадали знак небес. Мы все показали себя твердокаменными скептиками, все без исключения, но теперь мы поняли, что человек должен пробить эту каменную скорлупу, чтобы постичь великие тайны, скрытые от нашего мира. Вы стоите за эти тайны, вы стоите за сверхобыденные объяснения явлений, и мы признаём ваше превосходство над нами. Кроме того, мы считаем, что этот документ будет неполным без вашей подписи. Мы передаём точные факты в Общество спиритических исследований, потому что сведения в газетах никак не назовёшь точными. Мы описали, как на улице было произнесено проклятие, как человек, находившийся в закупоренной со всех сторон комнате, в результате проклятия растворился в воздухе, а потом непостижимым образом материализовался в труп вздёрнувшего себя самоубийцы. Вот всё, что мы можем сказать об этой истории, но это мы знаем, это мы видели своими глазами. А так как вы первый поверили в чудо, то мы считаем, что вы первый и должны подписать этот документ.

— Право, я совсем не уверен, что мне хочется это делать, — в замешательстве запротестовал отец Браун.

— Вы хотите сказать — подписаться первым?

— Нет, я хочу сказать, вообще подписываться, — скромно ответил отец Браун. — Видите ли, человеку моей профессии не очень-то пристало заниматься мистификациями.

— Как, но ведь именно вы назвали чудом всё, что произошло! — воскликнул Олбойн, вытаращив глаза.

— Прошу прощения, — твёрдо сказал отец Браун, — тут, боюсь, какое-то недоразумение. Не думаю, чтобы я назвал это чудом. Я только сказал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может, кроме как чудом. Но это случилось. И тогда вы заговорили о чуде. Я от начала до конца ни слова не сказал ни про чудеса, ни про магию, ни про что иное в этом роде.

— А я думал, что вы верите в чудеса, — не выдержал секретарь.

— Да, — ответил отец Браун, — я верю в чудеса. Я верю и в тигров-людоедов, но они мне не мерещатся на каждом шагу. Если мне нужны чудеса, я знаю, где их искать.

— Не понимаю я этой вашей точки зрения! — горячо вступился Вэндем. — В ней есть узор, а в вас, мне кажется, её нет, хоть вы и священник. Да разве вы не видите, ведь этакое чудо перевернёт весь материализм вверх тормашками! Оно громогласно объявит всему миру, что потусторонние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один священник до вас.

Отец Браун чуть-чуть выпрямился, и вся его коротенькая, нелепая фигурка исполнилась бессознательного достоинства, к которому не примешивалось ни капли самодовольства.

— Я не совсем точно понимаю, что вы разумеете этой фразой, и, говоря откровенно, не уверен, что вы сами хорошо понимаете. Вы же не захотите, чтобы я послужил религии с помощью заведомой лжи? Вполне вероятно, ложью можно послужить религии, но я твёрдо уверен, что богу ложью не послужишь. И раз уж вы так настойчиво толкуете о том, во что я верю, неплохо было бы иметь хоть какое-нибудь представление об этом, правда?

— Я что-то не совсем понимаю вас, — обиженно заметил миллионер.

— Я так и думал, — просто ответил отец Браун. — Вы говорите, что преступление совершили потусторонние силы. Какие потусторонние силы? Не думаете ли вы, будто ангелы господни взяли и повесили его на дереве? Что же касается демонов, то... Нет, нет. Люди, сделавшие это, поступили безнравственно, но дальше собственной безнравственности они не пошли. Они недостаточно безнравственны, чтобы прибегать к помощи адских сил. Я кое-что знаю о сатанизме, вынужден знать. Я знаю, что это такое. Поклонник дьявола горд и хитёр; он любит властвовать и пугать невинных непонятным; он хочет, чтобы у детей мороз продирали по коже. Вот почему сатанизм — это тайны, и посвящения, и тайные общества, и всё такое прочее. Сатанист видит лишь себя самого, и каким бы великолепным и важным он ни казался, внутри него всегда прячется гадкая, безумная усмешка. — Священник внезапно передёрнулся, как будто прохваченный ледяным ветром. — Полно, они не имели к сатанизму ни малейшего отношения. Неужели вы думаете, что моему жалкому, сумасшедшему ирландцу, который бежал сломя голову по улице, а потом, увидев меня, со страху выболтал половину секрета и, боясь выболтать остальное, удрал прочь, — неужели вы думаете, что Сатана поверяет ему свои тайны? Я допускаю, что он участвовал в сговоре с ещё двумя людьми, вероятно, худшими, чем он. Но когда, пробегая переулком, он выстрелил из пистолета и прокричал проклятие, он просто не помнил себя от злости.

— Но что же значит вся эта чертовщина? — с досадой спросил Вэндем. — Игрушечный пистолет и бессмысленное проклятие не могут сделать того, что они сделали, если только тут нет чуда. Уинд от этого не исчез бы, как эльф. И не возник бы за четверть мили отсюда с верёвкой на шее.

— Именно, — резко сказал отец Браун, — но что они могут сделать?

— Опять я не понимаю вас, — мрачно проговорил миллионер.

— Я говорю, что они могут сделать? — повторил священник, впервые выходя из себя. — Вы твердите, что холостой выстрел не сделает того и не сделает другого, что, будь это все так, убийства не случилось бы или чуда не произошло бы. Вам, видно, не приходит в голову спросить себя: а что случилось бы? Как бы вы поступили, если бы у вас под окном маньяк выпалил ни с того ни с сего из пистолета?

Вэндем задумался.

— Должно быть, прежде всего я бы выглянул из окна, — ответил он.

— Да, — сказал отец Браун, — вы бы выглянули из окна. Вот вам и вся история. Печальная история, но теперь она закончилась. И к тому имеются смягчающие обстоятельства.

— Ну и что плохого в том, что он выглянул? — допытывался Олбойн. — Он ведь не выпал, а то бы труп оказался на мостовой.

— Нет, — тихо сказал Браун, — он не упал. Он вознёсся.

В голосе его послышался удар гонга, отзвук гласа судьбы, но он продолжал как ни в чём не бывало:

— Он вознёсся, но не на крыльях, это не были крылья ни ангелов, ни демонов. Он поднялся на конце веревки, той самой, на которой вы видели его в саду, петля захлестнула его шею в тот миг, когда он высунулся из окна. Вы помните Уилсона, слугу, человека исполинской силы, а ведь Уинд почти ничего не весил. Разве не послали Уилсона за брошюрой этажом выше, в комнату, полную тюков и верёвок? Видели вы Уилсона с того дня? Смею думать, что нет.

— Вы хотите сказать, — проговорил секретарь, — что Уилсон выдернул его из окна, как форель на удочке?

— Да, — ответил священник, — и спустил его через другое окно вниз, в парк, где третий сообщник вздёрнул его на дерево. Вспомните, что переулок всегда пуст, вспомните, что стена напротив глухая; вспомните, что все было кончено через пять минут после того, как ирландец подал сигнал выстрелом. В этом деле, как вы поняли, участвовали трое. Интересно, можете ли вы догадаться, кто они?

Троица во все глаза глядела на квадрат окна и на глухую белую стену за ним, и никто не отозвался.

— Кстати, — продолжал отец Браун, — не думайте, что я осуждаю вас за ваши сверхъестественные выводы. Причина, собственно, очень проста. Вы все клялись, что вы твердокаменные материалисты, а, в сущности говоря, вы все балансируете на грани веры, вы готовы поверить почти во что угодно. В наше время тысячи людей балансируют так, но находиться постоянно на этой острой грани очень неудобно. Вы не обретёте покоя, пока во что-нибудь не уверуете. Потому-то мистер Вэндем прошёлся по новым религиям частым гребнем, мистер Олбойн прибегает к Священному писанию, строя свою новую религию, а мистер Феннер ворчит на того самого бога, которого отрицает. Вот в этом-то и есть ваша двойственность. Верить в сверхъестественное естественно и, наоборот, неестественно признавать лишь естественные явления. Но хотя понадобился лишь лёгкий толчок, чтобы склонить вас к признанию сверхъестественного, на самом-то деле эти явления были самыми естественными. И не просто естественными, а прямо-таки неестественно естественными. Мне думается, проще истории не придумаешь.

Феннер засмеялся, потом нахмурился.

— Одного не понимаю, — сказал он. — Если это был Уилсон, то как получилось, что Уинд держал при себе такого человека? Как получилось, что его убил тот, кто был у него на глазах ежедневно, несколько лет подряд? Ведь он славился умением судить о людях.

Отец Браун стукнул о пол зонтиком со страстью, какую редко выказывал.

— Вот именно, — сказал он почти свирепо, — за это его и убили. Его убили именно за это. Его убили за то, что он судил о людях, вернее, судил людей.

Трое в недоумении уставились на него, а он продолжал, как будто их здесь не было.

— Что такое человек, чтобы ему судить других? — спросил он. — В один прекрасный день перед Уиндом предстали трое бродяг, и он быстро, не задумываясь, распорядился их судьбами, распахав их направо и налево, как будто ради них не стоило утруждать себя вежливостью, не стоило добиваться их доверия, незачем было предоставлять им самим выбирать себе друзей. И вот за двадцать лет не иссякло их негодование, родившееся в ту минуту, когда он оскорбил их, дерзнув разгадать с одного взгляда.

— Ага, — пробормотал секретарь, — понимаю... И ещё я понимаю, откуда вы понимаете... всякие разные вещи.

— Будь я проклят, если я что-нибудь понимаю! — пылко воскликнул неугомонный джентльмен с Запада. — Ваш Уилсон просто-напросто жестокий убийца, повесивший своего благодетеля. В моей морали, религия это или не религия, нет места кровожадному злодею.

— Да, он кровожадный злодей, — спокойно заметил Феннер. — Я его не защищаю, но, наверное, дело отца Брауна молиться за всех, даже за такого, как...

— Да, — подтвердил отец Браун, — моё дело молиться за всех, даже за такого, как Уоррен Уинд.

ЗЛОЙ РОК СЕМЬИ ДАРНУЭЙ

Два художника-пейзажиста стояли и смотрели на морской пейзаж, и на обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них, входящему в славу художнику из Лондона, пейзаж был вовсе не знаком и казался странным. Другой — местный художник, пользовавшийся, однако, не только местной известностью, — давно знал его и, может быть, именно поэтому тоже ему дивился.

Если говорить о колорите и очертаниях — а именно это занимало обоих художников, — то видели они полосу песка, а над ней полосу предзакатного неба, которое всё окрашивало в мрачные тона мертвенно-зелёный, свинцовый, коричневый и густо-жёлтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный — более таинственный, чем золото. Только в одном месте нарушались ровные линии: одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян

и камыш, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность — верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно чёрный остов, вырисовывалась на тёмном вечернем небе, а в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами — их контуры чуть намечались в сумеречном свете. Но одно окно было самым настоящим окном, и — удивительное дело — в нём даже светился огонек.

— Ну, скажите на милость, кто может жить в этих развалинах? — воскликнул лондонец, рослый, божьего вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой, несколько старившей его. В Челси он был известен всем и каждому как Гарри Пейн.

— Вы думаете, призраки? — отвечал его друг, Мартин Вуд. — Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков.

Как это ни парадоксально, в художнике из Лондона, непосредственном и простодушном, было что-то пасторальное, тогда как местный художник казался более проницательным и опытным и смотрел на своего друга со снисходительной улыбкой старшего, и правда, чёрный костюм и квадратное, тщательно выбритое, бесстрастное лицо придавали ему несомненную солидность.

— Разумеется, это только знамение времени, — продолжал он, — или, вернее, знамение конца старых времен и старинных родов. В этом доме живут последние отпрыски прославленного рода Дарнуэв, но в наши дни мало найдётся бедняков беднее, чем они. Они даже не могут привести в порядок верхний этаж: и ютятся где-то в нижних комнатах этой развалины, словно летучие мыши или совы. А ведь у них есть фамильные портреты, восходящие к временам войны Алой и Белой розы и первым образцам английской портретной живописи. Некоторые очень хороши. Я это знаю, потому что меня просили заняться реставрацией этих полотен. Есть там один портрет, из самых ранних, до того выразительный, что смотришь на него — и мороз продирает по коже.

— Меня мороз по коже продирает, как только я взгляну на дом, — промолвил Пейн.

— По правде сказать, и меня, — откликнулся его друг.

Наступившую тишину внезапно нарушил лёгкий шорох в тростнике, и оба невольно вздрогнули, когда тёмная тень быстро, как вспугнутая птица, скользнула, вдоль берега. Но мимо них всего-навсего быстро прошёл человек с чёрным чемоданчиком. У него было худое, землистого цвета лицо, а его проницательные глаза недоверчиво оглядели незнакомца из Лондона.

— Это наш доктор Барнет, — сказал Вуд со вздохом облегчения. — Добрый вечер. Вы в замок? Надеюсь, там никто не болен?

— В таком месте, как это, все всегда больны, — пробурчал доктор. — Иногда серьезней, чем думают. Здесь самый воздух заражён и зачумлён. Не завидую я молодому человеку из Австралии.

— А кто этот молодой человек из Австралии? — как-то рассеянно спросил Пейн.

— Кто? — фыркнул доктор. — Разве ваш друг ничего вам не говорил? А ведь, кстати сказать, он должен приехать именно сегодня. Настоящая мелодрама в старом стиле: наследник возвращается из далеких колоний в свой разрушенный фамильный замок! Всё выдержано, вплоть до давнишнего семейного соглашения, по которому он должен жениться на девушке, поджидающей его в башне, увитой плющом. Каков анахронизм, а? Впрочем, такое иногда случается в жизни. У него есть даже немного денег — единственный светлый момент во всей этой истории.

— А что думает о ней сама мисс Дарнуэй в своей башне, увитой плющом? — сухо спросил Мартин Вуд.

— То же, что и обо всём прочем, — отвечал доктор. — В этом заброшенном доме, вместилище старых преданий и предрассудков, вообще не думают, там только грезят и отдаются на волю судьбы. Должно быть, она принимает и семейный договор, и мужа из колоний как одно из проявлений рока, тяготеющего над семьей Дарнуэв. Право, я думаю, если он окажется одноглазым горбатым негром, да ещё убийцей вдобавок, она воспримет это

как ещё один штрих, завершающий мрачную картину.

— Слушая вас, мой лондонский друг составит себе не слишком весёлое представление о наших знакомых, — рассмеялся Вуд. — А я-то хотел представить его им. Художнику просто грех не посмотреть семейные портреты Дарнуэев. Но если австралийское вторжение в самом разгаре, нам, видимо, придётся отложить визит.

— Нет, нет! Ради бога, навестите их, — сказал доктор Барнет, и в голосе его прозвучали тёплые нотки. — Всё, что может хоть немного скрасить их безрадостную жизнь, облегчает мою задачу. Очень хорошо, что объявился этот кузен из колоний, но его одного, пожалуй, недостаточно, чтобы оживить здешнюю атмосферу. Чем больше посетителей, тем лучше. Пойдёмте, я сам вас представляю.

Подойдя ближе к дому, они увидели, что он стоит как бы на острове — со всех сторон его окружал глубокий ров, наполненный морской водой. По мосту они перешли на довольно широкую каменную площадку, исчерченную большими трещинами, сквозь которые пробивались ростки сорной травы. В сероватом свете сумерек каменный дворик казался голым и пустынным; Пейн никогда бы раньше не поверил, что крохотный кусочек пространства может с такой полнотой передать самый дух запустения. Площадка служила как бы огромным порогом к входной двери, расположенной под низкой, тюдоровской аркой; дверь, открытая настежь, чернела, словно вход в пещеру.

Доктор, не задерживаясь, повёл их прямо в дом, и тут ещё одно неприятно поразило Пейна. Он ожидал, что придётся подниматься по узкой винтовой лестнице в какую-нибудь полуразрушенную башню, но оказалось, что первые же ступеньки ведут не вверх, а куда-то вниз. Они миновали несколько коротких лестничных переходов, потом большие сумрачные комнаты; если бы не потемневшие портреты на стенах и не запylённые книжные полки, можно было бы подумать, что они идут по средневековым подземным темницам. То здесь, то там свеча в старинном подсвечнике вырывала из мрака случайную подробность истлевшей роскоши. Но Пейна угнетало не столько это мрачное искусственное освещение, сколько просачивающийся откуда-то тусклый отблеск дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно — низкое, овальное, в прихотливом стиле конца XVII века. Это окно обладало удивительной особенностью: через него виднелось не небо, а только его отражение — бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва, под тенью нависшего берега. Пейну пришла на ум легендарная хозяйка шалотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке этого замка мир являлся не только в зеркальном, но к тому же и в перевёрнутом изображении.

— Так и кажется, — тихо сказал Вуд, — что дом Дарнуэев рушится — и в переносном, и в прямом смысле слова. Что его медленно засасывает болото или сыпучий песок и со временем над ним зелёной крышей сомкнётся море.

Даже невозмутимый доктор Барнет слегка вздрогнул, когда к ним неслышно приблизился кто-то. Такая тишина царил в комнате, что в первую минуту она показалась им совершенно пустой. Между тем в ней было три человека — три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате, одетые в чёрное и похожие на тёмные тени. Когда первый из них подошёл ближе, на него упал тусклый свет из окна, и вошедшие различили бескровное старческое лицо, почти такое же белое, как окаймлявшие его седые волосы. Это был старый Уэйн, дворецкий, оставшийся в замке *in loco parentis* ²⁰ после смерти эксцентричного чудака последнего лорда Дарнуэя. Если бы у него совсем не было зубов, он мог бы сойти за вполне благообразного старца. Но у него сохранился один-единственный зуб, который показывался изо рта всякий раз, как он начинал говорить, и это придавало старику весьма зловещий вид. Встретив доктора и его друзей с изысканной вежливостью, он подвёл их к тому месту, где неподвижно сидели двое в чёрном. Один, на взгляд Пейна, как нельзя лучше соответствовал сумрачной старине замка, хотя бы уже потому, что это был католический священник, он

²⁰ Вместо отца (лат.).

словно вышел из тайника, в каких скрывались в старые, тёмные времена гонимые католики. Пейн живо представил себе, как он бормочет молитвы, перебирает чётки, служит мессу или делает ещё что-нибудь унылое в этом унылом доме. Сейчас он, видимо, старался преподать религиозные утешения своей молодой собеседнице, но вряд ли сумел её утешить или хотя бы ободрить. В остальном священник ничем не привлекал внимания: лицо у него было простое и маловыразительное. Зато лицо его собеседницы никак нельзя было назвать ни простым, ни маловыразительным. В тёмном обрамлении одежды, волос и кресла оно поражало ужасной бледностью и до ужаса живою красотой. Пейн долго не отрываясь смотрел на него; ещё много раз в жизни суждено было ему смотреть и не насмотреться на это лицо.

Вуд приветливо поздоровался со своими друзьями и после нескольких учтивых фраз перешёл к главной цели визита — осмотру фамильных портретов. Он попросил прощения за то, что позволил себе явиться в столь торжественный для семейства день. Впрочем, видно было, что их приходу рады. Поэтому он без дальнейших церемоний провёл Пейна через большую гостиную в библиотеку, где находился тот портрет, который он хотел показать ему не просто как картину, но и как своего рода загадку. Маленький священник засеменил вслед за ними, он, по-видимому, разбирался не только в старых молитвах, но и в старых картинах.

— Я горжусь, что откопал портрет, — сказал Вуд. — По-моему, это Гольбейн²¹. А если нет, значит, во времена Гольбейна жил другой художник, не менее талантливый.

Портрет, выполненный в жёсткой, но искренней и сильной манере того времени, изображал человека, одетого в чёрное платье с отделкой из меха и золота. У него было тяжёлое, полное, бледное лицо, а глаза острые и пронизательные.

— Какая досада, что искусство не остановилось, дойдя до этой ступени! — воскликнул Вуд. — Зачем ему было развиваться дальше? Разве вы не видите, что этот портрет реалистичен как раз в меру? Именно поэтому он и кажется таким живым. Посмотрите на лицо — как оно выделяется на тёмном, несколько неуверенном фоне! А глаза! Глаза, пожалуй, ещё живее, чем лицо. Клянусь богом, они даже слишком живые. Умные, пронзительные — словно смотрят на вас сквозь прорези большой бледной маски.

— Однако скованность чувствуется в фигуре, — сказал Пейн. — На исходе средневековья художники, по крайней мере на севере, ещё не вполне справлялись с анатомией. Обратите внимание на ногу — пропорции тут явно нарушены.

— Я в этом не уверен, — спокойно возразил Вуд. — Мастера, работавшие в те времена, когда реализм только начинался и им ещё не стали злоупотреблять, писали гораздо реалистичней, чем мы думаем. Они передавали точно те детали, которые мы теперь воспринимаем как условность. Вы, может быть, скажете, что у этого типа брови и глаза посажены не совсем симметрично? Но если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно немного выше другой и что он хром на одну ногу. Я убежден, что эта нога намеренно сделана кривой.

— Да это просто дьявол какой-то! — вырвалось вдруг у Пейна. — Не при вас будь сказано, ваше преподобие.

— Ничего, ничего, я верю в дьявола, — ответил священник и непонятно улыбнулся. — Любопытно, кстати, что, по некоторым преданиям, чёрт тоже хромым.

— Помилуйте, — запротестовал Пейн, — не хотите же вы сказать, что это сам чёрт? Да кто он наконец, чёрт его побери?

— Лорд Дарнуэй, живший во времена короля Генриха Седьмого и короля Генриха Восьмого, — отвечал его друг. — Между прочим, о нём тоже сохранились любопытные предания. С одним из них, очевидно, связана надпись на раме. Подробнее об этом можно узнать из заметок, оставленных кем-то в старинной книге, которую я тут случайно нашёл. Очень интересная история.

Пейн приблизился к портрету и склонил голову набок, чтобы удобнее было прочесть

²¹ Гольбейн Ганс Младший (1497 – 1543) — немецкий живописец и график.

старинную надпись по краям рамы. Это было, в сущности, четверостишие, и, если отбросить устаревшее написание, оно выглядело примерно так.

В седьмом наследнике возникну вновь
И в семь часов исчезну без следа.
Не сдержит гнева моего любовь,
Хозяйке сердца моего — беда.

— От этих стихов прямо жуть берёт, — сказал Пейн, — может быть, потому что я их не понимаю.

— Вы ещё не то скажете, когда поймёте, — тихо промолвил Вуд. — В тех заметках, которые я нашёл, подробно рассказывается, как этот красавец умышленно убил себя таким образом, что его жену казнили за убийство. Следующая запись, сделанная много позднее, говорит о другой трагедии, происшедшей через семь поколений. При короле Георге ещё один Дарнуэй покончил с собой и оставил для жены яд в бокале с вином. Оба самоубийства произошли вечером в семь часов. Отсюда, очевидно, следует заключить, что этот тип действительно возрождается в каждом седьмом поколении и, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решилась выйти за него замуж.

— Н-да, пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя очередной седьмой наследник, — заметил Пейн.

Голос Вуда сник до шёпота:

— Тот, что сегодня приезжает, как раз седьмой.

Гарри Пейн сделал резкое движение, словно стремясь сбросить с плеч какую-то тяжесть.

— О чём мы говорим? Что за бред? — воскликнул он. — Мы образованные люди и живём, насколько мне известно, в просвещённом веке! До того как я попал сюда и надышался этим проклятым, промозглым воздухом, я никогда бы не поверил, что смогу всерьёз разговаривать о таких вещах.

— Вы правы, — сказал Вуд. — Когда поживёшь в этом подземном замке, многое начинаешь видеть в ином свете! Мне пришлось немало повозиться с картиной, пока я её реставрировал, и, знаете, она стала как-то странно действовать на меня. Лицо на холсте иногда кажется мне более живым, чем мертвенные лица здешних обитателей. Оно, словно талисман или магнит, повелевает стихиями, предопределяет события и судьбы. Вы, конечно, скажете игра воображения?

— Что за шум? — вдруг вскочил Пейн.

Они прислушались, но не услышали ничего, кроме отдалённого глухого рокота моря, затем им стало казаться, что сквозь этот рокот звучит голос, сначала приглушённый, потом все более явственный. Через минуту они были уже уверены: кто-то кричал около замка.

Пейн нагнулся и выглянул в низкое овальное окно, то самое, из которого не было видно ничего, кроме отражённого в воде неба и полосы берега. Но теперь перевернутое изображение как-то изменилось. От нависшей тени берега шли ещё две тёмные тени — отражение ног человека, стоявшего высоко на берегу. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледном, мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно — она словно уходила в облака, и голос от этого казался ещё страшнее: человек кричал, а что он кричал, они не могли ни расслышать как следует, ни понять. Пейн, изменившись в лице, пристально всмотрелся в сумерки и каким-то не своим голосом сказал.

— Как странно он стоит!

— Нет, нет! — поспешно зашептал Вуд. — В зеркале всё выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде, а вам кажется.

— Что кажется? — резко спросил священник.

— Что он хром на левую ногу

Пейн с самого начала воспринял овальное окно как некое волшебное зеркало, и теперь ему почудилось, что он видит в нём таинственные образы судьбы. Помимо человека, в воде обрисовывалось ещё что-то непонятное, три тонкие длинные линии на бледном фоне неба, словно рядом с незнакомцем стояло трёхное чудище — гигантский паук или птица. Затем этот образ сменился другим, более реальным, Пейн подумал о треножнике языческого жертвенника. Но тут странный предмет исчез, а человеческие ноги ушли из поля зрения.

Пейн обернулся и увидел бледное лицо дворецкого, рот его был полуоткрыт, и из него торчал единственный зуб.

— Это он. Пароход из Австралии прибыл сегодня утром.

Возвращаясь из библиотеки в большую гостиную, они слышали шаги незнакомца, который шумно спускался по лестнице; он тащил за собой какие-то вещи, составлявшие его небольшой багаж. Увидев их, Пейн облегчённо рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотоаппарата, да и сам человек выглядел вполне реально и по-земному. Он был одет в свободный тёмный костюм и серую фланелевую рубашку, а его тяжёлые ботинки довольно непочтительно нарушали тишину старинных покоев. Когда он шёл к ним через большой зал, они заметили, что он прихрамывает. Но не это было главным. Пейн и все присутствующие не отрываясь смотрели на его лицо.

Он, должно быть, почувствовал что-то странное и неловкое в том, как его встретили, но явно не понимал, в чём дело. Девушка, помолвленная с ним, была красива и, видимо, ему понравилась, но в то же время как будто испугала его. Дворецкий приветствовал наследника со старинной церемонностью, но при этом смотрел на него точно на привидение. Взгляд священника был непроницаем и уже поэтому действовал угнетающе. Мысли Пейна неожиданно получили новое направление: во всём происходящем ему почудилась какая-то ирония — зловещая ирония в духе древнегреческих трагедий. Раньше незнакомец представлялся ему дьяволом, но действительность оказалась, пожалуй, ещё страшнее: он был воплощением слепого рока. Казалось, он шёл к преступлению с чудовищным неведением Эдипа. К своему фамильному замку он приблизился в полной безмятежности и остановился, чтобы сфотографировать его, но даже фотоаппарат приобрёл вдруг сходство с треножником трагической пифии.

Однако немного позже, прощаясь, Пейн с удивлением заметил, что австралиец не так уж слеп к окружающей обстановке. Он сказал, понизив голос:

— Не уходите, или хотя бы поскорее приходите снова. Вы похожи на живого человека. От этого дома у меня кровь стынет в жилах.

Когда Пейн выбрался из подземных комнат и вдохнул полной грудью ночной воздух и свежий запах моря, ему представилось, что он оставил позади царство сновидений, где события нагромождаются одно на другое тревожно и неправдоподобно. Приезд странного родственника из Австралии казался слишком неожиданным. В его лице, как в зеркале, повторялось лицо, написанное на портрете, и совпадение пугало Пейна, словно он встретился с двухговым чудовищем. Впрочем, не всё в этом доме было кошмаром, и не лицо австралийца глубже всего врезалось ему в память.

— Так вы говорите, — сказал Пейн доктору, когда они вместе шли по песчаному берегу вдоль темнеющего моря, — вы говорите, что есть семейное соглашение, в силу которого молодой человек из Австралии помолвлен с мисс Дарнуэй? Это прямо роман какой-то!

— Исторический роман, — сказал доктор Барнет. — Дарнуэй погрузились в сон несколько столетий тому назад, когда существовали обычаи, о которых мы теперь читаем только в книгах. У них в роду, кажется, и впрямь есть старая семейная традиция соединять узами брака — дабы не дробить родовое имущество — двоюродных или троюродных братьев и сестёр, если они подходят друг другу по возрасту. Очень глупая традиция, кстати сказать. Частые браки внутри одной семьи по закону наследственности неизбежно приводят к вырождению. Может, поэтому род Дарнуэев и пришёл в упадок.

— Я бы не сказал, что слово «вырождение» уместно по отношению ко всем членам

этой семьи, — сухо ответил Пейн.

— Да, пожалуй, — согласился доктор. — Наследник не похож на выроodka, хоть он и хромым.

— Наследник! — воскликнул Пейн, вдруг рассердившись без всякой видимой причины. — Ну, знаете! Если, по-вашему, наследница похожа на выроodka, то у вас у самого выродился вкус.

Лицо доктора помрачнело.

— Я полагаю, что на этот счёт мне известно несколько больше, чем вам, — резко ответил он.

Они расстались, не проронив больше ни слова: каждый чувствовал, что был бессмысленно груб и потому сам напоролся на бессмысленную грубость. Пейн был предоставлен теперь самому себе и своим мыслям, ибо его друг Вуд задержался в замке из-за каких-то дел, связанных с картинами.

Пейн широко воспользовался приглашением немного перепуганного кузена из колоний. За последующие две-три недели он гораздо ближе познакомился с тёмными покоями замка Дарнуэв, впрочем, нужно сказать, что его старания развлечь обитателей замка были направлены не только на австралийского кузена. Печальная мисс Дарнуэй не меньше нуждалась в развлечении, и он готов был на все лады служить ей. Между тем совесть Пейна была не совсем спокойна, да и неопределённость положения несколько смущала его. Проходили недели, а из поведения нового Дарнуэя так и нельзя было понять, считает он себя связанным старым соглашением или нет. Он задумчиво бродил по тёмным галереям и часами простаивал перед зловещей картиной. Старые тени дома-тюрьмы уже начали сгущаться над ним, и от его австралийской жизнерадостности не осталось и следа. А Пейну всё не удавалось выведать то, что было для него самым важным. Однажды он попытался открыть сердце Мартину Вуду, возившемуся, по своему обыкновению, с картинами, но разговор не принёс ничего нового и обнадеживающего.

— По-моему, вам нечего соваться, — отрезал Вуд, — они ведь помолвлены.

— Я и не стану соваться, если они помолвлены. Но существует ли помолвка? С мисс Дарнуэй я об этом, конечно, не говорил, но я часто вижу её, и мне ясно, что она не считает себя помолвленной, хотя, может, и допускает мысль, что какой-то уговор существовал. А кузен, тот вообще молчит и делает вид, будто ничего нет и не было. Такая неопределённость жестоко отзывается на всех.

— И в первую очередь на вас, — резко сказал Вуд. — Но если хотите знать, что я думаю об этом, извольте, я скажу: по-моему, он просто боится.

— Боится, что ему откажут? — спросил Пейн.

— Нет, что ответят согласием, — ответил Вуд. — Да не смотрите на меня такими страшными глазами! Я вовсе не хочу сказать, что он боится мисс Дарнуэй, — он боится картины.

— Картины? — переспросил Пейн.

— Проклятия, связанного с картиной. Разве вы не помните надпись, где говорится о роке Дарнуэв?

— Помню, помню. Но согласитесь, даже рок Дарнуэв нельзя толковать двояко. Сначала вы говорили, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что существует соглашение, а теперь вы говорите, что соглашение не может быть выполнено потому, что существует проклятие. Но если проклятие уничтожает соглашение, то почему она связана им? Если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своём выборе — и дело с концом. С какой стати я должен считаться с их семейными обычаями больше, чем они сами? Ваша позиция кажется мне шаткой.

— Что и говорить, тут сам чёрт ногу сломит, — раздражённо сказал Вуд и снова застучал молотком по подрамнику.

И вот однажды утром новый наследник нарушил своё долгое и непостижимое молчание. Сделал он это несколько неожиданно, со свойственной ему прямолинейностью, но

явно из самых честных побуждений. Он открыто попросил совета, и не у кого-нибудь одного, как Пейн, а сразу у всех. Он обратился ко всему обществу, словно депутат парламента к избирателям, «раскрыл карты», как сказал он сам. К счастью, молодая хозяйка замка при этом не присутствовала, что очень порадовало Пейна. Впрочем, надо сказать, австралиец действовал чистосердечно, ему казалось вполне естественным обратиться за помощью. Он собрал нечто вроде семейного совета и положил, вернее, швырнул свои карты на стол с отчаянием человека, который дни и ночи напролёт безуспешно бьётся над неразрешимой задачей. С тех пор как он приехал сюда, прошло немного времени, но тени замка, низкие окна и тёмные галереи странным образом изменили его — увеличили сходство, мысль о котором не покидала всех.

Пятеро мужчин, включая доктора, сидели вокруг стола, и Пейн рассеянно подумал, что единственное яркое пятно в комнате — его собственный полосатый пиджак и рыжие волосы, ибо священник и старый слуга были в чёрном, а Вуд и Дарнуэй всегда носили тёмно-серые, почти чёрные костюмы. Должно быть, именно этот контраст и имел в виду молодой Дарнуэй, назвав Пейна единственным в доме живым человеком. Но тут Дарнуэй круто повернулся в кресле, заговорил, и художник сразу понял, что речь идёт о самом страшном и важном на свете.

— Есть ли во всем этом хоть крупица истины? — говорил австралиец. — Вот вопрос, который я всё время задаю себе, задаю до тех пор, пока мысли не начинают мешаться у меня в голове. Никогда я не предполагал, что смогу думать о подобных вещах, но я думаю о портрете, и о надписи, и о совпадении, или... называйте это как хотите — и весь холодею. Можно ли в это верить? Существует ли рок Дарнуэев, или всё это дикая, нелепая случайность? Имею я право жениться, или я этим навлеку на себя и ещё на одного человека что-то тёмное, страшное и неведомое?

Его блуждающий взгляд скользнул по лицам и остановился на спокойном лице священника, казалось, он теперь обращался только к нему. Трезвого и здравого Пейна возмутило, что человек, восставший против суеверий, просит помощи у верного служителя суеверия. Художник сидел рядом с Дарнуэем и вмешался, прежде чем священник успел ответить.

— Совпадения эти, правда, удивительны, — сказал Пейн с нарочитой небрежностью. — Но ведь все мы... — Он вдруг остановился, словно громом поражённый.

Услышав слова художника, Дарнуэй резко обернулся, левая бровь у него вздёрнулась, и на мгновение Пейн увидел перед собой лицо портрета, зловещее сходство было так поразительно, что все невольно содрогнулись. У старого слуги вырвался глухой стон.

— Нет, это безнадежно, — хрипло сказал он. — Мы столкнулись с чем-то слишком страшным.

— Да, — тихо согласился священник. — Мы действительно столкнулись с чем-то страшным, с самым страшным из всего, что я знаю, — с глупостью.

— Как вы сказали? — спросил Дарнуэй, не сводя с него глаз.

— Я сказал — с глупостью, — повторил священник. — До сих пор я не вмешивался, потому что это не моё дело. Я тут человек посторонний, временно заменяю священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению мисс Дарнуэй. Но если вы хотите знать моё мнение, что ж, я вам охотно отвечу. Разумеется, никакого рока Дарнуэев нет и ничто не мешает вам жениться по собственному выбору. Ни одному человеку не может быть предопределено совершить даже самый ничтожный грех, не говоря уже о таком страшном, как убийство или самоубийство. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй. Во всяком случае, не больше, чем меня, потому что моё — Браун. Рок Браунов, — добавил он не без иронии, — или ещё лучше «Зловещий рок Браунов».

— И это вы, — изумлённо воскликнул австралиец, — вы советуете мне так думать об этом?

— Я советую вам думать о чём-нибудь другом, — весело отвечал священник. —

Почему вы забросили молодое искусство фотографии? Куда девался ваш аппарат? Здесь внизу, конечно, слишком темно, но на верхнем этаже, под широкими сводами, можно устроить отличную фотостудию. Несколько рабочих в мгновение ока соорудят там стеклянную крышу.

— Помилуйте, — запротестовал Вуд, — уж от вас-то я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам! Они едва ли не лучшее из того, что ваша религия дала миру. Казалось бы, вы должны с почтением относиться к зодчеству. И я никак не пойму, откуда у вас такое пристрастие к фотографии?

— У меня пристрастие к дневному свету, — ответил отец Браун. — В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сровнять с землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покой даже одной человеческой душе, то вы знаете о моей религии ещё меньше, чем вам кажется.

Австралиец вскочил на ноги, словно почувствовал неожиданный прилив сил.

— Вот это я понимаю! Вот это настоящие слова! — воскликнул он. — Хотя, признаться, я никак не ожидал услышать их от вас. Знаете что, дорогой отец, я вот возьму и сделаю одну штуку — докажу, что я ещё не совсем потерял присутствие духа.

Старый слуга не сводил с него испуганного, настороженного взгляда, словно в бунтарском порыве молодого человека таилась гибель.

— Боже, — пробормотал он, — что вы хотите сделать?

— Сфотографировать портрет, — отвечал Дарнуэй.

Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком и, затмив солнце здравомыслия, к которому тщетно зывал священник, вновь погрузили дом в чёрную тьму рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии, пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в неё прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенёсся из тёмного прошлого в блистательное будущее.

По предложению Вуда, который хорошо знал замок и уже отказался от своих эстетических претензий, небольшую комнату, уцелевшую среди развалин второго этажа, превратили в тёмную лабораторию. Дарнуэй, удалившись от дневного света, подолгу возился здесь при свете красной лампы. Вуд однажды сказал, смеясь, что красный свет примирил его с вандализмом — теперь эта комната с кровавыми бликами на стенах стала не менее романтична, чем пещера алхимика.

В день, избранный Дарнуэем для фотографирования таинственного портрета, он встал с восходом солнца и по единственной винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенёс портрет из библиотеки в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Он сказал, что хочет дать снимок с портрета одному известному антиквару, который писал когда-то о старинных вещах в замке Дарнуэй. Но всем было ясно, что антиквар — только предлог, за которым скрывается нечто более серьёзное. Это был своего рода духовный поединок — если не между Дарнуэем и бесовской картиной, то, во всяком случае, между Дарнуэем и его сомнениями. Он хотел столкнуть трезвую реальность фотографии с тёмной мистикой портрета и посмотреть, не рассеет ли солнечный свет нового искусства ночные тени старого.

Может быть, именно потому Дарнуэй и предпочёл делать всё сам, без посторонней помощи, хотя из-за этого ему пришлось потратить гораздо больше времени. Во всяком случае, те, кто заходил к нему в комнату, встречали не очень приветливый приём: он сутился около своего аппарата и ни на кого не обращал внимания. Пейн принёс ему обед, поскольку Дарнуэй отказался сойти вниз; некоторое время спустя слуга поднялся туда и нашёл тарелки пустыми, но когда он их уносил, то вместо благодарности слышал лишь невнятное мычание. Пейн поднялся посмотреть, как идут дела, но вскоре ушёл, так как фотограф был явно не расположен к беседе. Заглянул наверх и отец Браун — он хотел вручить Дарнуэю письмо от антиквара, которому предполагалось послать снимок с портрета, — но положил письмо в пустую ванночку для проявления пластинок, а сам

спустился вниз, своими же мыслями о большой стеклянной комнате, полной дневного света и страстного упорства, — о мире, который, в известном смысле, был создан им самим, — он не поделился ни с кем. Впрочем, вскоре ему пришлось вспомнить, что он последним сошёл по единственной в доме лестнице, соединяющей два этажа, оставив наверху пустую комнату и одинокого человека. Гости и домочадцы собрались в примыкавшей к библиотеке гостиной, у массивных часов чёрного дерева, похожих на гигантский гроб.

— Ну как там Дарнуэй? — спросил Пейн немного погодя. — Вы ведь недавно были у него?

Священник провёл рукой по лбу.

— Со мной творится что-то неладное, — с грустной улыбкой сказал он. — А может быть, меня ослепил яркий свет и я не всё видел как следует. Но, честное слово, в фигуре у аппарата мне на мгновение почудилось что-то очень странное.

— Так ведь это его хромая нога, — поспешно ответил Барнет. — Совершенно ясно.

— Что ясно? — спросил Пейн резко, но в то же время понизив голос. — Мне лично далеко не всё ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка?

— Как раз об этом-то и говорится в книге, которую я нашёл в семейных архивах, — сказал Вуд. — Подождите, я вам сейчас её принесу. — И он скрылся в библиотеке.

— Мистер Пейн, думается мне, неспроста задал этот вопрос, — спокойно заметил отец Браун.

— Сейчас я вам всё выложу, — проговорил Пейн ещё более тихим голосом. — В конце концов ведь нет ничего на свете, чему нельзя было бы подыскать вполне разумное объяснение, любой человек может загримироваться под портрет. А что мы знаем об этом Дарнуэ! Ведёт он себя как-то необычно...

Все изумлённо посмотрели на него, и только священник, казалось, был невозмутим.

— Дело в том, что портрет никогда не фотографировали, — сказал он. — Вот Дарнуэй и хочет это сделать. Я не вижу тут ничего необычного.

— Всё объясняется очень просто, — сказал Вуд с улыбкой, он только что вернулся и держал в руках книгу.

Но не успел художник договорить, как в больших чёрных часах что-то щелкнуло — один за другим последовало семь мерных ударов. Одновременно с последним наверху раздался грохот, потрясший дом, точно раскат грома. Отец Браун бросился к винтовой лестнице и взбежал на первые две ступеньки, прежде чем стих этот шум.

— Боже мой! — невольно вырвалось у Пейна. — Он там совсем один!

— Да, мы найдём его там одного, — не оборачиваясь сказал отец Браун и скрылся наверху.

Все остальные, опомнившись после первого потрясения, сломя голову устремились вверх по лестнице и действительно нашли Дарнуэя одного. Он был распростёрт на полу среди обломков рухнувшего аппарата; три длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны, а чёрная искривлённая нога самого Дарнуэя беспомощно вытянулась на полу. На мгновение эта тёмная грудa показалась им чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться: Дарнуэй был мёртв. Только портрет стоял невредимый на своём месте, и глаза его светились зловещей улыбкой.

Час спустя отец Браун, пытавшийся водворить порядок в доме, наткнулся на слугу, что-то бормотавшего себе под нос так же монотонно, как отстукивали время часы, пробившие страшный час. Слов священник не расслышал, но он и так знал, что повторяет старик.

В седьмом наследнике возникну вновь
И в семь часов исчезну без следа.

Он хотел было сказать что-нибудь утешительное, но старый слуга вдруг опамятовался, лицо его исказилось гневом, бормотание перешло в крик.

— Это всё вы! — закричал он. — Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока Дарнуэев!

— Я скажу то же, что и раньше, — мягко ответил отец Браун. — И, помолчав, добавил: — Надеюсь, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэя и проследите за тем, чтобы фотография всё-таки была отправлена по назначению.

— Фотография! — воскликнул доктор. — А что от неё проку? Да, кстати, как ни странно, а никакой фотографии нет. По-видимому, он так и не сделал её, хотя целый день провозился с аппаратом.

Отец Браун резко обернулся.

— Тогда сделайте её сами, — сказал он. — Бедный Дарнуэй был абсолютно прав: портрет необходимо сфотографировать. Это крайне важно.

Когда доктор, священник и оба художника покинули дом и мрачной процессией медленно шли через коричнево-жёлтые пески, поначалу все хранили молчание, словно оглушённые ударом. И правда, было что-то подобное грому среди ясного неба в том, что странное пророчество свершилось именно в тот момент, когда о нём меньше всего думали, когда доктор и священник были преисполнены здравомыслия, а комната фотографа наполнена дневным светом. Они могли сколько угодно здраво мыслить и рассуждать, но седьмой наследник вернулся средь бела дня и в семь часов средь бела дня погиб.

— Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании рока Дарнуэев, — сказал Мартин Вуд.

— Я знаю одного человека, который будет, — резко ответил доктор. — С какой стати я должен поддаваться предрассудкам, если кому-то пришлось в голову покончить с собой?

— Так вы считаете, что Дарнуэй совершил самоубийство? — спросил священник.

— Я уверен в этом, — ответил доктор.

— Возможно, что и так.

— Он был один наверху, а рядом в тёмной комнате имелся целый набор ядов. Вдобавок это свойственно Дарнуэям.

— Значит, вы не верите в семейное проклятие?

— Я верю только в одно семейное проклятие, — сказал доктор, — в их наследственность. Я вам уже говорил. Они все какие-то сумасшедшие. Иначе и быть не может: когда у вас от бесконечных браков внутри одного семейства кровь застаивается в жилах, как вода в болоте, вы неизбежно обречены на вырождение, нравится вам это или нет. Законы наследственности неумолимы, научно доказанные истины не могут быть опровергнуты. Рассудок Дарнуэев распадается, как распадается их родовой замок, изъеденный морем и солёным воздухом. Самоубийство... Разумеется, он покончил с собой. Более того: все в этом роду рано или поздно кончат так же. И это ещё лучшее из всего, что они могут сделать.

Пока доктор рассуждал, в памяти Пейна с удивительной ясностью возникло лицо дочери Дарнуэев, — выступившая из непроницаемой тьмы маска, бледная, трагическая, но исполненная слепящей, почти бессмертной красоты. Пейн открыл рот, хотел что-то сказать, но почувствовал, что не может произнести ни слова.

— Понятно, — сказал отец Браун доктору. — Так вы, значит, всё-таки верите в предопределение?

— То есть как это «верите в предопределение?» Я верю только в то, что самоубийство в данном случае было неизбежно — оно обусловлено научными факторами.

— Признаться, я не вижу, чем ваше научное суеверие лучше суеверия мистического, — отвечал священник. — Оба они превращают человека в паралитика, не способного пошевелить пальцем, чтобы позаботиться о своей жизни и душе. Надпись гласила, что Дарнуэй обречены на гибель, а ваш научный гороскоп утверждает, что они обречены на самоубийство. И в том и в другом случае они оказываются рабами.

— Помнится, вы говорили, что придерживаетесь рационального взгляда на эти вещи, — сказал доктор Барнет. — Разве вы не верите в наследственность?

— Я говорил, что верю в дневной свет, — ответил священник громко и отчётливо. — И я не намерен выбирать между двумя подземными ходами суеверия — оба они ведут во мрак. Вот вам доказательство: вы все даже не догадываетесь о том, что действительно произошло в доме.

— Вы имеете в виду самоубийство? — спросил Пейн.

— Я имею в виду убийство, — ответил отец Браун. И хотя он сказал это только чуть-чуть громче, голос его, казалось, прокатился по всему берегу. — Да, это было убийство. Но убийство, совершённое человеческой волей, которую господь бог сделал свободной.

Что на это ответили другие, Пейн так никогда и не узнал, потому что слово, произнесённое священником, очень странно подействовало на него: оно его взбудоражило, точно призывный звук фанфар, и пригвоздило к месту. Спутники Пейна ушли далеко вперёд, а он всё стоял неподвижно — один среди песчаной равнины; кровь забурилась в его жилах, и волосы, что называется, шевелились на голове. В то же время его охватило необъяснимое счастье. Психологический процесс, слишком сложный, чтобы в нём разобраться, привёл его к решению, которое ещё не поддавалось анализу. Но оно несло с собой освобождение. Постояв немного, он повернулся и медленно пошёл обратно, через пески, к дому Дарнуэв.

Решительными шагами, от которых задрожал старый мост, он пересёк ров, спустился по лестнице, прошёл через всю анфиладу тёмных покоев и наконец достиг той комнаты, где Аделаида Дарнуэй сидела в ореоле бледного света, падавшего из овального окна, словно святая, всеми забытая и покинутая в долине смерти. Она подняла на него глаза, и удивление, засветившееся на её лице, сделало это лицо ещё более удивительным.

— Что случилось? — спросила она. — Почему вы вернулись?

— Я вернулся за спящей красавицей, — ответил он, и в голосе его послышался смех. — Этот старый замок погрузился в сон много лет тому назад, как говорит доктор, но вам не следует притворяться старой. Пойдёмте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, страшное слово, которое разрушит злые чары.

Она ничего не поняла из того, что он сказал. Однако встала, последовала за ним через длинный зал, поднялась по лестнице и вышла из дома под вечернее небо. Заброшенный, опустелый парк спускался к морю; старый фонтан с фигурой тритона ещё стоял на своём месте, но весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн много раз видел этот печальный силуэт на фоне вечернего неба, и он всегда казался ему воплощением погибшего счастья. Пройдёт ещё немного времени, думал Пейн, и бассейн снова наполнится водой, но это будет мутно-зелёная горькая вода моря, цветы захлебнутся в ней и погибнут среди густых цепких водорослей. И дочь Дарнуэв обручится — обручится со смертью и роком, глухим и безжалостным, как море. Однако теперь Пейн смело положил большую руку на бронзового тритона и потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мёртвого парка.

— О чём вы? — спокойно спросила она. — Что это за слово, которое освободит нас?

— Это слово — «убийство», — отвечал он, — и оно несёт с собой освобождение, чистое, как весенние цветы. Нет, нет, не подумайте, что я убил кого-то. Но после страшных снов, мучивших вас, весть, что кто-то может быть убит, уже сама по себе — освобождение. Не понимаете? Весь этот кошмар, в котором вы жили, исходил от вас самих. Рок Дарнуэв был в самих Дарнуэях; он распускался, как страшный ядовитый цветок. Ничто не могло избавить от него, даже счастливая случайность. Он был неотвратим, будь то старые предания Уэйна или новомодные теории Барнета... Но человек, который погиб сегодня, не был жертвой мистического проклятия или наследственного безумия. Его убили. Конечно, это — большое несчастье, *requiescat in pace*²², но это и счастье, потому что пришло оно извне, как луч дневного света.

Вдруг она улыбнулась.

²² Мир праху его (лат.).

— Кажется, я поняла, хотя говорите вы как безумец. Кто же убил его?

— Я не знаю, — ответил он спокойно. — Но отец Браун знает. И он сказал, что убийство совершила воля, свободная, как этот морской ветер.

— Отец Браун — удивительный человек, — промолвила она не сразу. — Только он один как-то скрашивал мою жизнь, до тех пор пока...

— Пока что? — переспросил Пейн, порывисто наклонился к ней и так толкнул бронзовое чудовище, что оно качнулось на своём пьедестале.

— Пока не появились вы, — сказала она и снова улыбнулась.

Так пробудился старый замок. В нашем рассказе мы не собираемся описывать все стадии этого пробуждения, хотя многое произошло ещё до того, как на берег спустилась ночь. Когда Гарри Пейн наконец снова отправился домой, он был полон такого счастья, какое только возможно в этом брэнном мире. Он шёл через тёмные пески — те самые, по которым часто бродил в столь тяжёлой тоске, но теперь в нём все ликовало, как море в час полного прилива. Он представлял себе, что замок снова утопает в цветах, бронзовый тритон сверкает, как золотой божок, а бассейн наполнен прозрачной водой или вином. И весь этот блеск, все это цветение раскрылись перед ним благодаря слову «убийство», смысла которого он все ещё не понимал. Он просто принял его на веру и поступил мудро — ведь он был одним из тех, кто чуток к голосу правды.

Прошло больше месяца, и Пейн наконец вернулся в свой лондонский дом, где у него была назначена встреча с отцом Брауном: художник привёз с собой фотографию портрета. Его сердечные дела подвигались успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии, — потому она и не слишком омрачала его душу, впрочем, он всё же помнил, что это — тень семейной катастрофы. Последнее время ему пришлось заниматься слишком многими делами, и лишь после того как жизнь в доме Дарнуэв вошла в свою колею, а роковой портрет был водворён на прежнее место в библиотеке, ему удалось сфотографировать его при вспышке магния. Но перед тем как отослать снимок антиквару, он привёз показать его священнику, который настоятельно просил об этом.

— Никак не пойму вас, отец Браун, — сказал Пейн. — У вас такой вид, словно вы давно разгадали эту загадку.

Священник удручённо покачал головой.

— В том-то и дело, что нет, — ответил он. — Должно быть, я непроходимо глуп, так как не понимаю, совершенно не понимаю одной элементарнейшей детали в этой истории. Всё ясно до определённого момента, но потом... Дайте-ка мне взглянуть на фотографию. — Он поднёс её к глазам и близоруко прищурился. — Нет ли у вас лупы? — спросил он мгновение спустя.

Пейн дал ему лупу, и священник стал пристально разглядывать фотографию; затем он сказал:

— Посмотрите, вот тут книга, на полке, возле самой рамы портрета... Читайте название: «Жизнь папессы Иоанны». Гм, интересно... Стоп! А вон и другая над ней, что-то про Исландию. Так и есть! Господи! И обнаружить это таким странным образом! Какой же я осёл, что не заметил их раньше, ещё там!

— Да что вы такое обнаружили? — нетерпеливо спросил Пейн.

— Последнее звено, — сказал отец Браун. — Теперь мне всё ясно, теперь я понял, как развёртывалась вся эта печальная история с самого начала и до самого конца.

— Но как вы это узнали? — настойчиво спросил Пейн.

— Очень просто, — с улыбкой отвечал священник. — В библиотеке Дарнуэв есть книги о папессе Иоанне и об Исландии и ещё одна, название которой, как я вижу, начинается словами: «Религия Фридриха...» — а как оно кончается — не так уж трудно догадаться. — Затем, заметив нетерпение своего собеседника, священник заговорил уже более серьёзно, и улыбка исчезла с его лица. — Собственно говоря, эта подробность не так уж существенна, хотя она и оказалась последним звеном. В этом деле есть детали куда более странные. Начнём с того, что, конечно, очень удивит вас. Дарнуэй умер не в семь часов вечера. Он был

мёртв с самого утра.

— Удивит — знаете ли, слишком мягко сказано, — мрачно ответил Пейн, — ведь и вы, и я видели, как он целый день расхаживал по комнате.

— Нет, этого мы не видели, — спокойно возразил отец Браун. — Мы оба видели или, вернее, предполагали, что видим, как он весь день возился со своим аппаратом. Но разве на голове у него не было тёмного покрывала, когда вы заходили в комнату? Когда я туда зашёл — это было так. И недаром мне показалось что-то странное в его фигуре. Дело тут не в том, что он был хромым, а скорее в том, что он хромым не был. Он был одет в такой же тёмный костюм. Но если вы увидите человека, который пытается принять позу, свойственную другому, то вам обязательно бросится в глаза некоторая напряжённость и неестественность всей фигуры.

— Вы хотите сказать, — воскликнул Пейн, содрогнувшись, — что это был не Дарнуэй?

— Это был убийца, — сказал отец Браун. — Он убил Дарнуэя ещё на рассвете и спрятал труп в тёмной комнате, а она — идеальный тайник, потому что туда обычно никто не заглядывает, а если и заглянет, то всё равно немного увидит. Но в семь часов вечера убийца бросил труп на пол, чтобы можно было все объяснить проклятием Дарнуэев.

— Но позвольте, — воскликнул Пейн, — какой ему был смысл целый день стеречь мёртвое тело? Почему он не убил его в семь часов вечера?

— Разрешите мне, в свою очередь, задать вам вопрос, — ответил священник. — Почему портрет так и не был сфотографирован? Да потому, что преступник поспешил убить Дарнуэя до того, как тот успел это сделать. Ему, очевидно, было важно, чтобы фотография не попала к антиквару, хорошо знавшему реликвии этого дома.

Наступило молчание, затем священник продолжал более тихим голосом.

— Разве вы не видите, как все это просто? Вы сами в своё время сделали одно предположение, но действительность оказалась ещё проще. Вы сказали, что любой человек может придать себе сходство с портретом. Но ведь ещё легче придать портрету сходство с человеком... Короче говоря, никакого рока Дарнуэев не было. Не было старинной картины, не было старинной надписи, не было предания о человеке, лишившем жизни свою жену. Но был другой человек, очень жестокий и очень умный, который хотел лишить жизни своего соперника, чтобы похитить его невесту, — священник грустно улыбнулся Пейну, словно успокаивая его. — Вы, наверно, сейчас подумали, что я имею в виду вас, — сказал он. — Не только вы посещали этот дом из романтических побуждений. Вы знаете этого человека или, вернее, думаете, что знаете. Но есть тёмные бездны в душе Мартина Вуда, художника и любителя старины, о которых никто из его знакомых даже не догадывается. Помните, его пригласили в замок, чтобы реставрировать картины? На языке обветшалых аристократов это значит, что он должен был узнать и доложить Дарнуэям, какими сокровищами они располагают. Они ничуть бы не удивились, если бы в замке обнаружился портрет, которого раньше никто не замечал. Но тут требовалось большое искусство, и Вуд его проявил. Пожалуй, он был прав, когда говорил, что если это не Гольбейн, то мастер, не уступающий ему в гениальности.

— Я потрясён, — сказал Пейн, — но очень многое мне ещё непонятно. Откуда он узнал, как выглядит Дарнуэй? Каким образом он убил его? Врачи так и не разобрались в причине смерти.

— У мисс Дарнуэй была фотография австралийца, которую он прислал ей ещё до своего приезда, — сказал священник. — Ну, а когда стало известно, как выглядит новый наследник, Вуду нетрудно было узнать и всё остальное. Мы не знаем многих деталей, но о них можно догадаться. Помните, он часто помогал Дарнуэю в тёмной комнате, а ведь там легче легкого, скажем, уколоть человека отравленной иглой, когда к тому же под рукой всевозможные яды. Нет, трудность не в этом. Меня мучило другое: как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах? Каким образом он сумел вытащить труп из тёмной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько секунд, и в это же самое время разыскивать в библиотеке книгу? И я, старый дурак, не догадался взглянуть

повнимательнее на книжные полки! Только сейчас, благодаря счастливой случайности, я обнаружил вот на этой фотографии простейший факт — книгу о папессе Иоанне.

— Вы приберегли под конец самую таинственную из своих загадок, — сказал Пейн. — Какое отношение к этой истории может иметь папесса Иоанна?

— Не забудьте и про книгу об Исландии, а также о религии какого-то Фридриха. Теперь весь вопрос только в том, что за человек был покойный лорд Дарнуэй.

— И только-то? — растерянно спросил Пейн.

— Он был большой оригинал, широко образованный и с чувством юмора. Как человек образованный, он, конечно, знал, что никакой папессы Иоанны никогда не существовало. Как человек с чувством юмора, он вполне мог придумать заглавие «Змеи Исландии», их ведь нет в природе. Я осмелюсь восстановить третье заглавие «Религия Фридриха Великого», которой тоже никогда не было. Так вот, не кажется ли вам, что все эти названия как нельзя лучше подходят к книгам, которые не книги, или, вернее, к книжным полкам, которые не книжные полки.

— Стойте! — воскликнул Пейн. — Я понял. Это потайная лестница.

— ...ведущая наверх, в ту комнату, которую Вуд сам выбрал для лаборатории, — сказал священник. — Да, именно потайная лестница — и ничего тут не поделаешь. Всё оказалось весьма банальным и глупым, а глупее всего, что я не разгадал этого сразу. Мы все попались на удочку старинной романтики — были тут и приходящие в упадок дворянские семейства, и разрушающиеся фамильные замки. Так разве могло обойтись дело без потайного хода! Это был тайник католических священников, и, честное слово, я заслужил, чтобы меня туда запрятали.

ТАЙНА ОТЦА БРАУНА

Фламбо — один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейною жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбуждён и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не больше чёрной точки.

Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний, — попросту говоря, она оставалась все такой же чёрной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителе британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжёлым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, который давно собирался приехать — и всё никак не мог. Они постоянно переписывались, но не видались несколько лет.

Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Его познакомили с деревянными позолоченными волхвами, которых дарят

детям на рождество; познакомили с собакой, кошкой и обитателями скотного двора; познакомили с соседом, который, как и сам Браун, отличался от здешних жителей и манерами, и одеждой.

На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский гранд. То был высокий, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которую наши карикатуристы связывают с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и прямо, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая гнусавость, портившая его изысканную речь, и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Да, это был сам Грэндисон Чейс из Бостона, американский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком же холме. Здесь, в своём поместье, он наслаждался жизнью и считал своего радушного соседа одной из местных древностей. Ибо Фламбо, как мы уже говорили, удалось глубоко пустить в землю корни, и казалось, что он провёл века среди своих виноградников и смоковниц. Он вновь назывался своим настоящим именем — Дюрок, ибо «Фламбо», то есть «факел», было только псевдонимом, под которым такие, как он, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дому уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Камень, прикатившийся с Запада, был рад отдохнуть возле южного камня, который успел обрасти таким пышным мхом.

Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера — сдержанный, но неукротимый — проснулся в нём. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб, — надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам.

Они сидели во двореке, под навесом, — в Испании часто входят в дом через наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому здесь стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и рисуя на плоских плитах рдеющие узоры. Но ни один отсвет огня не достигал даже нижних кирпичей высокой голой стены, уходившей над ними в тёмно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, как сабли, усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из бочки тёмное вино и разливал его в бокалы. Священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким в его тени. Американец ловко нагнулся вперёд, опершись локтем о колено; его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали умом и любопытством.

— Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что ваше участие в расследовании убийства человека о двух бородах — одно из величайших достижений научного сыска.

Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а может быть, застонал.

— Мы знакомы, — продолжал американец, — с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы видим, что ваш метод очень отличается от методов других детективов — как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода.

Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке — и сказал:

— Простите... Да... Нет метода... Боюсь, что у них нет разума...

— Я имел в виду строго научный метод, — продолжал его собеседник. — Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктора Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.

— Да, — ответил священник, хмуро глядя на печку, — отказался.

— Ваш отказ вызвал массу толков! — подхватил Чейс. — Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она — оккультная.

— Какая она? — переспросил отец Браун довольно хмуро.

— Ну, непонятна для непосвященных, — пояснил Чейс. — Надо вам сказать, у нас в Штатах как следует поломали голову над убийством Галлупа и Штейна, и над убийством старика Мертонна, и над двойным преступлением Дэлмона. А вы всегда попадали в самую гущу и раскрывали тайну, но никому не говорили, откуда вам все известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, всё знаете не глядя. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о формах мышления. А «Общество сестер-духовидиц» в Индианополисе...

Отец Браун всё ещё глядел на печку, наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал:

— Ох! К чему это?!

— Этому горю не поможешь! — добродушно улыбнулся мистер Чейс. — У наших духовидиц хватка железная. По-моему, хотите покончить с болтовней — откройте вашу тайну.

Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему стало трудно думать. Потом поднял голову и глухо сказал:

— Хорошо! Я открою тайну.

Он обвёл потемневшими глазами темнеющий дворик — от багровых глаз печки до древней стены, на которой все ярче блистали ослепительные южные звёзды.

— Тайна... — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: — Понимаете, всех этих людей убил я сам.

— Что? — сдавленным голосом спросил Чейс.

— Я сам убил всех этих людей, — кратко повторил отец Браун. — Вот я и знал, как всё было.

Грэндисон Чейс выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он ещё раз спросил недоверчиво:

— Что?

— Я тщательно подготовил каждое преступление, — продолжал отец Браун. — Я упорно думал над тем, как можно совершить его, — в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он.

Чейс прерывисто вздохнул.

— Ну и напугали вы меня! — сказал он. — Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Я так и увидел жирные заголовки во всех наших газетах: «Сыщик в сутане — убийца. Сотни жертв отца Брауна». Что ж, это хороший образ... Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию...

Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко.

— Нет, нет, нет! — сказал он чуть ли не гневно. — Никакой это не образ. Вот что получается, когда заговоришь о серьёзных вещах. Просто хоть не говори! Стоит завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы выражаетесь образно. Один человек — настоящий, двуногий — сказал мне как-то: «Я верю в святого духа лишь в духовном смысле». Я его, конечно, спросил: «А как же ещё в него верить?» — а он решил, что я сказал ему будто надо верить только в эволюцию, или в этическое единомыслие, или ещё в какую-то чушь. ещё раз повторяю — я видел, как я сам, как моё «я» совершал все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически — но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошёл до него, не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один

друг — хорошее духовное упражнение. Кажется, он его нашёл у Льва Тринадцатого, которого я всегда почитал.

— Боюсь, — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, — что вам придётся ещё многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чём вы говорите. Наука сыска...

Отец Браун нетерпеливо щёлкнул пальцами.

— Вот оно! — воскликнул он. — Вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире. Но какой смысл придают этому слову в девяти случаях из десяти, когда говорят, что сыск — наука, криминология — наука? Они хотят сказать, что человека можно изучать снаружи, как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они глядят на человека издали, как на ископаемое; они разглядывают «преступный череп», как рог у носорога. Когда такой ученый говорит о «типе», он имеет в виду не себя, а своего соседа — обычно бедного. Конечно, иногда полезно взглянуть со стороны, но это не наука, для этого как раз нужно забыть то небольшое, что мы знаем. В друге нужно увидеть незнакомца и подивиться хорошо знакомым вещам. Можно сказать, что у людей — короткий выступ посреди лица или что мы впадаем в беспамятство раз в сутки. Но то, что вы назвали моей тайной, — совсем, совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я — внутри человека. Я поселяюсь в нём, у меня его руки, его ноги, но я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей.

— О! — произнёс мистер Чейс, мрачно глядя на него. — И это вы называете духовным упражнением?

— Да, — ответил Браун. — Именно это. — Он помолчал, потом заговорил снова: — Это такое упражнение, что лучше бы мне о нём не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы ещё скажете там, у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но всё это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймёт, какой он плохой или каким плохим он мог бы стать; пока он не поймёт, как мало права у него ухмыляться и толковать о «преступниках», словно это обезьяны где-нибудь в дальнем лесу; пока он не перестанет так гнусно обманывать себя, так глупо болтать о «низшем типе» и «порочном черепе»; пока он не выжмет из своей души последней капли фарисейского елея; пока надеется загнать преступника и накрыть его сачком, как насекомое.

Фламбо подошёл ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом; точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил — впервые за весь вечер:

— Отец Браун, кажется, привёз с собой много новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятыми людьми.

— Да, я слышал об этих историях! — сказал Чейс, задумчиво поднимая бокал. — Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?

Отец Браун тоже поднял бокал, и в мерцании огня вино стало прозрачным, как кроваво-алый витраж с изображением мученика. Алое пламя приковало его взор: он не мог отвести от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всех людей на свете, а его душа, как пловец, смиренно углублялась во тьму чудовищных помыслов, глубже самых страшных чудищ, на самое илистое дно. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями, то, о чём его просили рассказать, заплесало перед ним, он снова видел всё, о чём рассказано в этой книге.

Вот алое вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей, один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые

фонарики повисли на деревьях сада, алые блики заплясали в пруду. Вот свет фонариков слился в огромный прозрачный рубин, освещающий всё вокруг, словно алое солнце, кроме тени высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру, над серой бесприютностью болот. Всё это можно было увидеть и понять иначе, но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так — и образы стали складываться в доводы и сюжеты.

— Да, — сказал он, медленно поднося бокал к губам, — я как сейчас помню...

ЗЕРКАЛО СУДЬИ

Джеймс Бэгшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями и очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Первый из них — рослый, темноволосый, добродушный — мужчина с узкой полоской усов на верхней губе — служил профессиональным сыщиком в полиции, второй, невысокий блондин с проницательным, резко очерченным лицом, был любитель, который горячо увлекался розыском преступников. Читатели этого рассказа, написанного с подлинно научной точностью, будут поражены, узнав, что говорил профессиональный полисмен, любитель же слушал его с глубокой почтительностью.

— Наша работа, пожалуй, единственная на свете, — говорил Бэгшоу, — в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными. Воля ваша, но никто не станет писать рассказ о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь, или об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему извозчичью премудрость в свете новейшей философии. При всём том я отнюдь не намерен отрицать, что мы часто склонны избирать наиболее проторенный путь или, иными словами, безуспешно действуем в соответствии с общепринятыми правилами. Но ошибка писателей заключается в том, что они упорно не дают нам возможности успешно действовать в согласии с общепринятыми правилами.

— Без сомнения, — заметил Андерхилл, — Шерлок Холмс, будь он сейчас здесь, сказал бы, что действует в согласии с правилами и по законам логики

— Возможно, он был бы недалёк от истины, — подтвердил полисмен, — но я имел в виду правила, которым следует многочисленная группа людей. Нечто вроде работы в армейском штабе. Мы собираем и накапливаем информацию.

— А вам не кажется, что и в детективных романах это не исключено? — осведомился его друг.

— Что ж, давайте возьмём в виде примера любое из вымышленных дел, раскрытых Шерлоком Холмсом и Лестрадом, профессиональным сыщиком. Предположим, Шерлок Холмс может догадаться, что совершенно незнакомый ему человек, который переходит улицу, — иностранец, просто-напросто потому, что тот, опасаясь попасть под автомобиль, смотрит направо, а не налево, хотя в Англии движение левостороннее. Право, я охотно допускаю, что Холмс вполне способен сделать подобную догадку. И я глубоко убежден, что Лестраду подобная догадка никогда и в голову не придёт. Но при этом не следует упускать из виду тот факт, что полисмен хоть и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Лестрад мог точно знать, что этот прохожий — иностранец, хотя бы уже потому, что полиция, в которой он служит, обязана следить за иностранцами. Мне могут возразить, что полиция следит за всеми без различия. Поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякий стремится работать на совесть. Но я к тому же гражданин своей страны и порой задаюсь вопросом — а не слишком ли много знает полиция?

— Да неужели вы можете всерьёз утверждать, — воскликнул Андерхилл с недоверием, — что знаете всё о любом встречном, который попадает к вам на любой улице? Допустим, вон из того дома сейчас выйдет человек, — разве вы и про него всё знаете?

— Безусловно, если он хозяин дома, — отвечал Бэгшоу. — Этот дом арендует литератор, румын по национальности, английский подданный, обычно он живёт в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия — Озрик Орм, он принадлежит к новой поэтической школе, и стихи его неудобочитаемы, — разумеется, насколько я лично могу об этом судить.

— Но я имел в виду всех людей, которых встречаешь на улице, — возразил его собеседник. — Я думал о том, до чего всё кажется странным, новым, безликим: эти высокие, глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, их обитатели. Право же, вы не можете знать их всех.

— Я знаю некоторых, — отозвался Бэгшоу. — Вот за этой оградой, вдоль которой мы сейчас идём, находится сад, принадлежащий сэру Хэмфри Гвинну, хотя обыкновенно его называют просто судья Гвинн: он — тот самый старый судья, который поднял такой шум по поводу шпионажа во время мировой войны. Соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Родом он из Латинской Америки, смуглый такой, сразу видна испанская кровь, но фамилия у него чисто английская — Буллер. А вон тот дом, следующий по порядку... постойте, вы слышали шум?

— Я слышал какие-то звуки, — ответил Андерхилл, — но, право, понятия не имею, что это было.

— Я знаю, что это было, — сказал сыщик. — Это были два выстрела из крупнокалиберного револьвера, а потом — крик о помощи. И донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвинну, из этого рая, где всегда царят мир и законность. — Он зорко оглядел улицу и добавил. — А в ограде одни-единственные ворота, и, чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрых полмили. Право же, будь эта ограда чуть пониже или я чуть полегче, тогда дело другое, но всё равно я попытаюсь.

— Вон место, где ограда и впрямь пониже, — сказал Андерхилл, — и рядом дерево, оно там как нельзя более кстати.

Они пустились бежать вдоль ограды и действительно увидели место, где ограда круто понижалась, словно уходя в землю до половины, а дерево в саду, усеянное ярчайшими цветами, простирало наружу ветви, золотистые при свете одинокого уличного фонаря. Бэгшоу ухватился за кривой сук и перебросил ногу через невысокую ограду, мгновение спустя друзья уже стояли в саду, до колен утопая в ковре из цепких, стелющихся трав.

В этот ночной час сад судьи Гвинна выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому тёмному дому, который стоял последним, в конце улицы. Дом этот можно назвать тёмным в самом прямом смысле слова, потому что ставни были закрыты наглухо и ни один луч света не проникал наружу сквозь их щели, по крайней мере, со стороны палисадника. Зато в самом саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен бы быть окутан тьмой, кое-где мерцали, догорая, искры, как будто после фейерверка, словно гигантская огненная ракета упала и рассыпалась меж деревьев. Продвигаясь вперёд, друзья обнаружили, что это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья, подобно драгоценным плодам Аладдина, но в особенности свет изливался из круглого озера или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные, разноцветные огоньки, будто и там тоже горели лампочки.

— Может быть, у него торжественный приём? — спросил Андерхилл. — Похоже, что сад иллюминирован.

— Нет, — возразил Бэгшоу. — Просто у него такая прихоть, и, думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей собственной маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вон в той отдельной пристройке или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Буллер, близкий его приятель, утверждает, что, когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак того, что его лучше не беспокоить.

— Нечто вроде красного сигнала, предупреждающего об опасности, — заметил

Андерхилл.

— Боже правый! Боюсь, что это и есть именно такой сигнал!

Тут сыщик пустился бежать к пруду.

А ещё через мгновение Андерхилл сам увидел то, что видел его друг. Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, иногда окружающий луну, а здесь окаймлявшее круглый пруд, прерывали две чёрные черты, или полосы, — как оказалось, то были две длинные чёрные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду.

— Скорей! — отрывисто вскрикнул сыщик. — Кажется мне...

Голос его смолк в отдалении, потому что он уже мчался во весь дух через широкую лужайку, едва различимую при слабом электрическом освещении, и дальше напрямик через весь сад к пруду, у которого лежал неизвестный человек. Андерхилл рысцей последовал по его стопам, но вдруг испугался, потому что произошла неожиданность. Бэгшоу, который по прямой линии, как стрела, летел к незнакомцу, распростёртому подле светящегося пруда, круто свернул в сторону и, ещё прибавив прыти, помчался к дому. Андерхилл никак не мог сообразить, почему его друг так резко и внезапно переменял направление. Но ещё через секунду, когда сыщик нырнул в тень дома, оттуда, из мрака, послышалась возня, сопровождаемая ругательствами, а потом Бэгшоу вновь вынырнул оттуда, волоча за собою упирающегося человечка, щуплого и рыжеволосого. Пойманный, видимо, хотел скрыться за домом, но острый слух сыщика уловил шорох его шагов, едва слышный, словно трепыхание птички в кустах.

— Андерхилл, сделайте милость, — сказал сыщик, — бегите к пруду и посмотрите, что и как. Ну, а вы кто такой будете? — спросил он, резко останавливаясь. — Имя, фамилия?

— Майкл Флуд, — отвечал незнакомец вызывающим тоном. Был он маленький, тщедушный, с непомерно длинным крючковатым носом на узком и сухом, словно пергаментном личике, бледность которого была особенно заметна, оттенённая огненно-рыжей шевелюрой. — Я тут, смею заверить, ни при чём. Когда я пришёл, он уже лежал мёртвый, и мне стало страшно. Я из газеты, хотел взять у него интервью.

— Когда вы, газетчики, берёте интервью у знаменитостей, — заметил Бэгшоу, — разве принято у вас перелезать для этого через садовую ограду?

И он сурово указал на двойную цепочку следов, тянувшихся по аллее к цветочной клумбе.

Человечек, назвавшийся Флудом, тоже напустил на себя суровое выражение

— Газетному репортёру порой приходится перелезать через ограды, чтобы взять интервью, — сказал он. — Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей отлучился куда-то.

— А почему вы знаете, что он отлучился! — спросил сыщик, глядя на него с подозрением.

— Да потому, — отвечал Флуд с явно напускным хладнокровием, — что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал, я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле самой калитки, по ту сторону сада.

— Но отчего же он не воспользовался калиткой? — продолжал допрос Бэгшоу.

— А я почём знаю? — огрызнулся Флуд. — Вероятно, оттого, что она заперта. Спрашивайте у него, а не у меня, вон он как раз возвращается.

И в самом деле, близ дома показалась ещё чья-то смутная тень, едва различимая в полутьме, пронизанной слабым электрическим светом, а потом стал виден широкоплечий человек в красной жилетке, надетой поверх заношенной до невероятия ливреи. Он торопливо, но спокойно и уверенно приближался к боковой дверке дома, когда окрик Бэгшоу заставил его остановиться. Он неохотно подошёл, и можно было теперь разглядеть желтоватое лицо с азиатскими чертами, которым вполне соответствовали прилизанные иссиня-чёрные волосы.

Бэгшоу резко повернулся к человеку, назвавшему себя Флудом.

— Может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность?

— Таких и по всей стране немного отыщется, — недовольно буркнул Флуд. — Я только недавно переехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в здешних краях, это священник церкви святого Доминика отец Браун.

— Вы оба извольте оставаться здесь, — сказал Бэгшоу. И добавил, обращаясь к лакею: — А вас я прошу пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Да смотрите, без фокусов.

Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг, как ему и было сказано, поспешил на место, где разыгралась трагедия. Место это выглядело довольно странно: поистине, не будь трагедия столь ужасна, она представлялась бы в высшей степени фантастической. Мёртвый человек (при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мёртв) лежал, уронив голову в пруд, и мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием святотатственного нимба. Лицо у него было измождённое и неприятное, голова почти облысела, только по бокам ещё курчавились редкие пряди — седоватые, со стальным отливом, они завивались колечками, и хотя висок разможила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах сэра Хэмфри Гвинна. На покойном был фрак, а его длинные, тонкие, как у паука, ноги чернели, раскинутые в разные стороны на крутом берегу, с которого он упал.словно по роковой, поистине дьявольской прихоти, кровь медленно сочилась в светящуюся воду, и струйка змеилась, прозрачно-алая, как предзакатное облако.

Андерхилл сам не мог бы сказать, сколько времени он простоял, глядя на зловещий труп, а потом поднял голову и увидел, что над ним, у края обрывистого берега, появились четверо незнакомцев. Он ожидал прихода Бэгшоу и пойманного ирландца и легко догадался, кто человек в красной жилетке. Но в четвёртом из них была какая-то странная и смешная торжественность, непостижимым образом совмещавшая несовместимое. Он был приземист, круглолиц и носил шляпу, напоминавшую чёрный нимб. Андерхилл догадался, что перед ним священник; но при этом ему почему-то вспомнилась старая, почерневшая от времени гравюра, на которой была изображена «Пляска смерти».

Потом он услышал, как Бэгшоу сказал священнику:

— Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека, но всё же прошу иметь в виду, что он тем не менее остаётся под некоторым подозрением. Конечно, вполне может статься, что он невиновен, но как бы то ни было, а в сад он проник необычным способом.

— Я и сам считаю его невиновным, — сказал священник бесстрастным голосом. — Но, разумеется, я могу и ошибаться.

— А почему, собственно, вы считаете его невиновным?

— Именно потому, что он проник в сад столь необычным способом, — отвечал церковнослужитель. — Понимаете ли, сам я проник сюда способом вполне обычным. Но очень похоже, что я чуть ли не единственный попал сюда так, как это принято. В наши дни самые достойные люди перелезают в сад через ограду.

— А что вы называете обычным способом? — осведомился сыщик.

— Ну, как вам сказать, — отвечал отец Браун с самой истовой откровенностью. — Я вошёл через парадную дверь. Обычно я вхожу в дома именно таким путём.

— Прошу прощения, — заметил Бэгшоу, — но не так уж важно, каким путём вошли сюда вы, если только у вас нет желания сознаться в убийстве.

— А по-моему, это очень важно, — мягко возразил священник. — Дело в том, что, когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, чего остальные, по всей вероятности, не могли видеть.

— Что же это было?

— Совершеннейший разгром, — всё так же мягко объяснил отец Браун. — Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян черепками глиняного горшка. И я сразу понял, что случилось неладное.

— Вы правы, — согласился Бэгшоу, помолчав немного. — Если вы всё это видели, тут налицо прямая связь с преступлением.

— А если тут налицо связь с преступлением, — продолжал священник вкрадчиво, — то вполне можно предположить, что некий человек никак с этим преступлением не связан. И человек этот — мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться отсюда столь же необычным способом. Именно необычность поведения убеждает меня в его невинности.

— Войдёмте в дом, — сказал Бэгшоу отрывисто.

Когда они переступили порог боковой двери, пропустив лакея вперёд, Бэгшоу отстал на несколько шагов и тихо заговорил со своим другом.

— Этот лакей ведёт себя как-то странно, — сказал он. — Утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости: несомненно лишь одно, он действительно служил у Гвинна, и, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, к величайшему моему удивлению, он клянётся, что его хозяин вообще не был в саду, ни живой, ни мёртвый. Говорит, будто старый судья уехал на званый обед в Юридическую коллегия и должен был вернуться лишь через несколько часов, потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома.

— А объяснил ли он, — спросил Андерхилл, — что побудило его отлучиться столь странным образом?

— Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть, — отвечал сыщик. — Право же, я его не понимаю. Он чего-то смертельно боится.

За боковой дверью начиналась длинная, тянувшаяся через всё здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь, над которой было старомодное, полукруглое оконце, одним своим видом нагонявшее тоску. Сероватые проблески рассвета уже мерцали среди темноты, словно блики какого-то унылого, тусклого восхода, а прихожую слабо освещала одна-единственная лампа под абажуром, тоже весьма старомодным, которая стояла на полке в дальнем углу. При неверном её свете Бэгшоу увидел тот полнейший разгром, о котором говорил Браун. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, от горшка из тёмно-красной глины остались одни черепки, Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама так и осталась висеть тут же, на стене. Перпендикулярно этой стене, от боковой дверки, в которую они вошли, тянулся в глубь дома широкий коридор. В дальнем его конце виднелся телефон, по которому лакей и вызвал сюда священника; ещё дальше через приотворённую дверь виднелись тесно сомкнутые ряды толстенных книг в кожаных переплетах, и ясно было, что дверь эта ведёт в кабинет судьи.

Бэгшоу стоял, глядя себе под ноги, на глиняные черепки, смешанные с осколками зеркального стекла.

— Вы совершенно правы, — сказал он священнику. — Здесь была настоящая схватка. По всей видимости — схватка между Гвинном и его убийцей.

— Мне в самом деле кажется, — скромно заметил священник, — что здесь имело место некое происшествие.

— Да, происшествие действительно имело место, и ясно, какое именно, — подтвердил сыщик. — Убийца вошёл через парадную дверь и застал Гвинна в доме. Вероятно, сам Гвинн его и впустил, завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнёс зеркало, хотя его могли разбить и ударом ноги или как-нибудь ещё. Гвинну удалось вырваться, и он ринулся в сад, где преследователь настиг его у пруда и пристрелил. Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена, но, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть все остальные комнаты.

В остальных комнатах не удалось, однако, обнаружить ничего интересного, хотя Бэгшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола.

— Похоже, что судья ожидал покушения, — сказал сыщик, — но странно, что он не взял с собой оружия, когда вышел к дверям.

Наконец они вернулись в прихожую и направились к парадной двери, причём отец Браун рассеянно скользил взглядом вокруг себя. Два коридора, оклеенных одинаковыми выцветшими обоями с невзрачным серым рисунком, словно подчеркивали пышность пыльных и грязных безделушек викторианских времен, а также позеленевшей от времени старинной бронзовой лампы и тусклой позолоченной рамы, в которую было вставлено разбитое зеркало.

— Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье, — сказал он. — Но тут весь дом — словно предвестие беды. Удивительно, что даже сама мебель...

— Как странно, — перебил его Бэгшоу. — Я думал, парадная дверь заперта, а она только на щеколде.

Ему никто не ответил — все вышли за дверь и очутились во втором саду, перед домом. Сад этот был поменьше и попроще, здесь пестрели цветы, а в одном конце рос забавно подстриженный кустарник с круглой аркой, похожей на зелёную пещеру, куда вели полуобрушенные ступеньки.

Отец Браун подошёл к арке и заглянул внутрь. Потом он вдруг исчез из виду, а через несколько мгновений остальные услышали у себя над головами его голос, спокойный и ровный, словно он беседовал с кем-то на верхушке дерева. Сыщик направился следом и обнаружил, что скрытая лестница поднималась к некоему подобию обветшавшего мостика, повисшего над тёмным и пустынным уголком сада. Мостик огибал дом, и оттуда открывался вид на цветные огоньки, мерцавшие наверху и внизу. Возможно, мостик этот был плодом какой-то странной фантазии архитектора, которому вздумалось построить над лужайкой нечто вроде аркады с галереей поверху. Бэгшоу подумал, что в этом тупике прелюбопытно застать человека в столь ранний час, перед рассветом, но не стал тратить время на дальнейшие раздумья. Он рассматривал человека, которого они со священником здесь застигли.

Человек этот стоял к ним спиной, низкорослый, в сером костюме, и единственное, что выделялось в его внешности, была густая шевелюра, ярко-жёлтая, как головка огромного расцветающего лютика. Она действительно выделялась, словно гигантский нимб, и, когда он медленно и угрюмо повернулся к ним лицом, это сходство произвело какое-то ошеломляющее и неожиданное впечатление. Такой нимб мог бы окружать удлинённое, кроткое, как у ангела, лицо, но у этого человека лицо было злобное и морщинистое, с мощными челюстями и коротким носом, какие бывают у боксёров после перелома.

— Насколько я понимаю, это мистер Орм, знаменитый поэт, — произнёс отец Браун невозмутимо, словно представлял их друг другу в светской гостиной.

— Кто бы он ни был, — сказал Бэгшоу, — я вынужден беспокоить его и пригласить вниз, где ему придётся ответить на несколько вопросов.

Там, в углу старого сада, ранним утром, когда серые сумерки обволакивали густые кусты, скрывавшие вход на полуобрушенную галерею, и позже, при самых различных обстоятельствах и на различных стадиях официального следствия, которое приобретало всё более серьёзный оборот, обвиняемый отрицал решительно всё, утверждая, что лишь намеревался зайти к сэру Хэмфри Гвинну, но это ему не удалось, потому что, сколько он ни звонил у двери, никто не открыл на его звонки. Когда ему указали, что дверь, собственно, не была заперта, он насмешливо хмыкнул. Когда ему намекнули, что час для такого посещения был выбран необычайно поздний, он презрительно фыркнул. То небольшое, что удалось из него вытянуть, звучало крайне туманно либо потому, что он действительно почти не умел говорить по-английски, либо же потому, что он ловко притворялся, будто крайне плохо знает этот язык. Убеждения его носили нигилистический и разрушительный характер, и такую же направленность усматривали в его стихах те читатели, которые способны были их понять, представлялось вполне вероятным, что дела, которые он имел с судьёй, равно как и ссора между ним и упомянутым судьёй, были связаны с анархическими идеями. Всякий знал, что

Гвинна преследовала навязчивая идея, — ему с недавних пор всюду чудились большевистские шпионы, как некогда чудились германские. И всё же одно совпадение, замеченное почти сразу же после поимки его соседа, укрепило в Бэгшоу мысль, что к делу следует отнестись серьёзно. Когда они вышли через ворота на улицу, им случайно попался навстречу другой сосед убитого судьи, торговец сигарами Буллер, которого нетрудно было узнать по смуглому сварливому лицу и неизменной орхидее в петлице, он был известным знатоком по части выращивания этих цветов. Ко всеобщему удивлению он приветствовал поэта, тоже своего соседа, как ни в чём не бывало, словно заведомо ожидал его здесь встретить.

— Привет, а вот и я! — вскричал он. — Видно, ваш разговор со стариком Гвинном изрядно затянулся?

— Сэр Хэмфри Гвинн мёртв, — сказал Бэгшоу. — Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснений.

Буллер застыл на месте, словно окаменев, видимо, изумлённый до глубины души. Кончик его раскуренной сигары мерно вспыхивал и тускнел, но смуглое лицо скрывалось в тени, наконец он заговорил, резко переменяя тон.

— Я хотел только сказать, — выдавил он из себя, — что два часа назад, когда я шёл мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота, вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри.

— Но он утверждает, что так и не повидался с ним, — заметил Бэгшоу. — Даже в дом не входил.

— Долгонько же ему пришлось проторчать под дверью, — сказал Буллер.

— Да, — согласился отец Браун, — и вам долгонько пришлось проторчать на улице.

— Я ушёл к себе, — сказал торговец сигарами. — Написал несколько писем, а потом снова вышел их отослать.

— Придётся вам дать показания несколько позже, — сказал Бэгшоу. — Доброй ночи или, вернее, доброго утра.

Процесс Озрика Орма, обвиняемого в убийстве Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадке: что же было в течение двух часов, с той минуты, когда Буллер видел, как Орм входил в ворота, и до того, как отец Браун застал его в саду, где он, по-видимому, и провёл целых два часа. Времени этого было вполне достаточно, чтобы совершить добрых полдюжины убийств, и обвиняемый вполне мог бы совершить их просто от нечего делать, ибо он не сумел сколько-нибудь вразумительно объяснить, что же он всё-таки делал. Прокурор доказывал, что он имел полную возможность убить судью, так как парадная дверь была на щеколде, а боковая, ведущая в большой сад, и вовсе открыта. Суд с напряжённым интересом выслушал Бэгшоу, который восстановил картину схватки в прихожей, после чего остались столь явные следы, к тому же впоследствии полиция нашла пулю, которая попала в зеркало. И, наконец, зелёная арка, благодаря которой обнаружили подсудимого, была очень похожа на тайное укрытие. С другой стороны, сэр Мэтью Блейк, талантливый и опытный адвокат, вывернул этот довод буквально наизнанку: он осведомился, для чего, спрашивается, человеку самому лезть в ловушку, откуда заведомо нет выхода, хотя не в пример благоразумней было бы попросту выскользнуть на улицу. Сэр Мэтью Блейк также очень искусно воспользовался тайной, которая по-прежнему окутывала причину убийства. Воистину поединок по этому вопросу между сэром Мэтью Блейком и сэром Артуром Трейверсом, столь же блестящим юристом, выступавшим в роли обвинителя, окончился в пользу подсудимого. Сэр Артур мог лишь выдвинуть предположение о большевистском заговоре, но предположение это представлялось довольно шатким. Зато когда перешли к рассмотрению загадочных действий, которые Орм совершил в ночь убийства, обвинитель сумел выступить с гораздо большим эффектом.

Подсудимый был вызван для дачи свидетельских показаний, в сущности, лишь поскольку его проницательный адвокат полагал, что отсутствие таковых произведёт

неблагоприятное впечатление, — однако Орм отмалчивался, когда его допрашивал защитник, так же упорно, как и в ответ на вопросы прокурора. Сэр Артур Трейверс постарался извлечь из этого непоколебимого молчания возможно больше выгод, но заставить Орма заговорить так и не удалось. Сэр Артур был высок ростом, худощав, с длинным мертвенно-бледным лицом и казался прямой противоположностью сэру Мэтью Блейку, этому здоровяку с блестящими птичьими глазами. Но если сэр Мэтью держался уверенно и задиристо, как петух, то сэра Артура скорее можно было сравнить с журавлём или аистом, когда он подавался вперёд, осыпая поэта вопросами, длинный его нос удивительно походил на клюв.

— Итак, вы утверждаете перед присяжными, — спросил он тоном, в котором проскрипнуло явное недоверие, — что даже не входили в дом покойного судьи?

— Нет! — коротко отвечал Орм.

— Однако, насколько я понимаю, вы собирались с ним повидаться. Вероятно, вам нужно было повидаться с ним безотлагательно. Ведь недаром вы прождали два долгих часа у парадной двери?

— Да, — последовал ответ.

— И при этом вы даже не заметили, что дверь не заперта?

— Нет, — сказал Орм.

— Но что же, объясните на милость, делали вы битых два часа в чужом саду? — настойчиво попытался обвинитель. — Ведь делали же вы там что-нибудь, позвольте полюбопытствовать?

— Да.

— Быть может, это тайна? — осведомился сэр Артур со злорадством.

— Это тайна для вас, — отвечал поэт.

За эту мнимую тайну и ухватился сэр Артур, соответственно построив свою обвинительную речь. Со смелостью, которую многие из присутствующих сочли поистине наглой, он самую таинственность поступка Орма, этот главный и наиболее убедительный довод защитника, использовал в своих целях. Он преподнёс этот поступок как первый, ещё смутный признак некоего обширного, тщательно подготовленного заговора, жертвой которого пал пламенный патриот, задушенный, так сказать, щупальцами гигантского спрута.

— Да! — воскликнул обвинитель прерывающимся от негодования голосом. — Мой уважаемый и высокоучёный коллега совершенно прав! Мы не знаем в точности причины убийства верного сына нашего отечества. Равно не узнаем мы причины убийства следующего патриота. Возможно, мой высокоучёный коллега сам падёт жертвой своих заслуг перед государством и той ненависти, которую разрушительные силы ада питают к законоблудителям, тогда он будет убит и тоже никогда не узнает причины убийства. Добрую половину почтеннейшей публики, присутствующей здесь, в этом зале, зарежут ночью, во сне, и мы опять-таки не узнаем причины. Мы никогда не узнаем причины и не арестуем бандитов, а страна наша превратится в пустыню, поскольку адвокатам позволено прекращать судебные разбирательства, используя давным-давно отживший свой век довод о невыясненной «причине», хотя все прочие факты, относящиеся к делу, все вопиющие несообразности, все очевидные умолчания свидетельствуют, что перед нами Каин собственной персоной.

— Никогда ещё не видал, чтобы сэр Артур так волновался, — рассказывал позднее Бэгшоу в узком кругу друзей. — Некоторые утверждают, что он впервые преступил все и всяческие границы, и полагают, что прокурору не пристала подобная мстительность. Но должен признать, в этом жалком дьяволе с жёлтой шевелюрой поистине было нечто омерзительное, и впечатление это невольно повлияло на обвинительную речь. Мне всё время смутно вспоминалось то, что Де Куинси²³ написал о мистере Уильямсе, этом гнусном

²³ Де Куинси Томас (1785 – 1859) — английский писатель, автор очерков «Убийство как одно из изящных искусств».

убийце, который умертвил целых два семейства. Помнится, Де Куинси писал, что у этого самого Уильямса волосы были неестественно яркого жёлтого цвета, потому что он выкрасил их каким-то хитрым составом, рецепт которого вывез из Индии, где даже лошадей умеют красить хоть в зелёный, хоть в синий цвет. А потом воцарилось невероятное гробовое молчание, как в доисторической пещере, не скрою, это на меня сильно действовало, и в скором времени я почуял, что на скамье подсудимых сидит настоящее чудовище. Если такое чувство появилось лишь под воздействием красноречия сэра Артура, вся ответственность за то, что он вложил в свою речь столько страсти, падала исключительно на него.

— Не забывайте, ведь он был другом покойного Гвинна, — ввернул Андерхилл, стараясь объяснить пылкость прокурора. — Один мой знакомый видел, как они недавно пьянствовали вдвоём после какого-то званого обеда. Смею полагать, что именно поэтому он вёл себя столь несдержанно при разборе дела. Но мне представляется сомнительным, вправе ли кто-нибудь руководствоваться при подобных обстоятельствах личными чувствами.

— На это он не пошёл бы ни в коем случае, — возразил Бэгшоу. — Готов биться об заклад, что сэр Артур Трейверс никогда не стал бы руководствоваться только личными чувствами, сколь бы сильны они ни были. Он слишком дорожит своим общественным положением. Ведь он из числа тех людей, которых не удовлетворяет даже удовлетворенное честолюбие. Право, я не знаю другого подобного человека, который прилагал бы столько усилий, лишь бы сохранить достигнутое. Нет, поверьте, вы извлекли ложную мораль из его страстной проповеди. Если он упорно продолжал в том же духе, стало быть, он совершенно убеждён в своей правоте и надеется возглавить какое-то политическое движение против заговора, о котором шла речь. У него непременно были веские причины требовать осуждения Орма и не менее веские причины полагать, что требование это будет удовлетворено. Ведь факты говорят в его пользу. И такая самоуверенность не сулит обвиняемому ничего доброго.

Тут он увидел среди собравшихся тихого, незаметного человечка.

— Ну-с, отец Браун, — сказал он с улыбкой, — каково ваше мнение относительно того, как ведётся у нас судебный процесс?

— Ну-с, — отвечал ему в тон отец Браун, — пожалуй, меня более всего поражает прелюбопытное обстоятельство: оказывается, парик может преобразить человека до неузнаваемости. Вот вы удивлялись, что обвинитель метал громы и молнии. А мне доводилось видеть, как он на минутку снимал свой парик, и, право же, передо мной оказывался совершенно другой человек. Начнём с того, что он совсем лысый.

— Боюсь, что это никак не могло помешать ему метать громы и молнии, — возразил Бэгшоу. — Едва ли мыслимо построить защиту на том факте, что обвинитель лыс, ведь верно?

— Верно, но лишь отчасти, — добродушно отозвался отец Браун. — Говоря откровенно, я размышлял о том, как, в сущности, мало люди одного круга знают о людях, принадлежащих к совершенно иному кругу. Допустим, я оказался бы среди людей, слыхом не слыхавших про Англию. Допустим, я рассказал бы им, что у меня на родине живёт человек, который даже под страхом смерти не задаст ни одного вопроса, покуда не водрузит на голову сооружение из конского волоса с мелкими косичками на затылке и седоватыми кудряшками по бокам, как у пожилой матроны викторианских времен. Они сочли бы это нелепой прихотью. А ведь прокурор отнюдь не склонен к прихотям, он всего-навсего привержен к светским условностям. Но те люди сочли бы это прихотью, поскольку понятия не имеют об английских юристах и вообще не знают даже, что такое юрист. Ну а юрист, в свою очередь, не знает, что такое поэт. Он не понимает, что прихоть одного поэта вовсе не представляется другим поэтам прихотью. Ему кажется нелепым, что Орм гулял по изумительно красивому саду два часа, предаваясь полнейшему безделью. Боже правый! Да ведь поэт примет как должное, если узнает, что некто бродил по этому саду целых десять

часов подряд, сочиняя стихотворение. Даже защитник Орма решительно ничего тут не понял. Ему и в голову не пришло задать обвиняемому вопрос, который напрашивается сам собой.

— Что же это за вопрос? — осведомился Бэгшоу.

— Помилуйте, разумеется, надо было спросить, какое стихотворение он сочинял в ту ночь, — ответил отец Браун, начиная терять терпение, — какая именно строчка ему не удавалась, какого эпитета он искал, какого совершенства стремился достичь. Будь в суде люди с образованием, способные понять, что такое литература, они сообразили бы без малейшего труда, что Оорм занимался там настоящей работой. Фабриканта вы непременно спросили бы, как идут дела у него на фабрике. Но никого не интересуют обстоятельства, при которых создаются стихи. Ведь сочинять стихи — всё равно что предаваться безделью.

— Ваши доводы превосходны, — сказал сыщик, — но зачем же тогда он скрывался? Зачем залез по винтовой лесенке наверх и торчал там — ведь лесенка эта никуда не вела!

— Помилосердствуйте, да именно затем, что она никуда не вела, это яснее ясного! — воскликнул отец Браун, приходя в волнение. — Ведь всякий, кто хоть мельком видел галерею над садом, уводящую в полуночную тьму, легко может понять, что творческою душу неудержимо повлечёт туда, как малого ребёнка.

Он умолк и стоял, помаргивая, в полнейшем молчании, а потом сказал извиняющимся тоном:

— Простите великодушно, хотя мне кажется странным, что ни один из присутствовавших не принял во внимание столь простых обстоятельств дела. Но было ещё одно немаловажное обстоятельство. Разве вы не знаете, что поэт, как и художник, находит один-единственный ракурс. Всякое дерево, или, скажем, пасущаяся корова, или проплывающее над головой облачко в известном отношении исполнены глубокого смысла, точно так же буквы составляют слово, только лишь если их поставить в строго определённом порядке. Ну вот, исключительно с той высокой галереи можно было увидеть сад в нужном ракурсе. Вид, который открывался оттуда, так же невообразим, как четвёртое измерение. Это было нечто вроде колдовской перспективы, вроде взгляда на небо сверху вниз, когда звёзды словно растут на деревьях, а светящийся пруд подобен луне, упавшей на землю, как в волшебной сказке из тех, что рассказывают детям на сон грядущий. Оорм мог бы созерцать всё это до бесконечности. Скажите вы ему, что путь этот никуда не ведёт, поэт ответил бы, что он уже привёл его на самый край света. Но неужели вы полагаете, что он мог бы вымолвить такое, когда давал свидетельские показания? И если бы даже у него язык повернулся это вымолвить, что сказали бы вы сами? Вот вы рассуждаете о том, что человека должны судить равные ему. Так почему же среди присяжных не было поэтов?

— Вы говорите так, будто вы сами поэт, — сказал Бэгшоу.

— Благодарение господу, это не так, — отвечивал отец Браун. — Благодарение всемилостивому господу, священник милосердней поэта. Избави вас бог узнать, какое испепеляющее, какое жесточайшее презрение испытывает этот поэт ко всем вам, — лучше уж броситься в Ниагарский водопад.

— Возможно, вы глубже меня знаете творческую душу, — сказал Бэгшоу после продолжительного молчания. — Но в конечном счёте мой ответ проще простого. Вы способны лишь утверждать, что он мог бы сделать то, что сделал, и при этом не совершить преступления. Но в равной мере можно принять за истину, что он, однако же, преступление совершил. И позвольте спросить, кто, кроме него, мог совершить это преступление?

— А вы не подозреваете лакея по фамилии Грин? — спросил отец Браун задумчиво. — Ведь он дал довольно путанные показания.

— Вон что, — перебил его Бэгшоу. — По-вашему, стало быть, выходит, что преступление совершил Грин.

— Я глубоко убежден в обратном, — возразил священник. — Я только спросил ваше мнение относительно этого странного происшествия. Ведь отлучался он по пустячной причине, просто-напросто захотел выпить, или пошёл на свидание, или что-нибудь в этом

роде. Но вышел он в калитку, а обратно перелез через садовую изгородь. Иными словами, это значит, что дверь он оставил открытой, а когда вернулся, она была уже заперта. Почему? Да потому что Некий Незнакомец уже вышел через неё.

— Убийца, — неуверенно пробормотал сыщик. — Вы знаете, кто он?

— Я знаю, как он выглядит, — отвечал отец Браун невозмутимо. — Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня на глазах входит в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей, я вижу его, вижу, как он одет, вижу даже черты его лица!

— Как прикажете вас понимать?

— Он очень похож на сэра Хэмфри Гвинна, — отвечал священник.

— Что за чертовщина, в самом-то деле? — спросил Бэгшоу. — Ведь я же видел, Гвинн лежал мёртвый, уронив голову в пруд.

— Ну да, это само собою, — ответствовал отец Браун.

Помолчав, он продолжал неторопливо:

— Вернёмся к вашей гипотезе, превосходной во всех отношениях, хотя я лично не вполне с вами согласен. Вы полагаете, что убийца вошёл через парадную дверь, застал судью в прихожей, затеял с ним борьбу и разбил вдребезги зеркало, после чего судья бежал в сад, где его и пристрелили. Однако же мне всё это кажется мало правдоподобным. Допустим, судья и в самом деле пытался через всю прихожую, а затем через коридор, но всё равно у него была возможность избрать один из двух путей к отступлению: он мог направиться либо в сад, либо же — во внутренние комнаты. Вероятнее всего, он избрал бы путь, который ведёт внутрь дома, не так ли? Ведь там в кабинете, лежал заряженный пистолет, там же у него и телефонный аппарат стоит. Да и лакей его был там, или, по крайней мере, он имел основания так думать. Более того, даже к своим соседям он оказался бы тогда ближе. Так почему он отворил дверь, которая ведёт в сад, теряя драгоценные секунды, и выбежал на зады, где не от кого было ждать помощи?

— Но ведь нам точно известно, что он вышел из дома в сад, — нерешительно промолвил его собеседник. — Это известно нам совершенно точно, ведь там его и нашли

— Нет, он не выходил из дома по той простой причине, что его в доме не было, — возразил отец Браун. — С вашего позволения, я имею в виду ночь убийства. Он был тогда во флигеле. Уж это я, словно астролог, сразу прочитал в темноте по звёздам, да, по тем красным и золотым звёздочкам, которые мерцали в саду. Ведь щит включения находится во флигеле: лампочки не светились бы вообще, не будь сэра Хэмфри во флигеле. Потом он пытался укрыться в доме, вызвать по телефону полицию, но убийца застрелил его на крутом берегу пруда.

— А как же тогда разбитый цветочный горшок, и опрокинутая пальма, и осколки зеркала? — вскричал Бэгшоу. — Да ведь вы сами всё это обнаружили! Вы сами сказали, что в прихожей была жестокая схватка.

Священник смущенно моргнул.

— Да неужели? — произнёс он едва слышно. — Право, не может быть, чтобы я такое сказал. Во всяком случае, у меня и в мыслях этого не было. Насколько мне помнится, я сказал только, что в прихожей нечто произошло. И там действительно нечто произошло, но это была не схватка.

— В таком случае, почему же разбито зеркало? — резко спросил Бэгшоу.

— Потому что в него попала пуля, — внушительно отвечал отец Браун. — Пулю эту выпустил преступник. А пальму, вероятно, опрокинули разлетевшиеся куски зеркала.

— Ну и куда ещё мог он палить, кроме как в Гвинна? — спросил сыщик.

— Право, это уже принадлежит к области метафизики, — произнёс церковнослужитель скушающим голосом. — Разумеется, в известном смысле он метил в Гвинна. Но дело в том, что Гвинна там не было, и, значит, выстрелить в него убийца никак не мог. Он был в прихожей один.

Священник умолк на мгновение, потом продолжал невозмутимо:

— Вот у меня перед глазами зеркало, то самое, что висело тогда в углу, ещё

целехонькое, а над ним длиннолистная пальма. Вокруг полумрак, в зеркале отражаются серые, однообразные стены, и вполне может почудиться, что там коридор. И ещё может почудиться, будто человек, отражённый в зеркале, идёт из внутренних комнат. Вполне может также почудиться, будто это хозяин дома, если только отражение имело с ним хотя бы самое отдалённое сходство.

— Подождите! — вскричал Бэгшоу. — Я, кажется, начинаю...

— Вы начинаете всё понимать сами, — сказал отец Браун. — Вы начинаете понимать, отчего все, подозреваемые в этом убийстве, заведомо невиновны. Ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог принять своё отражение за Гвинна. Оорм сразу узнал бы свою шапку жёлтых волос, которую никак не спутаешь с лысиной. Флуд увидел бы рыжую шевелюру, а Грин — красную жилетку. К тому же все трое низкого роста и одеты скромно, а потому ни один из них не счёл бы своё отражение за высокого, худощавого, пожилого человека во фраке. Тут нужно искать кого-то другого, такого же высокого и худощавого. Поэтому я и сказал, что знаю внешность убийцы.

— И что же вы хотите этим доказать? — спросил Бэгшоу пристально глядя на него.

Священник издал отрывистый, хрипловатый смешок, который резко отличался от его обычного мягкого голоса.

— Я хочу доказать, что ваше предположение смехотворно и попросту немыслимо, — отвечал он.

— Как вас понимать?

— Я намерен построить защиту обвиняемых, — сказал отец Браун, — на том факте, что прокурор лыс.

— Господи боже! — тихо промолвил сыщик и встал, озираясь по сторонам.

А отец Браун возобновил свою речь и произнёс невозмутимым тоном:

— Вы проследили действия многих людей, причастных к этому делу, вы, полисмены, очень интересовались поступками поэта, лакея и журналиста из Ирландии. Но вы совершенно забыли о поступках самого убитого. Между тем его лакей был искренне удивлён, когда узнал, что хозяин возвратился так неожиданно. Ведь судья уехал на званный обед, который не мог быстро кончиться, поскольку там присутствовали все светила юриспруденции, а Гвинн вдруг уехал оттуда домой. Он не захворал, потому что не просил вызвать врача, можно сказать почти с уверенностью, что он поссорился с кем-то из выдающихся юристов. Среди этих юристов нам и следовало в самую первую очередь искать его недруга. Итак, судья вернулся домой и ушёл в свой флигель, где хранил все личные бумаги, касавшиеся государственной измены. Но выдающийся юрист, который знал, что в этих бумагах содержатся какие-то улики против него, сообразил последовать за судьёй, намеревавшимся его уличить. Он тоже был во фраке, только в кармане этого фрака лежал револьвер. Вот и вся история: никто даже не заподозрил бы истины, если б не зеркало.

Мгновение он задумчиво вглядывался в даль, а потом заключил:

— Странная это штука — зеркало: рама, как у обыкновенной картины, а между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причём очень живых и мгновенно исчезающих навеки. Да, было нечто странное в зеркале, что висело в конце этого коридора с серыми стенами, под зелёной пальмой. Можно сказать, это было волшебное зеркало, ведь у него совсем особая судьба, потому что отражения, которые в нём появлялись, пережили его и витали в воздухе среди сумерек, наполнявших дом, словно призраки, или, по крайней мере, остались, словно некая отвлечённая схема, словно основа доказательства. По крайней мере, мы могли, будто с помощью заклинания, вызвать из небытия то, что увидел сэр Артур Трейверс. Кстати, в словах, которые вы сказали о нём, была доля истины.

— Рад это слышать, — отозвался Бэгшоу несколько угрюмо, но добродушно. — Какие же это слова?

— Вы сказали, — объяснил священник, — что у сэра Артура, вероятно, есть веские причины постараться отправить Орма на виселицу.

Неделю спустя священник снова встретился с сыщиком и узнал, что соответствующие

власти уже начали новое дознание, но оно было прервано сенсационным событием.

— Сэр Артур Трейверс... — начал отец Браун.

— Сэр Артур Трейверс мёртв, — коротко сказал Бэгшоу.

— Вот как! — произнёс священник прерывающимся голосом. — Стало быть, он...

— Да, — подтвердил Бэгшоу, — он снова выстрелил в того же самого человека, только уже не отражённого в зеркале.

ТАЙНА ФЛАМБО

— ...Те убийства, в которых я играл роль убийцы... — сказал отец Браун, ставя бокал с вином на стол.

Красные тени преступлений вереницей пронесли перед ним.

— Правда, — продолжал он, помолчав, — другие люди совершали преступление раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль назубок. Сейчас я вам поясню: когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определённых психологических условиях, именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение.

Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников. Но мятежный поэт не станет убивать за это, вы поймёте почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез, сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж — не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события, они нужны ему, ещё и ещё. Потом я подумал о другом пессимисте, о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что, если бы не благодать, я сам бы стал, быть может, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп, мирским, светским человеком, который живёт только для этого мира и не верит в другой; тем, кто может вырвать из тьмы крошечной только успех и удовольствия. Вот кто пойдёт на всё, если встанет под угрозу его единственный мир! Не мятежник, а мещанин способен на любое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. Представьте себе, что значит разоблачение для преуспевающего судьи. Ведь вышло бы наружу то, чего его мир, его круг действительно не терпит, — государственная измена. Если б я оказался на его месте и у меня была бы под рукой только его философия, один бог знает, чего бы я натворил.

— Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато, — сказал Чейс.

— Многие думают, — серьёзно ответил Браун, — что милосердие и смирение мрачны. Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь: им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все ж лучше, чем магия!

Чейс задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умён, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы всё это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком — и с сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой

фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населён тёмными тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскалённой печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина.

— Мрачно, ничего не поделаешь, — признался Чейс. — Может, это не лучше магии. Одно скажу вам, наверное, было интересно. — Он помолчал. — Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший.

— Я имею дело только с истинными происшествиями, — ответил Браун. — Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное.

— В особенности когда это сенсационное преступление, — сказал Чейс.

— Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное, — ответил священник.

— Не понимаю, — промолвил Чейс.

— Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей, — сказал отец Браун. — Например, изумрудного ожерелья, или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубина, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех, других, драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же, мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность.

Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным. Это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он «вывел на чистую воду» профессора чёрной и белой магии или ещё какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые «видят насквозь» несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. Тот, кто пытался разоблачить пророка, украл рубин; тот, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры, украл ожерелье. Такие люди всегда равнодушны к драгоценностям, они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они и становятся преступниками.

Правда, нужно очень стараться, чтобы низвести себя до такого низкого уровня. Для того чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу. Но это можно... Вы можете сделать так: вообразите себя сначала ребёнком — сладкоежкой; думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти; о том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе. Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию; погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку, вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей. Сузьте ваш дух, как фокус камеры. И вот — свершилось!

Он говорил так, словно его посетило видение.

Грэндисон Чейс всё ещё смотрел на него, хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, ещё не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, за которого он его на минуту принял. Но всё ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, всё-таки он чуточку помешан?

— Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника, делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?

Отец Браун выпрямился и заговорил более чётко:

— Как раз наоборот! Это решает всю проблему времени и греха: вы, так сказать,

раскаиваетесь впрок.

Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины двора, хозяин, не шевелясь, глядел в огонь. Вновь раздался голос священника, теперь он звучал иначе — казалось, что он доносится откуда-то снизу.

— Есть два пути борьбы со злом, — сказал он. — И разница между этими двумя путями, быть может, глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко. Другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель, и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха.

Никто не ответил ему, и он продолжал так же весело, словно ронял слова из расплавленного олова.

— Вы называете преступление ужасным потому, что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным потому, что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия; но, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник...

— Если бы тут появился преступник, — улыбнулся Чейс, — то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили, что ничего нет естественней, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории и гипотезы — пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мосье Дюрока, и знаем, как мы все добропорядочны, мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности у печки и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника.

Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла, его огромная тень, казалось, покрыла все кругом, и сама тьма стала темнее.

— Среди нас есть преступник, — сказал он. — Я — Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий.

Американец глядел на него сверкающими остановившимися глазами; он не мог ни пошевелинуться, ни заговорить.

— В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор, — сказал Фламбо. — Двадцать лет я крал этими самыми руками, двадцать лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж. Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником. Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением! Сколько поучительных лекций я выслушал! Сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко! Сколько раз мне твердили, что ни один мало-мальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха! Что вызывала во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал.

Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грэндисон Чейс глубоко, со свистом вздохнул.

— Всё, что я вам сказал, правда! — закончил Фламбо. — Теперь вы можете выдать меня полиции.

Воцарилось мёртвое молчание, только из высокого тёмного дома доносился детский смех да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейс, могло бы показаться неожиданным всякому, кто незнаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству.

— Мосье Дюрок! — сказал Чейс довольно сухо. — Мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость

только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?

— Кажется, я могу, — сказал отец Браун.

СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ОТЦОМ БРАУНОМ

Было бы нечестно, повествуя о приключениях отца Брауна, умолчать о той скандальной истории, в которую он оказался однажды замешан. И по сей день есть люди — наверное, даже среди его прихожан, — утверждающие, что имя его запятнано. Случилось это в Мексике, в живописной придорожной гостинице с несколько сомнительной репутацией, как выяснилось позже. По мнению некоторых, в тот раз пристрастие к романтике и сочувствие человеческим слабостям толкнули отца Брауна на совершенно безответственный и даже безнравственный поступок. Сама по себе история очень проста, своей простотой-то она и удивительна.

Троя погибла из-за Елены, этот же прискорбный случай произошёл по вине прекрасной Гипатии Поттер.

Американцы отличаются особым талантом (который европейцы не всегда умеют ценить) создавать авторитеты снизу, так сказать, по инициативе широкой публики. Как всё хорошее на свете, такой порядок имеет свои светлые стороны; одна из них, уже отмеченная мистером Уэллсом и другими, состоит, например, в том, что человек может пользоваться влиянием, не занимая при этом никакого поста. Красивая женщина играет роль некоронованной королевы, даже если она не кинозвезда и не стопроцентная американка по Гибсону. И вот среди красавиц, имевших счастье — или несчастье — быть у всех на виду, оказалась некая Гипатия Хард. Она уже прошла подготовку под карточку цветистых комплиментов в разделах светской хроники местных газет и достигла положения особы, у которой стремятся получить интервью настоящие журналисты. Очаровательно улыбаясь, она успела высказаться о Войне и Мире, о Патриотизме и Сухом законе, об Эволюции и Библии. Ни один из этих вопросов не затрагивал основ её популярности, да и трудно, пожалуй, сказать, на чём она, собственно, основывалась, эта её популярность. Красота и богатый папаша — не редкость у неё на родине, но в ней было ещё что-то особо притягательное для блуждающего ока прессы. Почти никто из поклонников в глаза её не видел и даже не надеялся увидеть, и ни один не рассчитывал извлечь для себя пользу из доходов её отца. Её популярность была просто романтической легендой, современным субститутотом мифологии, и на этом фундаменте впоследствии выросла другая романтическая легенда, более красочная и бурная, героиней которой предстояло ей стать и которая, как думали многие, вдребезги разнесла репутацию отца Брауна, а также и некоторых других людей.

Те, кому американская сатира дала прозвище «сестер-плакальщиц»²⁴, вынуждены были принять — одни восторженно, другие покорно — её брак с одним весьма достойным и всеми уважаемым бизнесменом по фамилии Поттер. Считалось позволительным даже называть её иногда миссис Поттер, при этом само собой разумелось, конечно, что её муж — всего только муж миссис Поттер.

И тут разразился большой скандал, превзошедший самые заманчивые опасения её недругов и друзей. Имя Гипатии Поттер стали связывать с именем некоего литератора, проживавшего в Мексике, американца по подданству, но весьма латинского американца по духу. К сожалению, его пороки, как и её добродетели, всегда служили лакомой пищей для газетных репортёров. Это был не кто иной, как прославленный — или обесславленный —

²⁴ «Сестры-плакальщицы» — насмешливое название американских журналисток сентиментального направления.

Рудель Романес, поэт, чьи книги завоевали всемирную популярность благодаря изъятиям из библиотек и преследованиям со стороны полиции. Как бы то ни было, но ясная и мирная звезда Гипатии Поттер блистала теперь на небосводе в непосредственной близости с этой кометой. Он действительно походил на комету, поскольку был волосат и горяч, первое явствовало из портретов, второе — из стихов. И как всякая комета, он обладал разрушительной силой, за ним в виде огненного хвоста тянулась цепь разводов, что одни объясняли его успехами в роли любовника, а другие — провалами в роли мужа. Гипатии приходилось нелегко. Человек, который должен на глазах у публики вести безупречную личную жизнь, испытывает свои трудности — чувствует себя манекеном в витрине, где для всеобщего обозрения оборудован уютный домашний уголок. Газетные репортёры публиковали какие-то туманные фразы относительно Великого Закона Любви и Высшего Самовыражения. Язычники ликовали. «Сестры-плакальщицы» допустили в своих комментариях нотку романтического сожаления, у некоторых из них, наиболее закалённых, даже хватило смелости процитировать строки из известного стихотворения Мод Мюллер о том, что на свете нет слов печальнее, чем «Это могло бы быть...» А мистер Эгер П. Рок, ненавидевший «сестер-плакальщиц» праведной лютой ненавистью, заявил, что по данному поводу он полностью солидарен с Брет-Гартом, предложившим свой вариант известного стихотворения:

Куда печальнее нам видеть вещи суждено.
Так есть, однако ж быть так не должно.

Ибо мистер Рок был твёрдо — и справедливо убеждён в том, что очень многого не должно было бы быть.

Он беспощадно и яростно критиковал деградацию общества на страницах газеты «Миннеаполисский метеор» и вообще был человек смелый и честный. Быть может, в своём негодовании он проявлял некоторую односторонность, но это чувство было у него здоровой реакцией на сентиментальную манеру современной прессы и так называемого общественного мнения смешивать праведное и неправедное. И прежде всего он боролся против того святотатственного ореола славы, которым окружаются бандиты и гангстеры. Правда, в своём раздражении он чересчур склонен был исходить из предпосылки, что все гангстеры латиноамериканцы, а все латиноамериканцы — гангстеры. Однако этот его предрассудок, хотя, быть может, и отдающий провинцией, всё же производил освежающее впечатление в той атмосфере восторженно-трусливого поклонения героям, когда профессиональный убийца почитался как законодатель мод, если только, по отзывам печати, он улыбался неотразимой улыбкой и носил безупречный смокинг.

К моменту, когда, собственно, начинается эта история, предубеждения против латиноамериканцев переполнили душу мистера Рока, потому что он как раз находился на их территории; решительно и гневно шагая вверх по холму, он направлялся к белому зданию отеля в живописном кольце пальм, где, по слухам, остановились Поттеры и, стало быть, находился двор таинственной королевы Гипатии. Эгер Рок даже с виду был типичный пуританин, скорей даже, пожалуй, мужественный пуританин XVII столетия, а не один из тех менее жестоких и более грамотных их потомков, которые расплодились в XX веке. Если б ему сказали, что его необычная старомодная чёрная шляпа, обычный хмурый взор и суровое, как из камня высеченное лицо набрасывают мрачную тень на солнечные пальмы и виноградники, он, несомненно, был бы польщен. Влево и вправо устремлял он взор, горящий неусыпным подозрением. И вдруг на гребне холма, впереди себя, на фоне субтропического заката увидел силуэты двух фигур в таких позах, которые и у менее подозрительного человека могли бы возбудить кое-какие подозрения.

Один из тех двоих выглядел сам по себе примечательно. Он стоял как раз в том месте, где дорога переваливает через холм, чётко рисуясь на фоне неба над долиной, словно нарочно выбрал и эту позицию, и эту позу. Закутанный в широкий чёрный плащ, в

байроническом стиле, он высоко вскинул голову, которая в своей тёмной красе была удивительно похожа на голову Байрона. Те же выющиеся волосы, те же глубоко вырезанные ноздри, и даже нечто вроде того же презрения к миру и негодования сквозило во всей его фигуре. В руке он сжимал довольно длинную палку, или, вернее, трость с острым наконечником: какими пользуются альпинисты, и сейчас она казалась фантастическим подобием копья. Впечатление это ещё усиливалось благодаря контрасту с комическим обликом второго человека, державшего в руке зонт. Это был совершенно новый, тщательно свёрнутый зонт, совсем не такой, например, как знаменитый зонт отца Брауна. И сам приземистый, толстый человек с бородкой был одет аккуратно, точно клерк, в лёгкий воскресный костюм. Но прозаический его зонт был угрожающе поднят, словно изготовлен к нападению. Защищаясь, высокий человек с палкой быстро шагнул ему навстречу, но тут вся сцена вдруг приобрела комический вид: зонт сам собой раскрылся, заслонив своего упавшего владельца, и противник его оказался в позе рыцаря, пронзающего копьем карикатурное подобие щита. Но он не стал заходить дальше и вонзать копьё глубже; выдернув остриё своей трости, он с раздражением отвернулся и зашагал по дороге прочь. Коротенький человечек поднялся с земли, аккуратно сложил зонт и тоже зашагал по дороге, но в противоположном направлении, к отелю. Рок не слышал ни слова из того, что было сказано сторонами этого нелепого вооруженного конфликта, но, идя по дороге вслед за коротеньким бородатым человеком, он о многом успел подумать. Романтический плащ и несколько опереточная красота одного из них в сочетании со стойкой самообороной другого как нельзя лучше совпадали с той историей, ради которой он приехал в Мексику, и он заключил, что этих двоих зовут Романес и Поттер. Догадка его полностью подтвердилась, когда, войдя из-под колоннады в вестибюль, он услышал голос бородатого, звучавший не то сварливо, не то повелительно. По-видимому, он говорил с управляющим или с кем-то из прислуги и, насколько разобрал Рок, предостерегал их против какого-то весьма опасного субъекта, появившегося в округе.

— Даже если он уже побывал в отеле, — говорил бородатый в ответ на какие-то неразборчивые возражения, — я всё же настаиваю, чтобы больше его не впускали. За такими типами должна следить полиция, и, уж во всяком случае, я не позволю, чтобы он докучал леди.

В мрачном молчании слушал его Рок, и уверенность его росла; затем он проскользнул через вестибюль к нише, где находилась книга для записи приезжих, и, раскрыв её на последней странице, убедился, что «тип» действительно побывал в отеле: имя Руделя Романеса, этой романтической знаменитости, было вырисовано в книге крупными буквами иностранного вида, а немного пониже, довольно близко друг от друга, стояли имена Гипатии Поттер и Элиса Т. Поттера, выписанные добропорядочным и вполне американским почерком.

Эгер Рок недовольно озирался и повсюду вокруг себя, даже в небогатой внутренней отделке отеля, видел то, что было ему больше всего ненавистно. Может быть, и неразумно негодовать из-за того, что на апельсиновых деревьях — даже на тех, что растут в кадках, — зреют апельсины; ещё того неразумнее возмущаться, что ими пестрят старенькие занавески и выцветшие обои. Но для него, как ни странно, эти узоры в виде красно-золотых солнц, перемежающихся кое-где серебряными лунами, были квинтэссенцией всего самого недопустимого. Они воплощали в его глазах слабохарактерность и падение нравов, которые он, исходя из своих принципов, осуждал в современном обществе и которые он, исходя из своих предрассудков, связывал с теплом и негой юга. Его раздражал даже вид потемневшего полотна, на котором неясно вырисовывался неизменный пастушок Ватто²⁵ со своей гитарой, или голубой кафель с обязательным купидончиком верхом на дельфине. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что все эти предметы он, наверное, не раз видел в витринах магазинов на

²⁵ Ватто Антуан (1684 – 1721) — французский художник.

Пятой авеню, однако здесь они были для него дразнящими голосами сирен — исчадий языческого Средиземноморья. Внезапно всё вокруг него переменялось, как меняется неподвижное отражение в зеркале, когда по нему промелькнёт быстролётная тень, и комнату наполнило чьё-то требовательное присутствие. Он медленно, даже нехотя, обернулся и понял, что перед ним — знаменитая Гипатия, о которой он столько читал и слышал в течение многих лет.

Гипатия Поттер, урождённая Хард, обладала той особенной красотой, в применении к которой эпитет «лучистая» сохраняет своё первоначальное, прямое значение: её воспетая газетчиками Индивидуальность исходила от неё в виде ослепительных лучей. Она не стала бы менее красивой и сделалась бы, кое на чей вкус, только более привлекательной, если бы не столь щедро одаривала всех этими лучами, но её учили, что подобная замкнутость — чистейший эгоизм. Она могла бы сказать, что целиком отдала себя на службу обществу; правильнее было бы сказать, что она, наоборот, обрела себя на службе обществу; но так или иначе служила она обществу вполне добросовестно. И поэтому её ослепительные голубые глаза действительно разили, точно мифические стрелы Купидона, которые убивают на расстоянии. Впрочем, цели, которых она при этом добивалась, носили абстрактный характер, выходящий за пределы обычного кокетства. От белокурых, почти бесцветных волос, уложенных вокруг головы в виде ангельского нимба, казалось, исходила электрическая радиация. Когда же она поняла, что стоящий перед ней незнакомец — не кто иной, как мистер Эгер Рок из «Миннеаполисского метеора», её глаза заработали, как сверхмощные прожекторы, обшаривающие горизонты Соединённых Штатов.

Однако на этот раз, как вообще иногда случалось, прекрасная дама ошиблась. Сейчас Эгер Рок не был Эгером Роком из «Миннеаполисского метеора». Он был просто Эгером Роком, и в душе его возник могучий и чистый моральный порыв, не имевший ничего общего с грубой деятельностью газетного репортёра. Сложное, смешанное — рыцарское и национальное — чувство красоты и вдруг родившаяся потребность немедленно совершить какой-нибудь высоконравственный поступок, — также черта национальная, — придали ему храбрости выступить в новой возвышенно-оскорбительной роли. Он припомнил другую Гипатию, прекрасную последовательницу неоплатоников, припомнил свой любимый эпизод из романа Кингсли²⁶, где молодой монах бросает героине упрёк в распутстве и идолопоклонстве. И, остановившись перед Гипатией Поттер, строго и твёрдо произнёс:

— Прошу прощенья, мадам, но я хотел бы сказать вам несколько слов с глазу на глаз.

— Ну, что ж, — ответила она, обводя комнату своим сияющим взором, — только можно ли считать, что мы с вами здесь с глазу на глаз?

Рок тоже оглядел комнату, но не увидел никаких признаков жизни, кроме апельсиновых деревьев в кадках да ещё одного предмета, который был похож на огромный чёрный гриб, но оказался шляпой какого-то священника, флегматично кутившего чёрную мексиканскую сигару и в остальном столь же неподвижного, как и всякое растение. Задержав взгляд на тяжёлых, невыразительных чертах его лица, Рок отметил про себя деревенскую неотёсанность, довольно обычную для священников латинских и в особенности latinoамериканских стран, и, рассмеявшись, слегка понизил голос.

— Ну, не думаю, чтоб этот мексиканский падре понимал наш язык. Где этим ленивым увальням выучить какой-нибудь язык, кроме своего! Конечно, я не поклянусь, что он мексиканец, он может быть кем угодно: метисом или мулатом, например. Но что это не американец, я ручаюсь, — среди нашего духовенства нет таких низкосортных типов

— Собственно говоря, — произнёс низкосортный тип, вынув изо рта чёрную сигару, — я англичанин. Моя фамилия Браун. Но могу, если угодно, уйти отсюда, чтобы не мешать вам.

— Если вы англичанин, — в сердцах обратился к нему Рок, — вы должны испытывать естественный нордический протест против всего этого безобразия. Довольно, если я скажу,

²⁶ Кингсли Чарльз (1819 – 1875) — английский писатель и англиканский священник.

что здесь, в окрестностях отеля, бродит чрезвычайно опасный человек, высокого роста, в плаще, как эти безумные стихотворцы со старинных портретов.

— Ну, это ещё мало о чём говорит, — мягко заметил священник, — такие плащи здесь носят очень многие, потому что после захода солнца сразу становится холодно.

Рок метнул на него мрачный настороженный взгляд, как будто бы подозревал тут какую-то увёртку в пользу широкополых шляп и лунного света.

— Дело не только в плаще, — проворчал он, — хотя, конечно, надет он был странно. Весь облик этого человека — театральный, вплоть до его проклятой театральной красоты. И если вы позволите, мадам, я бы настоятельно советовал вам не иметь с ним ничего общего, вздумай он сюда явиться. Ваш муж уже приказал служащим отеля не впускать его...

Но тут Гипатия вскочила и каким-то странным жестом закрыла лицо, запустив пальцы в волосы. Казалось, тело её сотрясали рыдания, но когда она снова взглянула на Рока, обнаружилось, что она хохочет.

— Ах, какие же вы смешные! — проговорила она и, что было совсем не в её стиле, со всех ног бросилась к двери и исчезла.

— Этот смех похож на истерику, — немного смутившись, заметил Рок и растерянно обратился к маленькому священнику: — Понимаете, я считаю, что раз вы англичанин, то, во всяком случае, должны быть на моей стороне против разных этих латинян. Право, я не из тех, кто разглагольствует об англосаксах, но ведь есть же такая наука, как история. Всегда можно доказать, что цивилизацию Америке дала Англия.

— Следует также признать, дабы смирить нашу гордыню, — сказал отец Браун, — что Англии цивилизацию дали латиняне.

И опять у Рока появилось неприятное чувство, что собеседник в чём-то скрытно и неуловимо его опровергает, отстаивая ложные позиции; и он буркнул, что не понимает, о чём идёт речь.

— А как же, был, например, один такой латинянин, или, может, правильнее сказать, итальяшка, по имени Юлий Цезарь, его ещё потом зарезали: сами знаете, как они любят поножовщину. И был другой, по имени Августин²⁷, который принёс христианство на наш маленький остров. Без этих двух невелика была бы сейчас наша цивилизация.

— Ну, это всё древняя история, — раздражённо сказал журналист. — А я интересуюсь современностью. И я вижу, что эти негодяи несут язычество в нашу страну и уничтожают остатки христианства. И к тому же уничтожают остатки нашего здравого смысла. Установившиеся обычаи, твёрдые общественные порядки, традиционный образ жизни фермеров, какими были наши отцы и деды, — всё, всё превращается в этакую горячую кашу, сдобренную нездоровыми чувствами и сенсациями по поводу разводов кинозвёзд, и теперь глупые девчонки стали считать, что брак — это всего лишь способ получить развод.

— Совершенно верно, — сказал отец Браун. — Разумеется, в этом я полностью с вами согласен. Но не будем судить слишком строго. Возможно, что южане действительно несколько более подвержены слабостям такого рода. Нельзя забывать, однако, что и у северян есть свои слабости. Может быть, здешняя атмосфера в самом деле излишне располагает к простой романтике...

Но при последнем слове извечное негодование вновь забушевало в груди Эгера Рока.

— Ненавижу романтику, — провозгласил он, ударив кулаком по столу. — Вот уже сорок лет, как я изгоняю это безобразие со страниц тех газет, для которых работаю. Стоит любому проходимцу удрать с какой-нибудь буфетчицей, и это уже называют тайным романтическим браком или ещё того глупее. И вот теперь нашу собственную Гипатию Хард, дочь порядочных родителей, пытаются втянуть в безнравственный романтический бракоразводный процесс, о котором газеты раструбят по всему миру с таким же восторгом,

²⁷ Августин — монах Бенедиктинского ордена, посланный в VI в. в Англию Папой Григорием I для насаждения христианства среди англосаксов, впоследствии первый архиепископ Кентерберийский.

как об августейшем бракосочетании. Этот безумный поэт Романес преследует её, и, можете не сомневаться, вслед за ним сюда передвинется прожектор всеобщего внимания, словно он — кумир экрана, из тех, что у них именуются Великими Любовниками. Я его видел по дороге — у него лицо настоящего киногероя. Ну, а мои симпатии — на стороне порядочности и здравого смысла. Мои симпатии на стороне бедного Поттера, простого, честного биржевого маклера из Питсбурга, полагающего, что он имеет право на собственный домашний очаг. И он борется за него. Я слышал, как он кричал на служащих, чтобы они не впускали того негодяя. И правильно делал. Народ здесь, в отеле, на мой взгляд, хитрый и жуликоватый, но он их припугнул как следует.

— Я склонен разделить ваше мнение об управляющем и служащих этого отеля, — отозвался отец Браун. — Но ведь нельзя же судить по ним обо всех мексиканцах. Кроме того, по-моему, джентльмен, о котором вы говорите, не только припугнул их, но и подкупил, раздав немало долларов, чтобы переманить их на свою сторону. Я видел, как они запирали двери и очень оживленно шептались друг с другом. Кстати сказать, у вашего простого честного приятеля, видимо, куча денег.

— Я не сомневаюсь, что дела его идут успешно, — сказал Рок. — Он принадлежит к типу наших преуспевающих толковых бизнесменов. А вы что, собственно, хотите этим сказать?

— Я думал, может быть, мои слова натолкнут вас на другую мысль, — ответил отец Браун, с тяжеловесной учтивостью простился и вышел из комнаты.

Вечером за ужином Рок внимательно следил за Поттерами. Его впечатления обогатились, хотя ничто не поколебало его уверенности в том, что зло угрожает дому Поттера. Сам Поттер оказался человеком, заслуживающим более пристального внимания: журналист, который вначале счёл его простым и прозаичным, теперь с удовольствием обнаружил черты утончённости в том, кого он считал героем, или, вернее, жертвой происходящей трагедии. Действительно, лицо у Поттера было интеллигентное и умное, однако с озабоченным и временами раздражённым выражением. У Рока создалось впечатление, что этот человек оправляется после недавней болезни; его неопределённого цвета волосы были редкими и довольно длинными, как будто бы их давно не стригли, а весьма необычного вида борода тоже казалась какой-то запущенной. За столом он раза два обратился к своей жене с какими-то резкими язвительными замечаниями, а больше возился с желудочными пилюлями и другими изобретениями медицинской науки. Однако по-настоящему озабочен он был, разумеется, лишь той опасностью, что грозила извне. Его жена подыгрывала ему в великолепной, хотя, может быть, слегка снисходительной манере Терпеливой Гризельды, но глаза её тоже беспрестанно устремлялись на двери и ставни, как будто бы она боялась и в то же время ждала вторжения. После загадочной истерики, которую наблюдал у неё Рок, он имел основания опасаться, что чувства её носят противоречивый характер.

Но главное событие, о котором ведётся здесь речь, произошло поздно ночью. В полной уверенности, что все уже разошлись спать, Рок решил наконец подняться к себе в номер, но, проходя через холл, с удивлением заметил отца Брауна, который сидел в уголке под апельсиновым деревом и невозмутимо читал книгу. Они обменялись пожеланиями спокойной ночи, и журналист уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, как вдруг наружная дверь подпрыгнула на петлях и заходила под яростными ударами, которые кто-то наносил снаружи, громовой голос, перекрывая грохот ударов, потребовал, чтобы дверь немедленно открыли. Журналист почему-то был уверен, что удары наносились заострённой палкой вроде альпенштока. Перегнувшись через перила, он увидел, что на первом этаже, где свет уже был погашен, взад и вперёд снуют слуги, проверяют запоры, но не снимают их, удостоверившись в этом, он немедленно поднялся к себе в номер. Здесь он сразу уселся за стол и с яростным воодушевлением принялся писать статью для своей газеты.

Он описывал осаду отеля; его дешёвую пышность, атмосферу порока, хитрые увёртки священника, и сверх всего ужасный голос, проникающий извне, подобно вою волка,

рыщущего вокруг дома. И вдруг мистер Рок выпрямился на своём стуле. Прозвучал протяжный, дважды повторённый свист, который был ему вдвойне ненавистен, потому что напоминал и сигнал заговорщиков, и любовный призыв птиц. Наступила полная тишина. Рок замер, вслушиваясь. Спустя несколько мгновений, он вскочил, так как до него донёсся новый шум. Что-то пролетело, с легким шелестом рассекая воздух, и упало с отчётливым стуком, какой-то предмет швырнули в окно. Повинуясь зову долга, Рок спустился вниз, там было темно и пусто, вернее, почти пусто, потому что маленький священник по-прежнему сидел под апельсиновым деревцем и при свете настольной лампы читал книгу.

— Вы, видимо, поздно ложитесь спать, — сердито заметил Рок.

— Страшная распушенность, — сказал отец Браун, с улыбкой поднимая голову, — читать «Экономику ростовщичества» глубокой ночью.

— Все двери заперты, — сказал Рок.

— Крепко-накрепко, — подтвердил священник. — Кажется, ваш бородатый приятель принял необходимые меры. Кстати сказать, он немного напуган. За обедом он был сильно не в духе, на мой взгляд.

— Вполне естественно, когда у человека прямо на глазах дикари в этой стране пытаются разрушить его семейный очаг.

— Было бы лучше, — возразил отец Браун, — если бы человек, вместо того чтобы оборонять свой очаг от нападения извне, постарался укрепить его изнутри, вы не находите?

— О, я знаю все ваши казуистические увёртки, — ответил его собеседник. — Может быть, он и был резковат со своей женой, но ведь право на его стороне. Послушайте, вы мне кажетесь не таким уж простачком. Вы, наверно, знаете больше, чем говорите. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Почему вы тут сидите всю ночь и наблюдаете?

— Потому что я подумал, — добродушно ответил отец Браун, — что моя спальня может понадобиться.

— Понадобиться? Кому?

— Дело в том, что миссис Поттер нужна была отдельная комната, — с безмятежной простотой объяснил отец Браун. — Ну, я и уступил ей мою, потому что там можно открыть окно. Сходите посмотрите, если угодно.

— Ну, нет. У меня найдётся для начала забота поважнее, — скрежеща зубами, проговорил Рок. — Вы можете откалывать свои обезьяньи шутки в этом мексиканском обезьяннике, но я-то ещё не потерял связи с цивилизованным миром.

Он ринулся к телефонной будке, позвонил в свою редакцию и поведал им по телефону историю о том, как преступный священник оказывал содействие преступному поэту. Затем он устремился вверх по лестнице, вбежал в номер, принадлежавший священнику, и при свете единственной свечи, оставленной владельцем на столе, увидел, что все окна в номере раскрыты настежь.

Он успел ещё заметить, как нечто, напоминающее веревочную лестницу, соскользнуло с подоконника, и, взглянув вниз, увидел на газоне перед домом смеющегося мужчину, который сворачивал длинную верёвку. Смеющийся мужчина был высок и черноволос, а рядом с ним стояла светловолосая, но также смеющаяся дама. На этот раз мистер Рок не мог утешаться даже тем, что смех её истеричен. Слишком уж естественно он звучал. И мистер Рок в ужасе слушал, как звенел этот смех на дорожках сада, по которым она уходила в темноту зарослей со своим трубадуром.

Эгер Рок повернул к священнику лицо — не лицо, а грозный лик Страшного суда.

— Вся Америка узнает об этом, — произнёс он. — Вы, попросту говоря, помогли ей сбежать с её кудрявым любовником.

— Да, — сказал отец Браун. — Я помог ей сбежать с её кудрявым любовником.

— Вы, считающий себя слугой Иисуса Христа! — воскликнул Рок. — Вы похваляетесь своим преступлением!

— Мне случалось раз или два быть замешанным в преступлениях, — мягко возразил священник. — К счастью, на этот раз обошлось без преступления. Это просто тихая

семейная идиллия, которая кончается при теплом свете домашнего очага.

— Кончается верёвочной лестницей, а надо бы верёвочной петлёй, — сказал Рок. — Ведь она же замужняя женщина.

— Конечно.

— Ну, и разве долг не предписывает ей находиться там, где её муж?

— Она находится там, где её муж, — сказал отец Браун

Собеседник его пришёл в ярость.

— Вы лжете! — воскликнул он. — Бедный толстяк и сейчас ещё храпит в своей постели.

— Вы, видимо, неплохо осведомлены о его личной жизни, — сочувственно заметил отец Браун. — Вы бы, наверно, могли издать жизнеописание Человека с Бородой. Единственное, чего вы так и не удосужились узнать про него, так это — его имя.

— Вздор, — сказал Рок. — Его имя записано в книге для приезжих.

— Вот именно, — кивнул священник. — Такими большими буквами: Рудель Романес. Гипатия Поттер, которая приехала к нему сюда, смело поставила своё имя чуть пониже, так как намерена была убежать с ним, а её муж поставил своё имя чуть пониже её имени, в знак протеста, когда настиг их в этом отеле. Тогда Романес (у которого, как у всякого популярного героя, презиращего род человеческий, куча денег) подкупил этих негодяев в отеле, и они заперли все двери, чтобы не впустить законного мужа. А я, как вы справедливо заметили, помог ему войти.

Когда человек слышит нечто, переворачивающее всё в мире вверх ногами: что хвост виляет собакой, что рыба поймала рыбака, что Земля вращается вокруг Луны, — проходит время, прежде чем он может всерьёз переспросить, не ослышался ли он. Он ещё держится за мысль, что всё это абсолютно противоречит очевидной истине. Наконец Рок произнёс:

— Вы что, хотите сказать, что бородатый человек — это романтик Рудель, о котором так много пишут, а кудрявый парень — мистер Поттер из Питсбурга?

— Вот именно, — подтвердил отец Браун. — Я догадался с первого же взгляда. Но потом удостоверился.

Некоторое время Рок размышлял, а затем проговорил:

— Не знаю, может быть, вы и правы. Но как такое предположение могло прийти вам в голову перед лицом фактов?

Отец Браун как-то сразу смутился, он опустил на стул и с бессмысленным видом уставился перед собой. Наконец лёгкая улыбка обозначилась на его круглом и довольно глупом лице, и он сказал:

— Видите ли, дело в том, что я не романтик.

— Черт вас знает, что вы такое, — грубо вставил Рок

— А вот вы — романтик, — сочувственно продолжал отец Браун. — Вы, например, видите человека с поэтической внешностью и думаете, что он — поэт? А вы знаете, как обычно выглядят поэты? Сколько недоразумений породило одно совпадение в начале девятнадцатого века, когда жили три красавца, аристократа и поэта: Байрон, Гёте и Шелли! Но в большинстве случаев, поверьте, человек может написать. «Красота запечатлела у меня на устах свой пламенный поцелуй», — или что там ещё писал этот толстяк, отнюдь не отличаясь при этом красотой. Кроме того, представляете ли вы себе, какого возраста обычно достигает человек к тому времени, когда слава его распространяется по всему свету? Уотс²⁸ нарисовал Суинберна с пышным ореолом волос, но Суинберн был лысым ещё до того, как его поклонники в Америке или в Австралии впервые услышали об его гиацинтовых локонах. И Д'Аннунцио²⁹ тоже. Собственно говоря, у Романеса до сих пор внешность довольно

²⁸ Уотс Джордж Фредерик (1817 – 1904) — английский художник и скульптор.

²⁹ Д'Аннунцио Габриеле (1863 – 1938) — итальянский писатель.

примечательная — вы сами можете в этом убедиться, если приглядитесь внимательнее. У него лицо человека, обладающего утончённым интеллектом, как оно и есть на самом деле. К несчастью, подобно многим другим обладателям утончённого интеллекта, он глуп. Он опустил и погряз в эгоизме и заботах о собственном пищеварении. И честолубивая американская дама, полагавшая, что побег с поэтом подобен воспарению на Олимп к девяти музам, обнаружила, что одного дня с неё за глаза довольно. Так что к тому времени, когда появился её муж и штурмом взял отель, она была счастлива вернуться к нему.

— Но муж? — недоумевал Рок. — Этого я никак в толк не возьму.

— А-а, не читайте так много современных эротических романов, — сказал отец Браун и опустил веки под пламенным протестующим взглядом своего собеседника. — Я знаю, все эти истории начинаются с того, что сказочная красавица вышла замуж за старого борова-финансиста. Но почему? В этом, как и во многих других вопросах, современные романы крайне несовременны. Я не говорю, что этого никогда не бывает, но, этого почти не бывает в настоящее время, разве что по собственной вине героини. Теперь девушки выходят замуж за кого хотят, в особенности избалованные девушки вроде Гипатии. За кого же они выходят? Такая красивая и богатая мисс обычно окружена толпой поклонников, кого же она выберет? Сто шансов против одного, что она выйдет замуж очень рано и выберет себе самого красивого мужчину из тех, с кем ей приходится встречаться на балах или на теннисном корте. И, знаете ли, обыкновенные бизнесмены бывают иногда красивыми. Явился молодой бог (по имени Поттер), и её совершенно не интересовало, кто он — маклер или взломщик. Но при данном окружении, согласитесь сами, гораздо вероятнее, что он окажется маклером. И не менее вероятно, что его будут звать Поттером. Видите, вы оказались таким неизлечимым романтиком, что целую историю построили на одном предположении, будто человека с внешностью молодого бога не могут звать Поттером. Поверьте, имена даются людям вовсе не так уж закономерно.

— Ну? — помолчав, спросил журналист. — А что же, по-вашему, произошло потом?

Отец Браун порывисто поднялся со стула, пламя свечи дрогнуло, и тень от его короткой фигуры, протянувшись через всю стену, достигла потолка, вызывая странное впечатление, словно соразмерность вещей в комнате вдруг нарушилась.

— А, — пробормотал он, — в этом-то всё зло. В этом настоящее зло. И оно куда опаснее, чем старые индейские демоны, таящиеся в здешних джунглях. Вы вот подумали, что я выгораживаю латиноамериканцев со всей их распущенностью, так вот, как это ни странно, — и он посмотрел на собеседника сквозь очки совиными глазами, — как это ни невероятно, но в определённом смысле вы правы. Вы говорите: «Долой романтику». А я говорю, что готов иметь дело с настоящей романтикой, тем более что встречается она не часто, если не считать пламенных дней ранней юности. Но, говорю я, уберите «интеллектуальное единение», уберите «платонические союзы», уберите «высший закон самоосуществления» и прочий вздор, тогда я готов встретить лицом к лицу — нормальный профессиональный риск в моей работе. Уберите любовь, которая на самом деле не любовь, а лишь гордыня и тщеславие, реклама и сенсация, и тогда мы готовы бороться с настоящей любовью — если в этом возникнет необходимость, а также с любовью, которая есть вожделение и разврат. Священникам известно, что у молодых людей бывают страсти, точно так же, как докторам известно, что у них бывает корь. Но Гипатии Поттер сейчас по меньшей мере сорок, и она влюблена в этого маленького поэта не больше, чем если бы он был издателем или агентом по рекламе. В том-то и всё дело: он создавал ей рекламу. Её испортили ваши газеты, жизнь в центре всеобщего внимания, постоянное желание видеть своё имя в печати, пусть даже в какой-нибудь скандальной истории, лишь бы она была в должной мере «психологична» и шикарна. Желание уподобиться Жорж Санд, чьё имя навеки связано с Альфредом де Мюссе. Когда её романтическая юность прошла, Гипатия впала в грех, свойственный людям зрелого возраста, — в грех рассудочного честолубия. У самой у неё рассудка кот наплакал, но для рассудочности рассудок ведь не обязателен.

— На мой взгляд, она очень неглупа, в некотором смысле, — заметил Рок.

— Да, в некотором смысле, — согласился отец Браун. — В одном-единственном смысле — в практическом. В том смысле, который ничего общего не имеет со здешними ленивыми нравами. Вы посылаете проклятия кинозвездам и говорите, что ненавидите романтику. Неужели вы думаете, что кинозвезду, в пятый раз выходящую замуж, свела с пути истинного романтика? Такие люди очень практичны, практичнее, чем вы, например. Вы говорите, что преклоняетесь перед простым, солидным бизнесменом. Что же вы думаете, Рудель Романес — не бизнесмен? Неужели вы не понимаете, что он сумел оценить — не хуже, чем она, — все рекламные возможности своего последнего громкого романа с известной красавицей? И он прекрасно понимал также, что позиции у него в этом деле довольно шаткие. Поэтому он и суетился так, и прислугу в отеле подкупил, чтобы они заперли все двери. Я хочу только сказать вам, что на свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали грех и не стремились прославиться в роли грешников. Может быть, эти бедные мексиканцы кое-где и живут, как звери, или, вернее, грешат, как люди, но, по крайней мере, они не увлекаются «идеалами». В этом следует отдать им должное.

Он снова уселся так же внезапно, как и встал, и рассмеялся, словно прося извинения у собеседника.

— Ну вот, мистер Рок, — сказал он, — вот вам моё полное признание, ужасная история о том, как я содействовал побегу влюблённых. Можете с ней делать всё, что хотите.

— В таком случае, — заявил мистер Рок, поднимаясь, — я пройду к себе в номер и внесу в свою статью кое-какие поправки. Но прежде всего мне нужно позвонить в редакцию и сказать, что я наговорил им кучу вздора.

Не более получаса прошло между первым звонком Рока, когда он сообщил о том, что священник помог поэту совершить романтический побег с прекрасной дамой, и его вторым звонком, когда он объяснил, что священник помешал поэту совершить упомянутый поступок, но за этот короткий промежуток времени родился, разросся и разнёсся по миру слух о скандальном происшествии с отцом Брауном. Истина и по сей день отстаёт на полчаса от клеветы, и никто не знает, где и когда она её настигнет. Благодаря болтливости газетчиков и стараниям врагов первоначальную версию распространили по всему городу ещё раньше, чем она появилась в печати. Рок незамедлительно выступил с поправками и опровержениями, объяснив в большой статье, как всё происходило на самом деле, однако отнюдь нельзя утверждать, что противоположная версия была тем самым уничтожена. Просто удивительно какое множество людей прочитали первый выпуск газеты и не читали второго. Всё вновь и вновь, во всех отдалённых уголках земного шара, подобно пламени, вспыхивающему из-под почерневшей золы, оживало «Скандальное происшествие с отцом Брауном, или Патер разрушает семью Поттера». Неутомимые защитники из партии сторонников отца Брауна гонялись за ней по всему свету с опровержениями, разоблачениями и письмами протеста. Иногда газеты печатали эти письма, иногда — нет. И кто бы мог сказать, сколько оставалось на свете людей, слышавших эту историю, но не слышавших её опровержения? Можно было встретить целые кварталы, население которых всё поголовно было убеждено, что мексиканский скандал — такое же бесспорное историческое событие, как Пороховой заговор³⁰. Кто-нибудь просвещал наконец этих простых, честных жителей, но тут же обнаруживалось, что старая версия опять возродилась в небольшой группе вполне образованных людей, от которых уж, казалось, никак нельзя было ожидать такого неразумного легковерия.

Видно, так и будут вечно гоняться друг за другом по свету два отца Брауна: один — бессовестный преступник, скрывающийся от правосудия, второй — страдалец, сломленный клеветой и окружённый ореолом реабилитации. Ни тот, ни другой не похож на настоящего

³⁰ Пороховой заговор — неудавшееся покушение на жизнь английского короля Якова I Стюарта, совершённое католиками 5 ноября 1605 г.

отца Брауна, который вовсе не сломлен; шагая по жизни своей не слишком-то изящной походкой, несёт он в руке неизменный зонт, немало повидавший на своём веку, к людям относится доброжелательно и принимает мир как товарища, но не как судью делам своим.

ЛИЦО НА МИШЕНИ

Гарольд Марч, входивший в известность журналист-обозреватель, энергично шагал по вересковым пустошам плоскогорья, окаймлённого лесами знаменитого имения «Торвуд-парк». Это был привлекательный, хорошо одетый человек, с очень светлыми глазами и светло-пепельными вьющимися волосами. Он был ещё настолько молод, что даже на этом приволье, солнечным и ветреным днём, помнил о политических делах и даже не старался их забыть. К тому же в «Торвуд-парк» он шёл ради политики. Здесь назначил ему свидание министр финансов сэр Говард Хорн, проводивший в те дни свой так называемый социалистический бюджет, о котором он и собирался рассказать в интервью с талантливым журналистом. Гарольд Марч принадлежал к тем, кто знает всё о политике и ничего о политических деятелях. Он знал довольно много и об искусстве, литературе философии, культуре — вообще почти обо всём, кроме мира, в котором жил.

Посреди залитых солнцем пустошей, над которыми свободно гулял ветер, Марч неожиданно набрёл на узкую ложбину — русло маленького ручья, исчезавшего в зелёных тоннелях кустарника, словно в зарослях карликового леса. Марч глядел на ложбину сверху, и у него появилось странное ощущение: он показался себе великаном, обозревающим долину пигмеев. Но, когда он спустился к ручью, это ощущение исчезло; склоны были невысокие, не выше небольшого дома, но скалистые и обрывистые, с нависающими каменными глыбами. Он брёл вдоль ручья, ведомый праздным, но романтическим любопытством, смотрел на полоски воды, блестящие между большими серыми валунами и кустами, пушистыми и мягкими, как разросшийся зелёный мох, и теперь в его мозгу возник другой образ — ему стало казаться, что земля разверзлась и втянула его в таинственный подземный мир. Когда же он увидел на большом валуне человека, похожего на большую птицу, тёмным пятном выделявшуюся на фоне серебристого ручья, у него появилось предчувствие, что сейчас завяжется самое необычное знакомство в его жизни.

Человек, по-видимому, удил рыбу или, по крайней мере, сидел в позе рыболова, только ещё неподвижней, и Марч мог несколько минут разглядывать его, как статую. Незнакомец был светловолос, с очень бледным и апатичным лицом, тяжёлыми веками и горбатым носом. Когда его лицо было затенено широкополой белой шляпой, светлые усы и худоба, вероятно, молодили его. Но теперь шляпа лежала рядом, видны были залысины на лбу и запавшие глаза, говорившие о напряжённой мысли и, возможно, физическом недомогании. Но самое любопытное было не это: последив за ним, вы замечали, что, хотя он и выглядит рыболовом, он вовсе не удит рыбу.

Вместо удочки незнакомец держал в руках какой-то сачок — им пользуются иногда рыболовы, но этот больше походил на обыкновенную детскую игрушку для ловли бабочек и креветок. Время от времени он погружал свою снасть в воду, затем с серьёзным видом разглядывал улов, состоявший из водорослей и ила, и тут же выбрасывал его обратно.

— Нет, ничего не выловил, — сказал он спокойно, как бы отвечая на немой вопрос. — Большой частью я выбрасываю обратно всё, что попадётся, особенно крупную рыбу. А вот мелкая живность меня интересует, — конечно, если удаётся её поймать.

— Наверное, вы ученый? — спросил Марч.

— Боюсь, что только любитель, — ответил странный рыболов. — Я, знаете ли, увлекаюсь фосфоресценцией, в частности, светящимися рыбами. Но появиться с таким светильником в обществе было бы, пожалуй, неловко.

— Да, я думаю, — невольно улыбаясь, сказал Марч.

— Довольно эксцентрично войти в гостиную с большой светящейся треской в руках, — продолжал незнакомец так же бесстрастно. — Но очень занятно, должно быть, носить её

вместо фонаря или пользоваться кильками как свечами. Некоторые морские обитатели очень красивы — вроде ярких абажуров, голубая морская улитка мерцает, как звезда, а красные медузы сияют, как настоящие красные звёзды. Разумеется, я не их здесь ищу.

Марч хотел было спросить, что же искал незнакомец, но, чувствуя себя неподготовленным к научной беседе на такую глубокую тему, как глубоководные, заговорил о более обычных вещах.

— Живописное местечко, — сказал он, — эта ложбинка и ручеёк. Напоминает места, описанные Стивенсоном, где непременно что-то должно случиться.

— Да, — ответил незнакомец. — Я думаю, всё потому, что это место само живёт, если можно так выразиться, а не просто существует. Возможно, именно это Пикассо и некоторые кубисты пытаются выразить углами и ломаными линиями. Посмотрите на эти обрывы, крутые у основания. Они выступают под прямым углом к поросшему травой склону, а тот как бы устремляется к ним. Это как немая схватка. Как волна, застывшая у берега.

Марч посмотрел на низкий выступ скалы над зелёным склоном и кивнул. Его заинтересовал человек, только что проявивший познания в науке и с такой лёгкостью перешедший к искусству; и он спросил, нравятся ли ему художники-кубисты.

— На мой взгляд, в кубистах мало кубизма, — ответил незнакомец. — Я хочу сказать, что их живопись недостаточно объёмна. Сводя предметы к математике, они делают их плоскими. Отнимите живые изгибы у этой ложбины, упростите её до прямого угла, и она сделается плоской, как чертёж на бумаге. Чертежи, конечно, красивы, но красота их — совсем другая. Они воплощают неизменные вещи — спокойные, незыблемые математические истины, — именно это называют белым сиянием...

Прежде чем он успел произнести следующее слово, что-то произошло — так быстро, что они и понять ничего не успели. Из-за нависшей скалы послышался шум, словно сюда мчался поезд, и на самом её краю появился большой автомобиль. Чёрный на фоне солнца, он казался боевой колесницей богов, несущейся к гибели. Марч инстинктивно протянул руку, как бы тщетно пытаясь удержать падающую со стола чашку.

Одно короткое мгновение казалось, что автомобиль, как воздушный корабль, летит с обрыва, потом — что само небо описывает круг, словно колесо велосипеда, и вот машина, уже разбитая, лежала в высокой траве, и струйка серого дыма медленно поднималась над нею в затихшем воздухе. Немного ниже, на крутом зелёном склоне, раскинув руки и ноги, запрокинув голову, лежал седой человек.

Чудаковатый рыболов бросил сачок и побежал к месту катастрофы, журналист последовал за ним. Когда они приблизились, мотор ещё бился и громыхал, иронически и жутко оттеняя неподвижность тела.

Человек был мёртв. Кровь стекала на траву из раны на затылке, но лицо, обращённое к солнцу, осталось нетронутым, и от него нельзя было отвести глаз. Такие лица кажутся неуловимо знакомыми: широкое, квадратное, с большой обезьяньей челюстью; большой рот сжат так крепко, что кажется прямой линией; ноздри короткого носа круто изогнуты, словно с жадностью втягивают воздух. Особенно поражали брови — одна была вскинута значительно выше и под более острым углом, чем другая. Марч подумал, что никогда не видел лица, до такой степени полного жизни, как это, мёртвое. Энергичную живость, застывшую на нём, ещё больше подчеркивал ореол седых волос. Из кармана торчали какие-то бумаги, и Марч извлёк визитную карточку.

— Сэр Хэмфри Тернбул, — прочитал он вслух. — Я уверен, что где-то слышал эту фамилию.

Его спутник вздохнул, помолчал минуту, как бы обдумывая что-то, а затем сказал просто:

— Кончился, бедняга, — и прибавил несколько научных терминов.

Марч снова почувствовал превосходство своего собеседника.

— Учитывая обстоятельства, — продолжал этот необычайно осведомлённый человек, — мы поступим лучше всего, если оставим тело как есть, пока не известят

полицию. В сущности, я думаю, кроме полиции, никому не следует ничего сообщать. Не удивляйтесь, если вам покажется, что я хочу скрыть это от соседей. — Затем, как бы желая объяснить свою несколько неожиданную откровенность, он сказал: — Я приехал в Торвуд повидаться с двоюродным братом, меня зовут Хорн Фишер³¹. Подходящая фамилия для каламбура, правда?

— Сэр Говард Хорн ваш двоюродный брат? — спросил Марч. — Я тоже направляюсь в «Торвуд-парк», к нему, разумеется, по делу. Он с исключительной твёрдостью защищает свои принципы. На мой взгляд, бюджет, который он отстаивает, — событие величайшего значения. Если бюджет провалится, это будет самый роковой провал в истории Англии. Вы, вероятно, тоже почитатель вашего великого родственника?

— До некоторой степени, — ответил Фишер. — Он великолепный стрелок. — Затем, словно искренне раскаяваясь в своём равнодушии, добавил чуть живее: — Нет, в самом деле, он замечательный стрелок!

Он вспрыгнул на камень, ухватился за уступ скалы и забрался вверх с ловкостью, которой никак нельзя было ожидать от такого вялого человека. Некоторое время он обозревал окрестность; его орлиный профиль резко вырисовывался на фоне неба. Марч наконец собрался с духом и вскарабкался вслед за ним.

Перед ними лежал сырой торфяной луг, на котором отчётливо выделялись следы колес злосчастной машины. Края обрыва были изломаны и раздроблены, словно их обгрызли гигантские каменные зубы; отбитые валуны всех форм и размеров валялись неподалеку, и трудно было поверить, что кто-нибудь мог среди бела дня намеренно заехать в такую ловушку.

— Ничего не понимаю, — сказал Марч. — Слепой он был, что ли? Или пьян до бесчувствия?

— Судя по виду, ни то, ни другое.

— Тогда это самоубийство.

— Не очень-то остроумно покончить с собой таким способом, — заметил тот, которого звали Фишером. — К тому же я не представляю себе, чтобы бедняга Пагги вообще мог покончить самоубийством.

— Бедняга... кто? — спросил удивлённый журналист. — Разве вы его знали?

— Никто не знал его как следует, — несколько туманно ответил Фишер. — Нет, один человек его, конечно, знал... В своё время старик наводил ужас в парламенте и в судах, особенно во время шумихи с иностранцами, которых выслали из Англии. Он требовал, чтобы одного из них повесили за убийство. Эта история так на него подействовала, что он вышел из парламента. С тех пор у него появилась привычка разъезжать в одиночестве на машине; на субботу и воскресенье он нередко приезжал в Торвуд. Не могу понять, почему ему понадобилось сломать себе шею почти у самых ворот. Я думаю, что Боров — то есть мой брат Говард — бывал здесь, чтобы видаться с ним.

— Разве «Торвуд-парк» не принадлежит вашему двоюродному брату? — спросил Марч.

— Нет, раньше им владели Уинтропы, а теперь его купил один человек из Монреаля, по фамилии Дженкинс. Говарда привлекает сюда охота. Я вам уже говорил, что он прекрасный стрелок.

Эта дважды повторённая похвала по адресу государственного мужа резанула Гарольда Марча, словно Наполеона назвали выдающимся игроком в карты. Но не это занимало его теперь; среди множества новых впечатлений одна ещё не совсем ясная мысль поразила его, и он поспешил поделиться ею с Фишером, словно боялся, что она исчезнет.

— Дженкинс... — повторил он. — Вы, конечно, имеете в виду не Джефферсона Дженкинса, общественного деятеля, который борется за новый закон о фермерских наделах?

³¹ Фишер (от англ. fisher) — рыболов.

Простите меня, но встретиться с ним не менее интересно, чем с любым министром.

— Да, это Говард посоветовал ему заняться наделами, — сказал Фишер. — Шум по поводу улучшения породы скота надоел, и над этим уже посмеиваются. Ну, а звание пэра всё же нужно к чему-то прицепить! Бедняга до сих пор не лорд... Э, да здесь ещё кто-то есть!

Они шли по следам, оставленным машиной, всё ещё жужжавшей под обрывом, словно громадный жук, убивший человека. Следы привели их к перекрёстку дорог, одна из которых шла к видневшимся вдали воротам парка. Было ясно, что машина мчалась сначала по длинной прямой дороге, а затем, вместо того чтобы свернуть влево, понеслась по траве к обрыву — к своей гибели. Но не это приковало внимание Фишера; на повороте дороги неподвижно, как указательный столб, высилась тёмная одинокая фигура. Это был рослый человек в грубом охотничьем костюме, с непокрытой головой и всклокоченными вьющимися волосами, придававшими ему довольно странный вид. Когда спутники подошли ближе, первое впечатление рассеялось; перед ними стоял обыкновенный джентльмен, который так поспешно вышел из дому, что не успел надеть шляпу и причесать волосы. Как издали, так и вблизи было видно, что он очень силен и красив животной красотой, хотя глубоко посаженные, запавшие глаза несколько облагораживали его внешность. Марч не успел разглядеть его, так как Фишер, к его удивлению, буркнул: «Хелло, Джон», — и, даже не сообщив ему о катастрофе по ту сторону скал, прошёл мимо, словно тот действительно был указательным столбом. Сравнительно мелкий этот факт оказался первым звеном в цепи странных поступков нового знакомого.

Человек, мимо которого они прошли, весьма подозрительно посмотрел им вслед, но Фишер продолжал невозмутимо шагать по прямой дороге, ведущей к воротам большого поместья.

— Это Джон Берк, путешественник, — снисходительно объяснил он. — Я полагаю, вы слышали о нём: он охотник на крупного зверя. Жаль, я не мог остановиться и представить вас. Ну, думаю, вы увидите его позже.

— Я читал его книгу, — сказал заинтересованный Марч. — Чудесно описано, как они только тогда обнаружили слона, когда он громадной головой загородил им луну.

— Да, молодой Гокетт пишет прекрасно... Как, разве вы не знаете, что книгу Берка написал Гокетт? Берк только ружьё умеет держать в руках, а ружьём книгу не напишешь. Но он тоже, по-своему, талантлив. Отважен, как лев, даже ещё отважнее.

— По-видимому, вы неплохо его знаете, — заметил, смеясь, совсем сбитый с толку Марч, — да и не только его.

Фишер наморщил лоб, и взгляд его стал странным.

— Я знаю слишком много, — сказал он. — Вот в чём моя беда. Вот в чём беда всех нас и всей этой ярмарки: мы слишком много знаем. Слишком много друг о друге, слишком много о себе. Потому я сейчас и заинтересован тем, чего не знаю.

— А именно? — спросил Марч.

— Почему умер Пагги.

Они прошли по дороге около мили, перебрасываясь замечаниями, и у Марча появилось странное чувство: ему стало казаться, что весь мир вывернут наизнанку. Мистер Хорн Фишер не старался чернить своих высокородных друзей и родных: о некоторых он говорил даже нежно. И тем не менее все они — и мужчины, и женщины — предстали в совершенно новом свете; казалось, что они случайно носят имена, известные всем и каждому и мелькающие в газетах. Самые яростные нападки не показались бы Марчу такими мятежными, как эта холодная фамильярность. Она была подобна лучу дневного света, упавшему на театральную кулису.

Они дошли до ворот парка, но, к удивлению Марча, миновали их, и Фишер повёл его дальше по бесконечной прямой дороге. До встречи с министром ещё оставалось время, и Марч не прочь был посмотреть, чем кончатся приключения его нового знакомого. Спутники давно оставили позади поросшие вереском луга, и половина белой дороги стала серой от тени торвудских сосен. Деревья громадным серым барьером заслонили солнечный свет, и

казалось, в глубине леса ясный день обернулся тёмной ночью. Однако вскоре между густыми соснами стали появляться просветы, похожие на окна из разноцветных стекол, лес поредел и отступил, и, по мере того как спутники продвигались дальше, его сменили рощицы, в которых, по словам Фишера, целыми днями охотились гости. Примерно через двести ярдов они подошли к первому повороту дороги.

Здесь стоял ветхий трактир с потускневшей вывеской «Виноградные гроздья». Потемневший от времени, почти чёрный на фоне лугов и неба, он манил путника не больше, чем виселица. Марч заметил, что тут, вероятно, вместо вина пьют уксус.

— Хорошо сказано, — ответил Фишер. — Так оно и было бы, если бы кому-нибудь пришло в голову спросить вина. Но пиво и бренди здесь хороши.

Марч с некоторым любопытством последовал за ним. Отвращение, охватившее Марча, отнюдь не рассеялось, когда он увидел длинного костлявого хозяина; молчаливый, с чёрными усами и беспокойно бегающими глазами, он никак не соответствовал романтическому типу добродушного деревенского кабатчика. Как ни был он скуп на слова, из него всё же удалось извлечь кое-какие сведения.

Фишер начал с того, что заказал пиво и завёл с ним пространную беседу об автомобилях. Можно было подумать, что он считает хозяина авторитетом, отлично разбирающимся в секретах мотора и в том, как надо и как не надо управлять машиной. Разговаривая, Фишер не спускал с него упорного взгляда блестящих глаз. Из всей этой довольно мудрёной беседы можно было в конце концов заключить, что какой-то автомобиль остановился перед гостиницей около часу назад, из него вышел пожилой мужчина и попросил помочь наладить мотор. Кроме того, он наполнил флягу и взял пакет с сэндвичами. Сообщив это, не слишком радушный хозяин поспешно вышел и захлопал дверьми в тёмной глубине дома.

Скусающий взор Фишера блуждал по пыльной, мрачной комнате и наконец задумчиво остановился на чучеле птицы в стеклянном футляре, над которым на крюках висело ружьё.

— Пагги любил пошутить, — заметил он, — правда, в своём, довольно мрачном, стиле. Но покупать сэндвичи, перед тем как собираешься покончить жизнь самоубийством, — пожалуй, слишком мрачная шутка.

— Если уж на то пошло, — ответил Марч, — покупать сэндвичи у дверей богатого дома тоже не совсем обычно.

— Да... да, — почти механически повторил Фишер, и вдруг глаза его оживились, и он серьёзно взглянул на собеседника. — Чёрт возьми, а ведь правда! Наводит на очень любопытные мысли, а?

Наступило молчание. Вдруг дверь так резко распахнулась, что Марч от неожиданности вздрогнул, в комнату стремительно вошёл человек и направился к стойке. Он постучал по ней монетой и потребовал бренди, не замечая Фишера и журналиста, которые сидели у окна за непокрытым деревянным столом. Когда же он повернулся к ним, у него был несколько озадаченный вид, а Марч с крайним удивлением услышал, что его спутник назвал его Боровом и представил как сэра Говарда Хорна.

Министр выглядел гораздо старше, чем на портретах в иллюстрированных журналах, где политических деятелей всегда омолаживают; его прямые волосы чуть тронула седина, но лицо было до смешного круглое, а римский нос и быстрые блестящие глаза невольно наводили на мысль о попугае. Кепи было сдвинуто на затылок, через плечо висело ружьё. Гарольд Марч много раз старался представить себе встречу с известным политическим деятелем, но он никогда не думал, что увидит его в трактире, с ружьём через плечо и рюмкой в руке.

— Ты тоже гостишь у Джинка? — сказал Фишер. — Все как сговорились собраться у него.

— Да, — ответил министр финансов. — Здесь чудесная охота. Во всяком случае, для всех, кроме Джинка. У него самые лучшие уголья, а стреляет он хуже некуда. Конечно, он славный малый, я ничего против него не имею. Только так и не научился держать ружьё, всё

занимался упаковкой свинины или чем-то таким... Говорят, он сбил кокарду со шляпы своего слуги. Это в его стиле нацепить кокарды на слуг! А ещё он подстрелил петуха с флюгера на раззолоченной беседке. Пожалуй, больше он птиц не убивал. Вы туда идёте?

Фишер довольно неопределённо ответил, что он придёт, как только кое-что уладит, и министр финансов покинул трактир. Марчу показалось, что он был чем-то расстроен или раздражён, когда заказывал выпивку, но, поговорив с ними, успокоился; однако совсем не то ожидал от него услышать представитель прессы. Через несколько минут они не спеша вышли. Фишер стал посреди дороги и принялся смотреть в ту сторону, откуда они начали свою прогулку. Затем они вернулись обратно ярдов на двести и снова остановились.

— Думаю, это и есть то самое место, — сказал он.

— Какое место? — спросил его спутник.

— Место, где его убили, беднягу, — печально ответил Фишер.

— Что вы хотите сказать? — спросил Марч. — Он же разбился о скалы за полторы мили отсюда.

— Нет, — ответил Фишер. — Он не разбился о скалы, он даже не падал на них. Разве вы не заметили, что его выбросило на склон, покрытый мягкой травой? Я сразу понял, что в него всадили пулю. — И, помолчав, добавил: — В трактире он был жив, но умер задолго до того, как доехал до скал. Его застрелили, когда он вёл машину вот на этом участке дороги, я полагаю, где-нибудь здесь. Машина покатила прямо, уже некому было затормозить или свернуть. Всё очень хитро и умно придумано. Тело обнаружат далеко от места преступления и станут думать, как подумали и вы, что произошёл несчастный случай. Убийца — тонкая bestия.

— Разве выстрела не услышали бы в кабачке или ещё где-нибудь? — спросил Марч.

— Ну что ж, и слышали, но не обратили внимания, — продолжал добровольный следователь. — И тут убийца всё рассчитал. Весь день здесь охотятся, и выбрать нужный момент совсем не трудно. Конечно, это мог придумать только опытный преступник. Но этим не исчерпываются его таланты.

— Что вы имеете в виду? — спросил Марч, и от недоброго предчувствия по его спине пробежали мурашки.

— Убийца — первоклассный стрелок, — сказал Фишер.

Он круто повернулся и пошёл по узкой, поросшей травой тропинке, отделявшей большое поместье от заболоченных, покрытых пёстрым вереском лугов. Марч от нечего делать побрёл за Фишером. Они остановились у деревянного крашеного забора, видневшегося через просветы в высоком бурьяне и боярышнике, и Фишер стал внимательно рассматривать доски. За забором поднимался ряд высоких, густых тополей. Они слабо качались на лёгком ветру; день склонялся к вечеру, и гигантские тени деревьев резко удлинились.

— Вы могли бы стать хорошим преступником? — дружелюбно спросил вдруг Фишер. — Боюсь, что я не мог бы. Но какой-нибудь взломщик четвёртого разряда из меня, наверное, вышел бы.

И прежде чем его спутник успел ответить, он легко перемахнул через забор; Марч последовал за ним без особого усилия, но вконец сбитый с толку. Тополя росли так близко к забору, что они оба с трудом проскользнули между ними, а дальше видна была только высокая живая изгородь из лавров, блестящая под заходящим солнцем. Марч пробирался через преграды кустов и деревьев, и ему казалось, что впереди не лужайка, а дом с опущенными шторами. Ему казалось, что он влез в окно или в дверь и путь загородили груды мебели. Наконец они миновали изгородь и очутились на заросшей травой лужайке, которая зелёным уступом переходила в продолговатую площадку, по-видимому, крокетную. За ней тянулось небольшое строение — низкая оранжерея, похожая на стеклянный домик из сказки.

Фишер хорошо знал, как одиноки разбросанные службы большого имения. Он понимал, что эти постройки — насмешка над аристократией, гораздо более злая, чем

поросшие сорняками развалины. Они не запущены, но заброшены, во всяком случае, забыты. Их тщательно прибирают и украшают для хозяина, который никогда сюда не явится.

Однако, глядя с лужайки на площадку, Фишер обнаружил предмет, который, кажется, вовсе не ожидал увидеть: что-то вроде треноги, поддерживавшей большой диск, похожий на крышку круглого стола. Когда они подошли ближе, Марч понял, что это мишень. Она была старая и выцветшая; радужные краски концентрических кругов давно поблёкли; вероятно, её установили здесь в далекие времена королевы Виктории, когда в моде была стрельба из лука. В живом воображении Марча тотчас возникли туманные видения дам в широких лёгких кринолинах и мужчин в диких шляпах, с бакенбардами, некогда посещавших заброшенный теперь сад.

Но тут его испугал Фишер, внимательно разглядывавший мишень.

— Взгляните, — закричал он, — кто-то основательно изрешетил её пулями, и совсем недавно! Скорей всего, здесь тренировался старый Джинк.

— Пожалуй, ему ещё долго придётся тренироваться, — ответил, смеясь, Марч. — Ни одной пробоины у центра, разбросаны как попало.

— Как попало, — повторил Фишер, внимательно вглядываясь в мишень.

Казалось, он согласился со спутником, но Марч заметил, как заблестели под сонными веками его глаза и с каким трудом распрямил он сутулую спину.

— Извините, я немного задержу вас, — сказал Фишер, ощупывая карманы. — Кажется, у меня с собой кое-какие химикалии. Потом пойдём к дому.

Он снова склонился над мишенью и стал накладывать пальцем на пробоины какое-то снадобье, насколько Марч мог разглядеть, серую мазь. Уже надвигались сумерки, когда они по длинной зелёной аллее подошли к большому дому.

Однако необычный следователь не пожелал войти через парадную дверь. Они обогнули дом, отыскиали открытое окно и влезли в комнату, где, по-видимому, хранилось оружие. Вдоль одной из стен рядами стояли дробовики, а на столе лежали более тяжёлые и грозные ружья.

— Это охотничьи ружья Берка, — сказал Фишер. — Я и не знал, что он хранит их здесь.

Он поднял одно, быстро осмотрел и, насупившись, положил обратно. Почти в тот же момент в комнату стремительно вошёл незнакомый молодой человек, темноволосый, крепкий, с выпуклым лбом и бульдожьей челюстью. Коротко извинившись, он сказал:

— Я оставил здесь ружья майора Берка. Он уезжает вечером, хочет их упаковать.

И он унёс оба ружья, даже не взглянув на Марча; из открытого окна они видели, как он шёл по тускло освещённому саду. Фишер снова выбрался в сад через окно и постоял, глядя ему вслед.

— Это и есть Гокетт, о котором я вам говорил, — сказал он. — Я знал, что он вроде секретаря у Берка, возится с его бумагами, но не думал, что он возится и с ружьями. Он заботливый домовый, на все руки мастер. Такого можно знать годами и не догадаться, что он чемпион по шахматам.

Они пошли вслед за Гокеттом и вскоре увидели на лужайке оживленно болтающих гостей. Среди них выделялся мощный охотник на крупную дичь.

— Между прочим, — заметил Фишер, — помните, мы говорили о Берке и Гокетте, и я сказал вам, что нельзя писать ружьём? Ну, теперь я не так уверен в этом. Слыхали вы когда-нибудь о художнике, который мог бы рисовать ружьём? Так вот, здесь гложет такой гений.

Сэр Говард шумно и дружелюбно приветствовал Фишера и журналиста. Последнего представили майору Берку и мистеру Гокетту, а также (между прочим) хозяину, мистеру Дженкинсу, невзрачному человечку в добротном, но кричащем костюме, к которому все относились ласково и снисходительно, словно к ребёнку.

Неугомонный министр финансов всё ещё говорил об охоте, о птицах, которых он убил, и о птицах, по которым промазал Дженкинс. Кажется, тут все помешались на таких шутках.

— Что там крупная дичь! — горячился он, наступая на Берка. — В крупную всякий

попадёт. Другое дело — мелкая, тут нужен настоящий стрелок.

— Совершенно верно, — вмешался Хорн Фишер. — Вот если бы из-за того куста выпорхнул гиппопотам или в имении разводили бы летающих слонов...

— Ну, тогда и Джинк подстрелил бы такую птичку! — воскликнул сэр Говард, весело хлопая хозяина по спине. — Он попал бы даже в стог сена или в гиппопотама.

— Послушайте, друзья, — сказал Фишер. — Пойдёмте постреляем. Только не в гиппопотама. Я нашёл очень любопытного зверя. Он всех цветов радуги, о трёх ногах и об одном глазе.

— Это ещё что такое? — хмуро спросил Берк.

— Пойдём, и увидите, — весело ответил Фишер.

В погоне за новыми впечатлениями люди, подобные этим, клюнут на любую нелепость. Так случилось и теперь. Гости снова вооружились и с серьёзным видом двинулись вслед за гидом. У раззолоченной беседки сэр Говард задержался, с восхищением показывая пальцем на искривлённого золотого петуха. Сумерки уже переходили в темноту, когда они добрались наконец до отдалённой лужайки, чтобы играть в новую бесцельную игру — стрелять по старым пробоинам.

Когда праздная компания полукругом сгрудилась против мишени, последние отблески света угасли на лужайке и тополя на фоне заката казались громадными чёрными перьями на пурпурном катафалке.

Сэр Говард похлопал хозяина по плечу, игриво подталкивая его вперёд и уговаривая выстрелить первым. Плечо и рука Дженкинса, которых коснулся министр, казались неестественно напряжёнными и угловатыми. Мистер Дженкинс держал ружьё ещё более неуклюже, чем могли ожидать его насмешливые друзья.

И вдруг раздался страшный вопль. Он шёл неведомо откуда и был так чудовищен, так не соответствовал обстановке, что издать его могло только фантастическое существо, пролетевшее в этот миг над ними или притаившееся неподалеку в тёмном лесу. Но Фишер знал, что он возник и замер на побелевших губах Джефферсона Дженкинса. И никто, взглянув в этот момент на лицо канадца, не назвал бы его невыразительным.

Как только все увидели, что стоит перед ними, майор Берк разразился потоком грубых, но добродушных ругательств. Мишень возвышалась над потемневшей травой, словно страшный, насмехающийся над ними призрак. У него были горящие, как звёзды, глаза, очерченные огненными точками, вывороченные ноздри и большой растянутый рот. Над глазами светящимся пунктиром были обозначены седые брови, и одна из них поднималась вверх почти под прямым углом. Это была талантливая карикатура, выполненная яркими светящимися линиями, и Марч сразу узнал, кого она изображала. Мишень сияла в темноте мерцающим огнём и казалась чудовищем со дна морского, выползшим в окутанный сумерками сад. Но у чудовища была голова убитого человека.

— Да ведь это всего-навсего светящаяся краска, — сказал Берк. — Старина Фишер выкинул трюк со своей фосфоресцирующей мазью.

— Очень похоже на нашего Пагги, — заметил сэр Говард. — Поразительное сходство, ничего не скажешь!

Все, кроме Дженкинса, рассмеялись. Когда смех умолк, он издал несколько странных звуков, какие, вероятно, издал бы зверь, если бы вздумал засмеяться. Хорн Фишер решительно подошёл к Дженкинсу и сказал:

— Мистер Дженкинс, я должен немедленно поговорить с вами наедине.

Вскоре после этой странной и нелепой сцены, рассеявшей весёлых гостей, Марч снова, как было условлено, встретился со своим новым другом у маленького ручья под нависшей скалой.

— Это я придумал такой трюк — намазал мишень фосфором, — мрачно сказал Фишер. — Надо было его напугать внезапно, иначе он не выдал бы себя. Он тренировался на этой мишени и, когда увидел в ней светящееся лицо своей жертвы, не мог сдержаться. Для моего внутреннего удовлетворения этого вполне достаточно.

— Боюсь, что я и сейчас толком не понимаю, — ответил Марч. — Что же он сделал и для чего?

— Вы должны понять, — мрачно улыбаясь, ответил Фишер. — Ведь это вы навели меня на след. Да, да, вы высказали очень тонкую мысль. Вы сказали, что человек, которому предстоит обедать в богатом доме, не станет брать с собой сэндвичи. Вполне резонно, и отсюда вывод: хотя он и ехал туда, обедать там он не собирался. Или, по крайней мере, допускал, что не будет обедать. Дальше я подумал: должно быть, он знал, что ему предстоит неприятный визит, или что ему окажут не слишком радушный прием, или что сам он отклонит гостеприимство. Затем я вспомнил, что Тернбул в своё время был грозой людей с тёмным прошлым, — возможно, он и сюда приехал, чтобы опознать и обвинить одного из них. С самого начала мне казалось вероятным, что таким может быть только хозяин, Дженкинс. А теперь я вполне убежден, что он и есть тот самый «нежелательный иностранец», над которым Тернбул требовал суда за совсем другие подвиги. Как видите, охотник держал про запас ещё один выстрел.

— Но вы сказали, что убийца — первоклассный стрелок.

— Дженкинс отличный стрелок, — ответил Фишер. — Первоклассный стрелок, который притворился плохим. И знаете, что ещё, кроме вашей фразы, натолкнуло меня на подозрение? Рассказы моего кузена. Дженкинс сбил кокарду и прострелил флюгер — надо быть первоклассным стрелком, чтобы стрелять так. Надо стрелять очень метко, чтобы попасть в кокарду, а не в голову или шляпу. Если бы эти промахи были действительно случайными, только один шанс из тысячи, что они поразили бы именно такие заметные мишени. Дженкинс потому их и выбрал. О петухе и кокарде рассказывали все, кому не лень. Потому-то он и не снимает с беседки исковерканный флюгер — хочет увековечить эту сказку, превратить её в легенду, в броню. А сам сидит с ружьём в засаде и высматривает жертву.

Это ещё не всё. Посмотрите на беседку. Она тоже стоит внимания. В ней есть всё, за что Дженкинса поднимают на смех, — и позолота, и кричащие цвета, вся та вульгарность, которая пристала выскочке. А выскочки, наоборот, всего этого избегают. В обществе их, слава богу, достаточно, и мы хорошо их знаем. Больше всего они боятся походить на выскочек. Обычно они только и думают, как бы усвоить хороший тон и не сделать промаха. Они отдаются на милость декораторов и прочих знатоков, которые всё для них делают. Едва ли найдётся хоть один миллионер, который отважился бы держать в своём доме стулья с позолоченными вензелями, как в той охотничьей комнате. То же самое с фамилией. Такие фамилии, как Томкинс или Дженкинс, смешны, но не банальны; я хочу сказать, они банальны, но не распространены. Другими словами, они обыденны, но не обычны. Именно такую фамилию надо выбрать, если хочешь, чтобы она выглядела заурядной, но на самом деле она совсем не заурядна. Много ли вы знаете Томкинсов? Эта фамилия встречается гораздо реже, чем, скажем, Тэлбот... А смешная одежда? Дженкинс одевается, как персонаж из «Панча»³². Да он и есть персонаж из «Панча» — вымышленная личность. Он мифическое животное. Его просто нет.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что это значит — быть человеком, которого нет? То есть быть персонажем — и никогда не выходить из образа, подавлять свои достоинства, лишать себя радостей, а главное скрывать свои таланты? Что такое быть лицемером навыворот, прячущим свой дар под личиной ничтожества? Он проявил большую изобретательность, нашёл совершенно новую форму лицемерия. Хитрый негодяй может поддаться под блестящего джентльмена, или почтенного коммерсанта, или филантропа, или святошу, но кричащий клетчатый костюм смешного неотесанного невежды — это действительно ново. Такая маскировка должна очень тяготить человека одарённого. А этот ловкий проходимец поистине разносторонне одарён, он умеет не только стрелять, но и

³² «Панч» — английский сатирический журнал.

рисовать, и писать красками, и, быть может, даже играть на скрипке. И вот такому человеку нужно скрывать свои таланты, но он не может удержаться, чтобы не использовать их хотя бы тайно, без всякой пользы. Если он умеет рисовать, он будет машинально рисовать на промокательной бумаге. Я подозреваю, что этот подлец часто рисовал лицо несчастного Пагги на промокашке. Возможно, сначала он рисовал его кляксами, а позже — точками, или, вернее, дырками. Как-то в уединённом уголке сада он нашёл заброшенную мишень и не мог отказать себе в удовольствии тайком пострелять, как некоторые тайком пьют. Вам показалось, что пробоины разбросаны как попало; они разбросаны, но отнюдь не случайно. Между ними нет двух одинаковых расстояний, все точки нанесены как раз там, куда он метил. Ничто не требует такой математической точности, как шарж. Я сам немного рисую, и уверяю вас, поставить точку как раз там, где вы хотите, — нелёгкая задача, даже если вы рисуете пером, а бумага лежит перед вами. И это чудо, если точки нанесены из ружья. Человек, способный творить такие чудеса, всегда будет стремиться к ним — хотя бы тайно.

Фишер замолчал, а Марч глубокомысленно заметил:

— Не мог же он убить его, как птицу, одним из тех дробовиков.

— Вот почему я пошёл в охотничью комнату, — ответил Фишер. — Он застрелил его из охотничьего ружья, и Берку показалось, что он узнал звук, потому-то он и выбежал из дома без шляпы такой растерянный. Он ничего не увидел, кроме быстро промчавшегося автомобиля; некоторое время он смотрел ему вслед, а потом решил, что ему померещилось.

Они снова замолчали. Фишер сидел на большом камне так же неподвижно, как при их первой встрече, и смотрел на серебристо-серый ручей, убегавший под зелёные кусты.

— Теперь он, конечно, знает правду, — резко сказал Марч.

— Никто не знает правды, кроме меня и вас, — ответил Фишер, и мягкие нотки зазвучали в его голосе, — а я не думаю, чтобы мы с вами когда-нибудь поссорились.

— О чём вы? — изменившимся голосом спросил Марч. — Что вы сделали?

Хорн Фишер пристально смотрел на быстрый ручеёк. Наконец он проговорил:

— Полиция установила, что произошла автомобильная катастрофа.

— Но вы ведь знаете, что это не так, — настаивал Марч.

— Я вам уже говорил, что знаю слишком много, — ответил Фишер, не сводя глаз с воды. — Я знаю об этом и о многом другом. Я знаю, чем и как живут люди этой среды и как у них всё делается. Я знаю, что проходивцу Дженкинсу удалось внушить всем, что он заурядный и смешной человечек. Если я скажу Говарду или Гокетту, что старина Джинк убийца, они, пожалуй, лопнут со смеху у меня на глазах. О, я не уверен, что их смех будет вполне безгрешен, хотя, по-своему, он может быть искренним. Им нужен старый Джинк, они не могут без него обойтись. Я и сам не без греха. Я люблю Говарда и не хочу, чтобы он оказался на мели, а это непременно случится, если Джинк не заплатит за свой титул. На последних выборах они были чертовски близки к провалу, уверяю вас. Но главная причина моего молчания другая: его разоблачить невозможно. Мне никто не поверит, это слишком немислимо. Сбитый набок флюгер мигом превратит всё в весёлую шутку.

— А вы не думаете, что молчать позорно? — спокойно спросил Марч.

— Я многое думаю. Я думаю, например, что, если когда-нибудь взорвут динамитом и пошлют к чёрту это хорошее, связанное крепким узлом общество, человечество не пострадает. Но не судите меня слишком строго за то, что я знаю это общество. Потому-то я и трачу время так бессмысленно — ловлю вонючую рыбу.

Наступило молчание. Фишер снова уселся на камень, затем добавил:

— Я же говорил вам — крупную рыбу приходится выбрасывать в воду.

ПРИЧУДА РЫБОЛОВА

Порой явление бывает настолько необычно, что его попросту невозможно запомнить. Если оно совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, дальнейшие события не воскрешают его в памяти, оно сохраняется лишь в

подсознании, чтобы благодаря какой-нибудь случайности всплыть на поверхность лишь долгое время спустя. Оно ускользает, словно забытый сон...

В ранний час, на заре, когда тьма ещё только переходила в свет, глазам человека, спускавшегося на лодке по реке в Западной Англии, представилось удивительное зрелище. Человек в лодке не грезил, право же, он давно освободился от грёз, этот преуспевающий журналист Гарольд Марч, который намеревался взять интервью у нескольких политических деятелей в их загородных усадьбах. Однако случай, свидетелем которого он стал, был настолько нелеп, что вполне мог пригрезиться, и все же он попросту скользнул мимо сознания Марча, затерявшись среди дальнейших событий совершенно иного порядка, и журналист так и не вспомнил о нём до тех пор, пока долгое время спустя ему не стал ясен смысл происшедшего.

Белёсый утренний туман стлался по полям и камышовым зарослям на одном берегу реки, по другому, у самой воды, тянулась тёмно-красная кирпичная стена. Бросив весла и продолжая плыть по течению, Марч обернулся и увидел, что однообразие этой бесконечной стены нарушил мост, довольно изящный мост в стиле восемнадцатого века, с каменными опорами, некогда белыми, но теперь посеревшими от времени. После разлива вода стояла ещё высоко, и карликовые деревья глубоко погрузились в реку, а под аркой моста белел лишь узкий просвет.

Когда лодка вошла под тёмные своды моста, Марч заметил, что навстречу плывет другая лодка, в которой тоже всего один человек. Поза гребца мешала как следует его разглядеть, но как только лодка приблизилась к мосту, незнакомец встал на ноги и обернулся. Однако он был уже настолько близко от пролёта, что казался чёрным силуэтом на фоне белого утреннего света, и Марч не увидел ничего, кроме длинных бакенбард или кончиков усов, придававших облику незнакомца что-то зловещее, словно из щёк у него росли рога. Марч, разумеется, не обратил бы внимания даже на эти подробности, если бы в ту же секунду не произошло нечто необычайное. Поравнявшись с мостом, человек подпрыгнул и повис на нём, дрыгая ногами и предоставив пустой лодке плыть дальше. Какой-то миг Марчу были видны две чёрные болтающиеся ноги, затем одна чёрная болтающаяся нога, и, наконец, — ничего, кроме бурного потока и бесконечной стены. Но всякий раз, как Марч вспоминал об этом событии долгое время спустя, когда ему уже стала известна связанная с ним история, оно неизменно принимало всё ту же фантастическую форму, словно эти нелепые ноги были частью орнамента моста, чем-то вроде гротескного скульптурного украшения. А в то утро Марч попросту поплыл дальше, оглядывая реку. На мосту он не увидел бегущего человека — должно быть, тот успел скрыться, и всё же Марч почти бессознательно отметил про себя, что среди деревьев у въезда на мост, со стороны, противоположной стене, виднелся фонарный столб, а рядом с ним — широкая спина ничего не подозревавшего полисмена.

Покуда Марч добирался до святых мест своего политического паломничества, у него было немало забот, отвлекавших его от странного происшествия у моста: не так-то легко одному справиться с лодкой даже на столь пустынной реке. И в самом деле, он отправился один лишь благодаря непредвиденной случайности. Лодка была куплена для поездки, задуманной совместно с другом, которому в последнюю минуту пришлось изменить все свои планы. Гарольд Марч собирался совершить это путешествие по реке до Уилловуд-Плейс, где гостил в то время премьер-министр, со своим другом Хорном Фишером. Известность Гарольда Марча непрерывно росла; его блестящие политические статьи открывали ему двери всё более влиятельных салонов; но он ни разу не встречался с премьер-министром. Едва ли хоть кому-нибудь из широкой публики был известен Хорн Фишер; но он знал премьер-министра с давних пор. Вот почему, если бы это совместное путешествие состоялось, Марч, вероятно, ощущал бы некоторую склонность поспешить, а Фишер — смутное желание продлить поездку. Ведь Фишер принадлежал к тому кругу людей, которые знают премьер-министра со дня своего рождения. Должно быть, они не находят в этом особого удовольствия, что же касается Фишера, то он как будто родился усталым. Этот высокий,

бледный, бесстрастный человек с лысеющим лбом и светлыми волосами редко выражал досаду в какой-нибудь иной форме, кроме скуки. И всё же он был, несомненно, раздосадован, когда, укладывая в свой лёгкий саквояж рыболовные снасти и сигары для предстоящей поездки, получил телеграмму из Уилловуда с просьбой немедленно выехать поездом, так как премьер-министр должен отбыть из имения в тот же вечер. Фишер знал, что Марч не сможет тронуться в путь раньше следующего дня; он любил Марча и заранее предвкушал удовольствие, которое доставит им совместная прогулка по реке. Фишер не испытывал особой приязни или неприязни к премьер-министру, но зато испытывал сильнейшую неприязнь к тем нескольким часам, которые ему предстояло провести в поезде. Тем не менее он терпел премьер-министров, как терпел железные дороги, считая их частью того строя, разрушение которого отнюдь не входило в его планы. Поэтому он позвонил Марчу и попросил его, сопровождая просьбу множеством извинений, пересыпанных сдержанными проклятиями, спуститься вниз по реке, как было условлено, и в назначенное время встретиться в Уилловуде. Затем вышел на улицу, кликнул такси и поехал на вокзал. Там он задержался у киоска, чтобы пополнить свой лёгкий багаж несколькими дешёвыми сборниками детективных историй, которые прочёл с удовольствием, не подозревая, что ему предстоит стать действующим лицом не менее загадочной истории.

Незадолго до заката Фишер остановился у ворот парка, раскинувшегося на берегу реки; это была усадьба Уилловуд-Плейс, одно из небольших поместий сэра Исаака Гука, крупного судовладельца и газетного магната. Ворота выходили на дорогу со стороны, противоположной реке; но в пейзаже было нечто, постоянно напоминавшее путнику о близости реки. Сверкающие полосы воды, словно шпаги или копья, неожиданно мелькали среди зелёных зарослей; и даже в самом парке, разделённом на площадки и окаймлённом живой изгородью из кустов и высоких деревьев, воздух был напоен журчанием воды. Первая зелёная лужайка, на которой очутился Фишер, была запущенным крокетным полем, где какой-то молодой человек играл в крокет сам с собой. Однако он занимался этим без всякого азарта, видимо, просто чтобы немного попрактиковаться; его болезненное красивое лицо выглядело скорее угрюмым, чем оживлённым. Это был один из тех молодых людей, которые не могут нести бремя совести, предаваясь бездействию, и чье представление о всяком деле неизменно сводится к той или иной игре. Фишер сразу же узнал в темноволосом элегантном молодом человеке Джеймса Буллена, неизвестно почему прозванного Бункером. Он приходился племянником сэру Исааку Гуку, но в данную минуту гораздо существенней было то, что он являлся к тому же личным секретарём премьер-министра.

— Привет, Бункер, — проронил Хорн Фишер. — Вас-то мне и нужно. Что, ваш патрон ещё не отбыл?

— Он пробудет здесь только до обеда, — ответил Буллен, следя глазами за жёлтым шаром. — Завтра в Бирмингеме ему предстоит произнести большую речь, так что вечером он двинет прямо туда. Сам себя повезёт. Я хочу сказать, сам поведёт машину. Это единственное, чем он действительно гордится.

— Значит, вы останетесь здесь, у дядюшки, как и подобает пай-мальчику? — заметил Фишер. — Но что будет делать премьер в Бирмингеме без острот, которые нашёптывает ему на ухо его блестящий секретарь?

— Бросьте свои насмешки, — сказал молодой человек по прозвищу Бункер. — Я только рад, что не придётся тащиться следом за ним. Он ведь ничего не смыслит в маршрутах, расходах, гостиницах и тому подобных вещах, и я вынужден носиться повсюду, точно мальчик на побегушках. А что касается дяди, то, поскольку мне предстоит унаследовать усадьбу, приличие требует, чтобы я по временам бывал здесь.

— Ваша правда, — согласился Фишер. — Ну, мы ещё увидимся. — И, миновав площадку, он двинулся дальше через проход в изгороди.

Он шёл по поляне, направляясь к лодочной пристани, а вокруг него, по всему парку, где царила река, под золотым вечерним небосводом словно витал неуловимый аромат старины. Следующая зелёная лужайка сперва показалась Фишеру совершенно пустой, но

затем в тёмном уголке, под деревьями, он неожиданно заметил гамак, человек, лежавший в гамаке, читал газету, свесив одну ногу и тихонько ею покачивая. Фишер и его окликнул по имени, и тот, соскользнув на землю, подошёл близко. Словно по воле рока на Фишера отовсюду веяло прошлым: эту фигуру вполне можно было принять за призрак викторианских времен, явившийся с визитом к призракам крокетных ворот и молотков. Перед Фишером стоял пожилой человек с несуразно длинными бакенбардами, воротничком и галстуком причудливого, щегольского покроя. Сорок лет назад он был светским денди и ухитрился сохранить прежний лоск, пренебрегая при этом модами. В гамаке рядом с «Морнинг пост» лежал белый цилиндр.

Это был герцог Уэстморлендский, последний отпрыск рода, насчитывавшего несколько столетий, древность которого подтверждалась историей, а отнюдь не ухищрениями геральдики. Фишер лучше, чем кто бы то ни было знал, как редко встречаются в жизни подобные аристократы, столь часто изображаемые в романах. Но, пожалуй, куда интереснее было бы узнать мнение мистера Фишера насчёт того, обязан ли герцог всеобщим уважением своей безукоризненной родословной или же весьма крупному состоянию.

— Вы тут так удобно устроились, — сказал Фишер, — что я принял вас за одного из слуг. Я ищу кого-нибудь, чтобы отдать саквояж. Я уехал поспешно и не взял с собой камердинера.

— Представьте, я тоже, — не без гордости заявил герцог. — Не имею такого обыкновения. Единственный человек на свете, которого я не выношу, это камердинер. С самых ранних лет я привык одеваться без чужой помощи и, кажется, неплохо справляюсь с этим. Быть может, теперь я снова впал в детство, но не до такой степени, чтобы меня одевали, как ребёнка.

— Премьер-министр тоже не привёз камердинера, но зато привез секретаря, — заметил Фишер. — А ведь эта должность куда хуже. Верно ли, что Харкер здесь?

— Сейчас он на пристани, — ответил герцог равнодушным тоном и снова уткнулся в газету.

Фишер миновал последнюю зелёную изгородь и вышел к берегу, оглядывая реку с лесистым островком напротив причала. И действительно, он сразу увидел тёмную худую фигуру человека, чья манера сутулиться чем-то напоминала стервятника; в судебных залах хорошо знали эту манеру, столь свойственную сэру Джону Харкеру, генеральному прокурору. Лицо его хранило следы напряжённого умственного труда: из трёх бездельников, собравшихся в парке, он один самостоятельно проложил себе дорогу в жизни, к облысевшему лбу и впалым вискам прилипли блёклые рыжие волосы, прямые, словно проволоки.

— Я ещё не видел хозяина, — сказал Хорн Фишер чуточку более серьёзным тоном, чем до этого, — но надеюсь повидаться с ним за обедом.

— Видеть его вы можете хоть сейчас, но повидаться не выйдет, — заметил Харкер.

Он кивнул в сторону острова, и, всматриваясь в указанном направлении, Фишер разглядел выпуклую лысину и конец удилища, в равной степени неподвижно вырисовывавшиеся над высоким кустарником на фоне реки. Видимо, рыболов сидел, прислонившись к пню, спиной к причалу, и хотя лица не было видно, но по форме головы его нельзя было не узнать.

— Он не любит, чтобы его беспокоили, когда он рыбачит, — продолжал Харкер. — Старый чудак не ест ничего, кроме рыбы, и гордится тем, что ловит её сам. Он, разумеется, ярый поборник простоты, как многие из миллионеров. Ему нравится, возвращаясь домой, говорить, что он сам обеспечил себе пропитание, как всякий труженик.

— Объясняет ли он при этом, каким образом удаётся ему выдувать столько стеклянной посуды и обивать гобеленами свою мебель? — осведомился Фишер. — Или изготавливать серебряные вилки, выращивать виноград и персики, ткать ковры? Говорят, он всегда был занятым человеком.

— Не припомню, чтобы он говорил такое, — ответил юрист. — Но что означают эти

ваши социальные нападки?

— Признаться, я устал от той «простой, трудовой жизни», которой живёт наш узкий кружок, — сказал Фишер. — Ведь мы беспомощны почти во всем и подымаем ужасный шум, когда удаётся обойтись без чужой помощи хоть в чём-нибудь. Премьер-министр гордится тем, что обходится без шофёра, но не может обойтись без мальчика на побегушках, и бедному Бункеру приходится быть каким-то гением-универсалом, хотя, видит бог, он совершенно не создан для этого. Герцог гордится тем, что обходится без камердинера; однако он доставляет чёртову пропасть хлопот множеству людей, вынуждая их добывать то невероятно старомодное платье, которое носит. Должно быть, им приходится обшаривать Британский музей или же разрывать могилы. Чтобы достать один только белый цилиндр, пришлось, наверное, снарядить целую экспедицию, ведь отыскать его было столь же трудно, как открыть Северный полюс. А теперь этот старикан Гук заявляет, что обеспечивает себя рыбой, хотя сам не в состоянии обеспечить себя ножами или вилками, которыми её едят. Он прост, пока речь идёт о простых вещах, вроде еды, но я уверен, он роскошествует, когда дело доходит до настоящей роскоши, и особенно — в мелочах. О вас я не говорю — вы достаточно потрудились, чтобы теперь разыгрывать из себя человека, который ведёт трудовую жизнь.

— Порой мне кажется, — заметил Харкер, — что вы скрываете от нас одну ужасную тайну — умение быть иногда полезным. Не затем ли вы явились сюда, чтобы повидать премьера до его отъезда в Бирмингем?

— Да, — ответил Хорн Фишер, понизив голос. — Надеюсь, мне удастся поймать его до обеда. А потом он должен о чём-то переговорить с сэром Исааком.

— Глядите! — воскликнул Харкер. — Сэр Исаак кончил удить. Он ведь гордится тем, что встаёт на заре и возвращается на закате.

И действительно, старик на острове поднялся на ноги и повернулся, так что стала видна густая седая борода и сморщенное личико со впалыми щеками, свирепым изгибом бровей и злыми, колючими глазками. Бережно неся рыболовные снасти, он начал переходить через мелкий поток по плоским камням несколько ниже причала. Затем направился к гостям и учтиво поздоровался с ними. В корзинке у Гука было несколько рыб, и он пребывал в отличном расположении духа.

— Да, — сказал он, заметив на лице Фишера вежливое удивление. — Я встаю раньше всех. Ранняя птичка съедает червя.

— На свою беду, — возразил Харкер, — червя съедает ранняя рыбка.

— Но ранний рыболов съедает рыбку, — угрюмо возразил старик.

— Насколько мне известно, сэр Исаак, вы не только встаёте рано, но и ложитесь поздно, — вставил Фишер. — По-видимому, вы очень мало спите.

— Мне всегда не хватало времени для сна, — ответил Гук, — а сегодня вечером наверняка придётся лечь поздно. Премьер-министр сказал, что желает со мной побеседовать. Так что, пожалуй, пора одеваться к обеду.

В тот вечер за обедом не было сказано ни слова о политике; произносились главным образом светские любезности. Премьер-министр лорд Меривейл, высокий худой человек с седыми волнистыми волосами, серьёзно восхищался рыболовным искусством хозяина и проявленными им ловкостью и терпением; беседа мерно журчала, точно мелкий ручей между камнями.

— Конечно, нужно обладать терпением, чтобы выждать, пока рыба клюнет, — заметил сэр Исаак, — и ловкостью, чтобы вовремя её подсесть, но мне обычно везёт.

— А может крупная рыба уйти, оборвав леску? — спросил политический деятель с почтительным интересом.

— Только не такую, как у меня, — самодовольно ответил Гук. — Признаться, я неплохо разбираюсь в рыболовных снастях. Так что у рыбы скорее хватит сил стащить меня в реку, чем оборвать леску.

— Какая это была бы утрата для общества! — сказал премьер-министр, наклоня

голову.

Фишер слушал весь этот вздор с затаённым нетерпением, ожидая случая заговорить с премьер-министром, и, как только хозяин поднялся, вскочил с редким проворством. Ему удалось поймать лорда Меривейла, прежде чем сэр Исаак успел увести его для прощальной беседы. Фишер собирался сказать всего несколько слов, но сделать это было необходимо. Распахивая дверь перед премьером, он тихо произнёс:

— Я виделся с Монтмирейлом: он говорит, что, если мы не заявим немедленно протест в защиту Дании, Швеция захватит порты.

Лорд Меривейл кивнул:

— Я как раз собираюсь выслушать мнение Гука по этому поводу.

— Мне кажется, — сказал Фишер с лёгкой усмешкой, — мнение его нетрудно предугадать.

Меривейл ничего не ответил и непринуждённо проследовал к дверям библиотеки, куда уже удалился хозяин. Остальные направились в бильярдную; Фишер коротко заметил юристу:

— Эта беседа не займёт много времени. Практически они уже пришли к соглашению.

— Гук целиком поддерживает премьер-министра, — согласился Харкер.

— Или премьер-министр целиком поддерживает Гука, — подхватил Хорн Фишер и принялся бесцельно гонять шары по бильярдной доске.

На следующее утро Хорн Фишер по своей давней дурной привычке проснулся поздно и не торопился сойти вниз; должно быть, у него не было охоты полакомиться червяком. Видимо, такого желания не было и у остальных гостей, которые ещё только завтракали, хотя время уже близилось к полудню. Вот почему первую сенсацию этого необычайного дня им не пришлось ждать слишком долго. Она явилась в облике молодого человека со светлыми волосами и открытым лицом, чья лодка, спустившись вниз по реке, причалила к маленькой пристани. Это был не кто иной, как журналист Гарольд Марч, друг мистера Фишера, начавший свой далёкий путь на рассвете в то самое утро. Сделав остановку в большом городе и напившись там чаю, он прибыл в усадьбу к концу дня; из кармана у него торчала вечерняя газета. Он нагрязнул в прибрежный парк подобно тихой и благовоспитанной молнии и к тому же сам не подозревал об этом.

Первый обмен приветствиями и рукопожатиями носил довольно банальный характер и сопровождался неизбежными извинениями за странное поведение хозяина. Он, разумеется, снова ушёл с утра рыбачить, и его нельзя беспокоить прежде известного часа, хотя до того места, где он сидит, рукой подать.

— Видите ли, это его единственная страсть, — пояснил Харкер извиняющимся тоном, — но в конце концов он ведь у себя дома; во всех остальных отношениях он очень гостеприимный хозяин.

— Боюсь, — заметил Фишер, понизив голос, — что это уже скорее мания, а не страсть. Я знаю, как бывает, когда человек в таком возрасте начинает увлекаться чем-нибудь вроде этих паршивых речных рыбешек. Вспомните, как дядя Тэлбота собирал зубочистки, а бедный старый Баззи — образцы табачного пепла. В своё время Гук сделал множество серьёзных дел, — он вложил немало сил в лесоторговлю со Швецией и в Чикагскую мирную конференцию, — но теперь мелкие рыбешки интересуют его куда больше крупных дел.

— Ну, полно вам, в самом деле, — запротестовал генеральный прокурор. — Так мистер Марч, чего доброго, подумает, что попал в дом к сумасшедшему. Поверьте, мистер Гук занимается рыболовством для развлечения, как и всяким другим спортом. Просто характер у него такой, что развлекается он несколько мрачным способом. Но держу пари, если бы сейчас пришли важные новости относительно леса или торгового судоходства, он тут же бросил бы свои развлечения и всех рыб.

— Право, не знаю, — заметил Хорн Фишер, лениво поглядывая на остров.

— Кстати, что новенького? — спросил Харкер у Гарольда Марча. — Я вижу у вас вечернюю газету, одну из тех предприимчивых вечерних газет, которые выходят по утрам.

— Здесь начало речи лорда Меривейла в Бирмингеме, — ответил Марч, передавая ему газету. — Только небольшой отрывок, но, мне кажется, речь неплохая.

Харкер взял газету, развернул её и заглянул в отдел экстренных сообщений. Как и сказал Марч, там был напечатан лишь небольшой отрывок. Но отрывок этот произвёл на сэра Джона Харкера необычайное впечатление. Его насупленные брови поднялись и задрожали, глаза прищурились, а жёсткая челюсть на секунду отвисла. Он как бы мгновенно постарел на много лет. Затем, стараясь придать голосу уверенность и твёрдой рукой передавая газету Фишеру, он сказал просто:

— Что ж, можно держать пари. Вот важная новость, которая даёт вам право побеспокоить старика.

Хорн Фишер заглянул в газету, и его бесстрастное, невыразительное лицо также переменялось. Даже в этом небольшом отрывке было два или три крупных заголовка, и в глаза ему бросилось: «Сенсационное предостережение правительству Швеции» и «Мы протестуем».

— Что за чёрт, — произнёс он свистящим шёпотом.

— Нужно немедленно сообщить Гуку, иначе он никогда не простит нам этого, — сказал Харкер. — Должно быть, он сразу же пожелает видеть премьера, хотя теперь, вероятно, уже поздно. Я иду к нему сию же минуту, и, держу пари, он тут же забудет о рыбах. — И он торопливо зашагал вдоль берега к переходу из плоских камней.

Марч глядел на Фишера, удивлённый тем переполохом, который произвела газета.

— Что всё это значит? — вскричал он. — Я всегда полагал, что мы должны заявить протест в защиту датских портов, это ведь в наших общих интересах. Какое дело до них сэру Исааку и всем остальным? По-вашему, это плохая новость?

— Плохая новость... — повторил Фишер тихо, с непередаваемой интонацией в голосе.

— Неужели это так скверно? — спросил Марч.

— Так скверно? — подхватил Фишер. — Нет, почему же, это великолепно. Это грандиозная новость. Это превосходная новость. В том-то вся и штука. Она восхитительна. Она бесподобна. И вместе с тем она совершенно невероятна.

Он снова посмотрел на серо-зелёный остров, на реку и хмурым взглядом обвёл изгороди и полянки.

— Этот парк мне словно приснился, — проговорил Фишер, — и кажется, я действительно сплю. Но трава зеленеет, вода журчит, и в то же время случилось нечто необычное.

Как только он произнёс это, из прибрежных кустов, прямо над его головой, появилась тёмная сутулая фигура, похожая на стервятника.

— Вы выиграли пари, — сказал Харкер каким-то резким, каркающим голосом. — Старый дурак ни о чём не хочет слышать, кроме рыбы. Он выругался и заявил, что знать ничего не желает о политике.

— Я так и думал, — скромно заметил Фишер. — Что же вы намерены делать?

— По крайней мере, воспользуюсь телефоном этого старого осла, — ответил юрист. — Необходимо точно узнать, что случилось. Завтра мне самому предстоит докладывать правительству. — И он торопливо направился к дому.

Наступило молчание, которое Марч в глубоком замешательстве не решался нарушить, а затем в глубине парка показались нелепые бакенбарды и неизменный белый цилиндр герцога Уэстморленда. Фишер поспешил ему навстречу с газетой в руке и в нескольких словах рассказал о сенсационном отрывке. Герцог, который неторопливо брёл по парку, вдруг остановился как вкопанный и несколько секунд напоминал манекен, стоящий у двери какой-нибудь лавки древностей. Затем Марч услышал его голос, высокий, почти истерический.

— Но нужно показать ему это, нужно заставить его понять? Я уверен, что ему не объяснили как следует! — затем более ровным и даже несколько напыщенным тоном герцог произнёс: — Я пойду и скажу ему сам.

В числе необычайных событий дня Марч надолго запомнил эту почти комическую сцену: пожилой джентльмен в старомодном белом цилиндре, осторожно переступая с камня на камень, переходил речку, словно Пикадилли. Добравшись до острова, он исчез за деревьями, а Марч и Фишер повернулись навстречу генеральному прокурору, который вышел из дома с выражением мрачной решимости на лице.

— Все говорят, — сообщил он, — что премьер-министр произнёс самую блестящую речь в своей жизни. Заключительная часть потонула в бурных и продолжительных аплодисментах. Продажные финансисты и героические крестьяне. На сей раз мы не оставим Данию без защиты.

Фишер кивнул и поглядел в сторону реки, откуда возвращался герцог; вид у него был несколько озадаченный. В ответ на расспросы он доверительно сообщил осипшим голосом:

— Право, я боюсь, что наш бедный друг не в себе. Он отказался слушать: он... э-э... сказал, что я распугаю рыбу.

Человек с острым слухом мог бы расслышать, как мистер Фишер пробормотал что-то по поводу белого цилиндра, но сэр Джон Харкер вмешался в разговор более решительно:

— Фишер был прав. Я не поверил своим глазам, но факт остаётся фактом: старик совершенно поглощён рыбной ловлей. Даже если дом загорится у него за спиной, он не сдвинется с места до самого заката.

Фишер тем временем взобрался на невысокий пригорок и бросил долгий испытующий взгляд, но не в сторону острова, а в сторону отдалённых лесистых холмов, окаймлявших долину. Вечернее небо, безоблачное, как и накануне, простиралось над окружающей местностью, но на западе оно теперь отливало уже не золотом, а бронзой; тишину нарушало лишь монотонное журчание реки. Внезапно у Хорна Фишера вырвалось приглушённое восклицание, и Марч вопросительно поглядел на него.

— Вы говорили о скверных вестях, — сказал Фишер. — Что ж, вот действительно скверная весть. Боюсь, что это очень скверное дело.

— О какой вести вы говорите? — спросил Марч, угадывая в его тоне что-то странное и зловещее.

— Солнце село, — ответил Фишер.

Затем он продолжал с видом человека, сознающего, что он изрек нечто роковое:

— Нужно, чтобы туда пошёл кто-нибудь, кого он действительно выслушает. Быть может, он безумец, но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии есть логика. Именно это и сводит человека с ума. А Гук никогда не остаётся там после заката, так как в парке быстро темнеет. Где его племянник? Мне кажется, племянника он действительно любит.

— Глядите! — воскликнул внезапно Марч. — Он уже побывал там. Вон он возвращается.

Взглянув на реку, они увидели фигуру Джеймса Буллена, тёмную на фоне заката; он торопливо и неловко перебирался с камня на камень. Один раз он поскользнулся, и все услышали негромкий всплеск. Когда он подошёл к стоявшим на берегу, его оливковое лицо было неестественно бледным.

Остальные четверо, собравшись на прежнем месте, воскликнули почти в один голос:

— Ну, что он теперь говорит?

— Ничего. Он не говорит... ничего.

Фишер секунду пристально глядел на молодого человека, затем словно стряхнул с себя оцепенение и, сделав Марчу знак следовать за ним, начал перебираться по камням. Вскоре они были уже на проторённой тропинке, которая огибала остров и вела к тому месту, где сидел рыболов. Здесь они остановились и молча стали глядеть на него.

Сэр Исаак Гук всё ещё сидел, прислонившись к пню, и по весьма основательной причине. Кусок его прекрасной, прочной лески был скручен и дважды захлестнут вокруг шеи, а затем дважды — вокруг пня за его спиной. Хорн Фишер кинулся к рыболову и притронулся к его руке: она была холодна, как рыбаья кровь.

— Солнце село, — произнёс Фишер тем же зловещим тоном, — и он никогда больше не увидит восхода.

Десять минут спустя все пятеро, глубоко потрясённые, с бледными, настороженными лицами, снова собрались в парке. Прокурор первый пришёл в себя; речь его была чёткой, хотя и несколько отрывистой.

— Необходимо оставить тело на месте и вызвать полицию, — сказал он. — Мне кажется, я могу собственной властью допросить слуг и посмотреть, нет ли каких улик в бумагах несчастного. Само собой, джентльмены, все вы должны оставаться в усадьбе.

Вероятно, быстрые и суровые распоряжения законника вызвали у остальных такое чувство, словно захлопнулась ловушка или западня. Во всяком случае, Буллен внезапно вспыхнул или, вернее, взорвался, потому что голос его прозвучал в тишине парка подобно взрыву.

— Я даже не дотронулся до него! — закричал он. — Клянусь, я не причастен к этому!

— Кто говорит, что вы причастны? — спросил Харкер, пристально взглянув на него. — Отчего вы орёте, прежде чем вас ударили?

— А что вы так смотрите на меня? — выкрикнул молодой человек со злобой. — Думаете, я не знаю, что мои проклятые долги и виды на наследство вечно у вас на языке?

К великому удивлению Марча, Фишер не принял участия в этой стычке. Он отвёл герцога в сторону и, когда они отошли достаточно далеко, чтобы их не услышали, обратился к нему с необычайной простотой:

— Уэстморленд, я намерен перейти прямо к делу.

— Ну, — отозвался тот, бесстрастно уставившись ему в лицо.

— У вас были причины убить его.

Герцог продолжал глядеть на Фишера, но, казалось, лишился дара речи.

— Я надеюсь, что у вас были причины убить его, — продолжал Фишер мягко. — Дело в том, что стечение обстоятельств несколько необычное. Если у вас были причины совершить убийство, вы, по всей вероятности, не виновны. Если же у вас их не было, то вы, по всей вероятности, виновны.

— О чём вы, чёрт побери, болтаете? — спросил герцог, рассвирепев.

— Всё очень просто, — ответил Фишер. — Когда вы пошли на остров, Гук был либо жив, либо уже мёртв. Если он был жив, его, по-видимому, убили вы: в противном случае непонятно, что заставило вас промолчать. Но если он был мёртв, а у вас имелись причины его убить, вы могли промолчать из страха, что вас заподозрят. — Выдержав паузу, он рассеянно заметил: — Кипр — прекрасный остров, не так ли? Романтическая обстановка, романтические люди. На молодого человека это действует опьяняюще.

Герцог вдруг стиснул пальцы и хрипло сказал:

— Да, у меня была причина.

— Тогда всё в порядке, — вымолвил Фишер, протягивая ему руку с видом величайшего облегчения. — Я был совершенно уверен, что это сделали не вы; вы перепугались, когда увидели, что случилось, и это только естественно. Словно сбился дурной сон, верно?

Во время этой странной беседы Харкер, не обращая внимания на выходку оскорблённого Буллена, вошёл в дом и тотчас же возвратился очень оживлённый, с пачкой бумаг в руке.

— Я вызвал полицию, — сказал он, останавливаясь и обращаясь к Фишеру, — но, кажется, я уже проделал за них главную работу. По-моему, всё ясно. Тут есть один документ...

Он осёкся под странным взглядом Фишера, который заговорил, в свою очередь:

— Ну, а как насчёт тех документов, которых тут нет? Я имею в виду те, которых уже нет, — помолчав, он добавил: — Карты на стол, Харкер. Просматривая эти бумаги с такой поспешностью, не старались ли вы найти нечто такое, что... что желали бы скрыть?

Харкер и бровью не повёл, но осторожно покосился на остальных.

— Мне кажется, — успокоительным тоном продолжал Фишер, — именно поэтому вы и

солгали нам, будто Гук жив. Вы знали, что вас могут заподозрить, и не осмелились сообщить об убийстве. Но поверьте мне, теперь гораздо лучше сказать правду.

Осунувшееся лицо Харкера внезапно покраснело, словно озаренное каким-то адским пламенем.

— Правду! — вскричал он. — Вашему брату легко говорить правду! Каждый из вас родился в сорочке и чванится незапятнанной добродетелью только потому, что ему не пришлось украсть эту сорочку у другого. Я же — родился в пимликских меблированных комнатах и должен был сам добыть себе сорочку! А если человек, пробивая себе в юности путь, нарушит какой-нибудь мелкий и, кстати, весьма сомнительный закон, всегда найдётся старый вампир, который воспользуется этим и всю жизнь будет сосать из него кровь.

— Гватемала, не так ли? — сочувственно заметил Фишер.

Харкер вздрогнул от неожиданности. Затем он сказал:

— Очевидно, вы знаете всё, как господь всеведущий.

— Я знаю слишком много, — ответил Хорн Фишер, — но, к сожалению, совсем не то, что нужно.

Трое остальных подошли к ним, но прежде чем они успели приблизиться, Харкер сказал голосом, который снова обрел твёрдость:

— Да, я уничтожил одну бумагу, но зато нашёл другую, которая, как мне кажется, снимает подозрение со всех нас.

— Прекрасно, — отозвался Фишер более громким и бодрым тоном, — давайте посмотрим.

— Поверх бумаг сэра Исаака, — пояснил Харкер, — лежало письмо от человека по имени Хуго. Он грозился убить нашего несчастного друга именно таким способом, каким тот действительно был убит. Это сумасбродное письмо, полное издёвок, — можете взглянуть сами, — но в нём особо упоминается о привычке Гука удить рыбу на острове. И главное, человек этот сам признает, что пишет, находясь в лодке. А так как, кроме нас, на остров никто не ходил, — тут губы его искривила отталкивающая улыбка, — преступление мог совершить только человек, приплывший в лодке.

— Пойдите-ка! — вскричал герцог, и в лице его появилось что-то похожее на оживание. — Да ведь я хорошо помню человека по имени Хуго. Он был чем-то вроде личного камердинера или телохранителя сэра Исаака: ведь сэр Исаак всё-таки опасался покушения. Он... он не пользовался особой любовью у некоторых людей. После какого-то скандала Хуго был уволен, но я его хорошо помню. Это был высоченный венгерец с длинными усами, торчавшими по обе стороны лица...

Словно какой-то луч света мелькнул в памяти Гарольда Марча и вырвал из тьмы утренний пейзаж, подобный видению из забытого сна. По-видимому, это был водный пейзаж: залитые луга, низенькие деревья и тёмный пролет моста. И на какое-то мгновение он снова увидел, как человек с тёмными, похожими на рога усами прыгнул на мост и скрылся.

— Бог мой! — воскликнул он. — Да ведь я же встретил убийцу сегодня утром!

В конце концов Хорн Фишер и Гарольд Марч всё-таки провели день вдвоём на реке, так как вскоре после прибытия полиции маленькое общество распалось. Было объявлено, что показания Марча снимают подозрение со всех присутствующих и подтверждают улики против бежавшего Хуго. Хорн Фишер сомневался, будет ли венгерец когда-нибудь пойман; видимо, Фишер не имел особого желания распутывать это дело, так как облокотился на борт лодки и, покуривая, наблюдал, как колышутся камыши, медленно уплывая назад.

— Это он хорошо придумал — прыгнуть на мост, — сказал Фишер. — Пустая лодка мало о чём говорит. Никто не видел, чтобы он причаливал к берегу, а с моста он сошёл, если можно так выразиться, не входя на него. Он опередил преследователей на двадцать четыре часа, а теперь сбреет усы и скроется. По-моему, есть все основания надеяться, что ему удастся уйти.

— Надеяться? — повторил Марч и перестал грести.

— Да, надеяться, — повторил Фишер. — Прежде всего, я не намерен участвовать в

вендетте только потому, что кто-то прикончил Гука. Вы, вероятно, уже догадались, что за птица был этот Гук. Простой, энергичный промышленный магнат оказался подлым кровопийцей и вымогателем. Почти о каждом ему была известна какая-нибудь тайна: одна из них касалась бедняги Уэстморленда, который в юности женился на Кипре, и могла скомпрометировать герцогиню, другая — Харкера, рискнувшего деньгами своего клиента в самом начале карьеры. Поэтому-то они и перепугались, когда увидели, что он мёртв. Они чувствовали себя так, словно сами совершили это убийство во сне. Но, признаться, есть ещё одна причина, по которой я не хочу, чтобы наш венгерец был повешен.

— Что ж это за причина? — спросил Марч.

— Дело в том, что Хуго не совершал убийства, — ответил Фишер.

Гарольд Марч вовсе оставил весла, и некоторое время лодка плыла по инерции.

— Знаете, я почти ожидал чего-нибудь в этом роде, — сказал он. — Это было никак не обосновано, но предчувствие висело в воздухе подобно грозовой туче.

— Напротив, необоснованно было бы считать Хуго виновным, — возразил Фишер. — Разве вы не видите, что они осуждают его на том же основании, на котором оправдали всех остальных? Харкер и Уэстморленд молчали потому, что нашли Гука убитым и знали, что имеются документы, которые могут навлечь на них подозрение. Хуго тоже нашёл его убитым и тоже знал, что имеется письмо, которое может навлечь на него подозрение. Это письмо он сам написал накануне.

— Но в таком случае, — сказал Марч, нахмурившись, — в какой же ранний час было совершено убийство? Когда я встретил Хуго, едва начинало светать, а ведь от острова до моста путь не близкий.

— Всё объясняется очень просто, — сказал Фишер. — Преступление было совершено не утром. Оно было совершено не на острове.

Марч глядел в искрящуюся воду и молчал, но Фишер продолжал так, словно ему задали вопрос:

— Всякое умно задуманное убийство непременно использует характерные, хотя и необычные, причудливые стороны обычной ситуации. В данном случае характерно было убеждение, что Гук встаёт раньше всех, имеет давнюю привычку удить рыбу на острове и проявляет недовольство, когда его беспокоят. Убийца задушил его в доме вчера ночью, а затем под покровом темноты перетащил труп вместе с рыболовными снастями через ручей, привязал к дереву и оставил под открытым небом. Весь день рыбу на острове удил мертвец. Затем убийца вернулся в дом или, вероятнее всего, пошёл прямо в гараж и укатил в своём автомобиле. Убийца сам водит машину, — Фишер взглянул в лицо другу и продолжал: — Вы ужасаетесь, и история в самом деле ужасна. Но не менее ужасно и другое. Представьте себе, что какой-нибудь человек, преследуемый вымогателем, который разрушил его семью, убьёт негодяя. Вы ведь не откажете ему в снисхождении! А разве не заслуживает снисхождения тот, кто избавил от вымогателя не семью, а целый народ?

Предостережение, сделанное Швеции, по всей вероятности, предотвратит войну, а не развяжет её, и спасет много тысяч жизней, гораздо более ценных, чем жизнь этого удава. О, я не философствую и не намерен всерьёз оправдывать убийцу, но то рабство, в котором находился он сам и его народ, в тысячу раз труднее оправдать. Если бы у меня хватило проницательности, я догадался бы об этом ещё за обедом по его вкрадчивой, жестокой усмешке. Помните, я пересказывал вам этот дурацкий разговор о том, как старому Исааку всегда удаётся подсечь рыбу? В определённом смысле этот мерзавец ловил на удочку не рыб, а людей.

Гарольд Марч взялся за весла и снова начал грести.

— Да, помню, — ответил он. — И ещё речь шла о том, что крупная рыба может оборвать леску и уйти.

ДУША ШКОЛЬНИКА

Чтобы проследить необычный и запутанный маршрут, проделанный за день дядей и племянником (или, точнее говоря, племянником и дядей), понадобилась бы большая карта Лондона. Племянник, свободный от уроков в тот день, считал себя большим докой по части техники и машин, эдаким богом-повелителем кэбов, трамваев, поездов подземки и прочего транспорта, а дядя был при нём, в лучшем случае, жрецом, благоговейно служащим ему и приносящим жертвенные дары. Проще говоря, школьник был важен, как юный принц, совершающий путешествие, а его старший родственник оказался в ранге слуги, который, однако, оплачивает все расходы как хозяин. Школьник был известен миру под именем Саммерса Младшего, а друзьям — как Физик, что свидетельствовало об единственной пока дани общества его успехам в области любительской фотографии и электротехники. Дядя, преподобный Томас Твифорд, был худощавым, живым, седовласым и румяным стариком. В небольшом кругу церковных археологов, которые были единственными в мире людьми, способными понять и оценить собственные научные открытия, он занимал признанное и достойное место. Придирчивый человек наверняка заподозрил бы, что путешествие по Лондону нужно скорее дяде, чем племяннику. На самом деле священник действовал из самых лучших и отеческих побуждений. И всё же, как многие умные люди, он не смог устоять перед соблазном потешить себя игрушками, под тем предлогом, что развлекает ребёнка. Его игрушками были короны и митры, скипетры и государственные мечи, и он, конечно, везде задерживался около них, убеждая себя, что мальчику необходимо познакомиться со всеми лондонскими достопримечательностями. И к концу дня, после долгого, утомительного обеда, он, в завершение путешествия, ещё больше уступил своей слабости и решил посетить место, в которое не заманишь ни одного нормального мальчика. На северном берегу Темзы незадолго перед этим было обнаружено таинственное подземелье, по предположению — часовня, где не было в буквальном смысле слова ничего, кроме одной серебряной монеты. Но знатоку-ценителю эта монета казалась ценнее и привлекательнее Кохинора³³. Она была римской; говорили, что на ней изображён апостол Павел, и потому она вызывала ожесточённые споры, касающиеся ранней Британской Церкви. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что Саммерса Младшего эти споры трогали весьма мало.

Да и вообще интересы и увлечения Саммерса Младшего уже несколько часов удивляли и забавляли его дядюшку. Племянник проявлял удивительное невежество и удивительную осведомлённость английского школьника, который в некоторых вопросах куда сильнее многих взрослых. Например, в Хэмптон-корте³⁴ он решил, что на воскресенье может забыть о кардинале Уолси и Вильгельме Оранском, но его невозможно было оттащить от электрических проводов и звонков соседнего отеля. Его порядком ошеломило Вестминстерское аббатство, что не удивительно с тех пор, как оно стало складом самых больших и самых плохих скульптур восемнадцатого столетия; зато он мгновенно разобрался в вестминстерских омнибусах — как разбирался во всех лондонских, цвета и номера которых он знал не хуже, чем геральдист знает геральдику. Он возмутился бы, если бы вы невзначай спутали светло-зелёный падингтонский с тёмно-зелёным бейзуотерским, как возмутился бы его дядюшка, если бы вы спутали византийскую икону с католической статуей.

— Ты коллекционируешь омнибусы, как марки? — спросил он у племянника. — Для них, пожалуй, нужен довольно большой альбом. Или ты хранишь их в столе?

— Я храню их в голове, — с законной твёрдостью отвечал племянник.

— Что ж, это делает тебе честь, — заметил преподобный Томас Твифорд. Наверное, не стоит и спрашивать, почему ты выбрал именно омнибусы из тысячи других вещей. Едва ли это пригодится тебе в жизни, разве что ты станешь помогать на улицах старушкам путать омнибусы, советуя им выбрать не тот, что надо. Сейчас, кстати, мы вынуждены покинуть

³³ Кохинор — знаменитый индийский бриллиант, в XIX в. стал одним из сокровищ британской короны.

³⁴ Хэмптон-корт — дворец на Темзе, построен кардиналом Уолси.

один из них, ибо нам пора выходить. Я хочу показать тебе так называемую монету святого Павла.

— Она такая же большая, как собор святого Павла? — смиренно спросил отрок, когда они выходили.

У входа в подземелье их взоры привлек необычный человек, которого, судя по всему, привело сюда то же нетерпеливое желание. Это был темнолицый худой мужчина в длинном чёрном одеянии, похожем на сутану, но в странной чёрной шапочке, каких священнослужители не носят, напоминающей скорее всего древние головные уборы персов и вавилонян. Смешная чёрная борода росла лишь справа и слева по подбородку, а большие, странно посаженные глаза напоминали плоские очи древних египетских профилей. Дядя с племянником не успели рассмотреть его, как он нырнул в дверной проём, куда стремились и они.

Здесь, наверху, о существовании подземного святилища свидетельствовала лишь крепкая дощатая будка, какие нередко строят для военных и прочих государственных надобностей; деревянный пол её, вернее, настил, был потолком раскопанного подземелья. Снаружи стоял часовой, а внутри за столом что-то писал офицер англо-индийских войск в немалом чине. Да, любители достопримечательностей сразу убеждались, что эту достопримечательность охраняют чрезвычайно строго. Я сравнивал серебряную монету с Кохинором и пришёл к выводу, что в одном они действительно схожи: по какой-то исторической случайности монета, как и бриллиант, была в числе королевских драгоценностей или, во всяком случае, королевских сокровищ, — до тех пор, пока один из принцев крови не вернул её, совершенно официально, в святилище, где, как считали учёные, ей и полагалось быть. По этой и по другим причинам хранили её с величайшими предосторожностями. Ходили странные слухи о том, что шпионы проносят в святилище взрывчатку, пряча её в одежде и в личных вещах, — и начальство на всякий случай издало один из тех приказов, которые проходят как волны по бюрократической глади: посетителей обязали переодеваться в казённые власяницы, а когда это вызвало ропот — хотя бы выворачивать карманы в присутствии дежурного офицера. Нынешний дежурный, полковник Моррис, оказался невысоким энергичным человеком с суровым дублёным лицом и живыми насмешливыми глазами; противоречие это объяснялось тем, что он смеялся над приказами и строго следил за их неукоснительным выполнением.

— Лично я абсолютно равнодушен ко всяким этим монетам, — признался он, когда Твифорд, с которым он был немного знаком, приступил было к нему с профессиональными расспросами, — но я ношу королевский мундир, и мне не до шуток, когда дядя короля оставляет здесь монету под мою личную ответственность. А сам я на все эти святыни, мощи, реликвии и прочее смотрю по-вольтерьянски, так сказать, скептически.

— Не вижу, почему скептику легче верить в королевское семейство, чем в Святое Семейство, — отвечал Твифорд. — Но карманы я, конечно, выверну, дабы вы убедились, что там нет бомбы.

Небольшая горка карманных мелочей, которую оставил на столе священник, состояла главным образом из бумаг, трубки с кисетом, нескольких римских и древнесаксонских монет, букинистических каталогов и церковных брошюр.

Содержимое карманов племянника, естественно, образовало несколько большую кучу; в неё входили стеклянные шарики, моток бечёвки, электрический фонарик, магнит, рогатка и, конечно, большой складной нож — сложный агрегат, который он решил, по-видимому, продемонстрировать более детально — и стал показывать клещи-кусачки, коловорот для продырявливания дерева, а главное инструмент для изымания камешков из лошадиных подков. Некоторым отсутствием лошадей он пренебрегал, ибо мыслил их лишь как легко заменимый придаток к замечательному инструменту.

Когда же очередь дошла до человека в чёрном, он не стал выворачивать карманов, а только вытянул руки ладонями кверху.

— У меня ничего нет, — сказал он.

— Боюсь, вам всё же придётся опустошить карманы, чтобы я мог удостовериться в этом, — довольно резко ответил полковник.

— У меня нет карманов, — сказал незнакомец.

Мистер Твифорд оглядел опытным взглядом его чёрное одеяние.

— Вы монах? — произнёс он, несколько озадаченный.

— Я маг, — отвечал незнакомец. — Вы слышали, надеюсь, о магии? Я волшебник.

— Ну да?! — вытаращил глаза Саммерс Младший.

— Раньше я был монахом, — продолжал незнакомец. — Но теперь я, как вы бы сказали, беглый монах. Да, я бежал в вечность. Однако монахи знают одну полезную истину: высшая жизнь чужда всякой собственности. У меня нет карманных денег и нет карманов, но все звёзды на небе мои.

— Вам их не достать, — заметил полковник, явно радуясь за звёзды. — Я знал немало магов в Индии, видел фокусы с манго, и всё такое прочее. Там они все мошенники, вы уж мне поверьте! Сам их часто разоблачал. Это было забавно. Гораздо забавнее, чем торчать здесь, во всяком случае... А вот идёт мистер Саймон, он вас проводит в наш старый погреб.

Мистер Саймон, официальный хранитель и гид, оказался молодым человеком с преждевременной сединой; к его большому рту совсем не шли смешные тёмные усики с нафабранными концами, которые, казалось, случайно прилепились к верхней губе, словно бы чёрная муха уселась ему на лицо. Он говорил очень правильно, как говорят чиновники, окончившие Оксфорд; и очень уныло, как все наёмные гиды.

Они спустились по тёмной каменной лестнице, внизу Саймон нажал какую-то кнопку, и распахнулась дверь в тёмное помещение, вернее, в помещение, где только что было темно. Когда тяжёлая, железная дверь отворилась, вспыхнул почти ослепительный свет, что привело в бурный восторг Физика, который тут же спросил, связаны ли как-то дверь и электричество.

— Да, это единая система, — ответил Саймон. — Она была смонтирована в тот день, когда его высочество положил сюда реликвию. Видите, монета заперта в стеклянной витрине и лежит точно так, как он её здесь оставил.

Действительно, одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в том, что хранилище реликвии столь же прочно, сколь и просто. Большое стекло в железной раме отделяло угол комнаты, где стены были прежние, каменные, а потолок деревянный. Не было никакой возможности открыть витрину, не зная секрета, — разве что разбить стекло, что, несомненно, разбудило бы — если бы даже он заснул — ночного сторожа, который всегда находился неподалеку... Глядя пристальней, можно было бы обнаружить ещё более хитроумные приспособления, но взгляд преподобного Томаса Твифорда был прикован к тому, что его интересовало гораздо больше, — к тусклому серебряному диску, отчётливо выделявшемуся на гладком чёрном бархате.

— Монета святого Павла, отежаненная, по преданию, в память посещения апостолом Павлом Британии, хранилась в этой часовне до восьмого века, — говорил Саймон чётким и бесцветным голосом. — В девятом веке, как предполагается, её захватили варвары, и она возвратилась сюда после обращения северных готов в христианство, как сокровище готских королей. Его королевское высочество герцог Готландский хранил её самолично, а когда решил выставить её для всеобщего обозрения, сам же и положил сюда. Она была сразу же навечно замурована стеклом, вот так.

В этот момент, как на грех, Саммерсу Младшему, чьи мысли, по одному ему понятным причинам, витали вдалеке от религиозных войн девятого столетия, попался на глаза маленький проводок, торчавший на месте отколовшегося кусочка стены, и он с неуместным воплем бросился к нему.

— Ого! А с чем он соединяется?..

Несомненно, с чем-то он соединялся, ибо не успел Физик дернуть за него, как весь склеп погрузился во тьму, словно находившиеся там в один миг ослепли, а в следующую

секунду послышался глухой треск захлопнувшейся двери.

— Не волнуйтесь, сейчас всё будет в порядке, — произнёс гид своим бесстрастным голосом. И вскоре добавил: — Я полагаю, нас хватятся рано или поздно и постараются открыть дверь. Придётся немного подождать.

Все помолчали, потом раздался голос неугомонного Физика:

— Вот попались! А я, как назло, наверху фонарик оставил...

— Кажется, — произнёс мистер Твиффорд со свойственной ему сдержанностью, — мы уже убедились в твоей любви к электричеству... — И после некоторой паузы добавил более миролюбиво: — А мне вот жаль, что я оставил трубку. Хотя, надо признаться, курить здесь не очень весело. В темноте всё не так, как на свету.

— Да, в темноте всё не так, — послышался третий голос — человека, назвавшегося магом. Голос был очень музыкальный и совсем не вязался с мрачным обликом его обладателя, сейчас невидимого. — Вы, должно быть, и не представляете, как страшна эта истина. Всё, что вы видите наяву, — лишь изображения, созданные солнцем, — и лица, и утварь, и цветы, и деревья. А самих вещей вы, быть может, и не знаете. Быть может, там, где вы только что видели стол или стул, сейчас стоит что-то другое. Лицо вашего друга может оказаться совсем другим в темноте.

Короткий непонятный шум внезапно нарушил тишину подвала. Твиффорд испугался на мгновение, а потом резко сказал:

— Вы не находите, что сейчас не время пугать ребёнка?

— Это кто ребёнок?! — негодуя воскликнул Саммерс Младший ломающимся, петушиным голосом. — И кто это испугался? Только не я!

— Что ж, я буду молчать, — произнёс третий голос. — Молчание и созидает, и разрушает.

Желанная тишина восстановилась на довольно длительное время, пока наконец священник не спросил шёпотом гида:

— Мистер Саймон, я полагаю, с вентиляцией здесь всё в порядке?

— Да, — громко ответил тот, — у самой двери камин, наружу идёт дымоход.

Грохот прыжка и упавшего стула со всей очевидностью показал, что нетерпеливый представитель подрастающего поколения снова куда-то кинулся. Послышался вопль:

— Дымоход! Так что ж я раньше... — и ещё какие-то ликующие, полузадушенные вопли.

Преподобный Твиффорд неоднократно зывал в пустоту и темноту, прокладывая ощупью путь к камину, и, увидев слабый диск дневного света, решил, что беглец не погиб. Возвращаясь к людям, стоявшим у витрины, он споткнулся об упавший стул, почти сразу пришёл в себя и открыл было рот, чтобы заговорить с Саймоном, но так и замер, ибо в тот же миг его ослепил яркий свет. Глянув через чьё-то плечо в сторону выхода, он увидел, что дверь открыта.

— Да, они нас хватились наконец, — сказал он Саймону.

Человек в чёрном стоял у стены, улыбаясь застывшей улыбкой.

— Вот полковник Моррис, — продолжал Твиффорд, по-прежнему обращаясь к Саймону. — Кто-нибудь должен сказать ему, как выключился свет. Вы скажете?

Но Саймон молчал. Он стоял, как статуя, впериw неподвижный взгляд в чёрный бархат за стеклом; он глядел на бархат, так как больше смотреть было не на что. Монета святого Павла исчезла.

С полковником Моррисом было два новых посетителя, видимо, туристы, которых он хотел присоединить к экскурсии. Впереди неторопливо шёл высокий лысый человек с огромным носом, а за ним — кудрявый блондин помоложе с ясными, почти детскими глазами. Саймон едва ли их заметил; он вряд ли сознавал, что при свете его застывшая поза выглядит несколько странно, но быстро опомнился, виновато взглянул на них и, увидев старшего из новоприбывших, ещё больше побледнел.

— Да это же Хорн Фишер! — воскликнул он и тихо добавил: — У меня беда, Фишер.

— Здесь, кажется, и впрямь пахнет тайной, которую неплохо бы разгадать, — откликнулся тот, кого называли Фишером.

— Её никому не разгадать, — сказал бледный Саймон, — разве что вам под силу. И никому больше.

— Почему же... Я мог бы, — раздался голос рядом с ними, и, обернувшись, они, к своему удивлению, увидели человека в чёрном.

— Вы?! — вспыхнул полковник. — Как же вы думаете начать розыски?

— А я и не собираюсь ничего искать, — ответил незнакомец звонким, как колокольчик, голосом. — Я не сыщик, а маг — один из тех, кого вы разоблачали в Индии, полковник.

Наступило молчание, но Хорн Фишер, ко всеобщему удивлению, сказал:

— Ладно. Поднимемся наверх, пусть он попробует, — Хорн Фишер остановил Саймона, который хотел нажать на выключатель: — Не надо, пусть свет горит для пущей безопасности.

— Да теперь отсюда нечего уносить, — горько вздохнул Саймон.

— Уносить нечего, — сказал Фишер, — а принести можно.

Твифорд уже взбежал по лестнице, горя желанием разузнать что-нибудь о племяннике, и, действительно, получил известие от него, правда, несколько необычным путём, которое озадачило и утешило священника. На верхней площадке лежал бумажный дротик, которыми школьники швыряют друг в друга, когда в классе нет учителя. Этот влетел, очевидно, в окно и оказался посланием, начертанным ученическими каракулями: «Дорогой дядя, я в порядке. Встретимся в гостинице. Саммерс».

Мистер Твифорд всё же немного успокоился и снова обратил свои мысли к драгоценной реликвии, которая в его сердце оспаривала первенство у любимого племянника. Не опомнившись как следует, он оказался среди людей, горячо обсуждавших исчезновение монеты, и быстро поддался общему возбуждению. Однако мысли о мальчике не покидали его, и он снова и снова терялся в догадках, где же Саммерс и что тот разумеет под словами «я в порядке».

Между тем Хорн Фишер озадачил присутствующих своим новым тоном и поведением. Он поговорил с полковником о военном деле и о разных технических нововведениях и продемонстрировал удивительные познания и в тонкостях воинской дисциплины, и в электротехнике. Он поговорил со священником и выказал поразительную осведомлённость в религиозных вопросах и исторических событиях, связанных с реликвией. Он поговорил с человеком, назвавшимся магом, и не только удивил, но и шокировал всех своими знаниями самых диких видов восточного оккультизма и духовидения. Больше того — в этой последней из сфер расследования он, очевидно, готов был зайти дальше всего, ибо открыто поощрял мага и явно приготовился следовать за ним куда угодно.

— С чего же вы думаете начать? — спросил он с подчёркнутой любезностью, чрезвычайно рассердившей полковника.

— Всё дело в особой силе, в создании условий для воздействия этой силы, — любезно отвечал посвящённый, словно не слыша гневных замечаний полковника о том, что к нему самому следовало бы применить силу. — У вас на Западе её принято называть «животным магнетизмом». Однако она — много больше. Для начала нужно найти очень впечатлительного человека и погрузить его в транс. Он будет как бы мостом для этой силы, её средством связи. Сила воздействует на него извне — он как бы в электрошоке — и пробуждает в нём высшие чувства, раскрывает спящий глаз разума.

— Я очень впечатлительный, — сказал Фишер то ли простодушно, то ли насмешливо. — Почему бы вам не открыть глаз разума во мне? Мой друг, присутствующий здесь Гарольд Марч, может подтвердить, что я иногда даже вижу в темноте.

— Все видят только в темноте, — сказал маг.

Тяжёлые вечерние облака сгустились над деревянным домиком, в маленьком оконце были видны их рваные края, подобные пурпурным рогам и хвостам, словно где-то рядом бродили хищные чудовища. Но багрянец быстро тускнел и становился тёмно-серым;

приближалась ночь.

— Не зажигайте света, — спокойно и уверенно проговорил маг, заметив, что кто-то потянулся к выключателю. — Я ведь сказал вам, что всё происходит только в темноте.

Каким образом эта нелепая сцена могла произойти именно в кабинете полковника Морриса, навсегда осталось загадкой для многих её участников, включая и самого полковника. Они вспоминали её, как страшный сон, им неподвластный. Возможно, на них и в самом деле действовал магнетизм, которым владел странный незнакомец. Во всяком случае, одного из них он загипнотизировал. Ибо Хорн Фишер свалился в кресло и лежал там, свесив ноги и уставившись в пустоту, а маг гипнотизировал его, делая пассы, — взмахивая руками, как зловещими чёрными крыльями. Полковник закурил сигару. Воинственный пыл его поубавился, и он, по-видимому, воспринимал происходящее как очередной заскок высокородных эксцентриков, утешаясь тем, что успел послать за полицией, которая прекратит весь этот маскарад.

— Да, я вижу карманы, — говорил между тем Хорн Фишер. — Я вижу много карманов, но все они пусты. Нет, погодите... я вижу один не пустой карман.

В тишине послышался слабый шорох, и маг сказал:

— Можете вы увидеть, что в этом кармане?

— Да, — последовал ответ. — Там два блестящих предмета. По-моему, они из стали. Один — погнут или искривлён.

— Пользовались ли им, чтобы переместить реликвию из подвала?

— Да.

Наступила новая пауза, и первый голос сказал:

— А не видите ли вы самой реликвии?

— Я вижу что-то блестящее на полу, как бы тень или призрак монеты. Оно сейчас вот там, в углу, за столом.

Все молча обернулись, онемев от изумления. В углу, позади стола, на деревянной половине слабо светилось круглое пятнышко. Это было единственное пятно света в комнате. Сигара полковника погасла.

— Оно указывает Путь, — вещал между тем оракул. — Духи указуют Путь к раскаянию и побуждают вора вернуть украденное... Больше я ничего не вижу... — И голос постепенно замер в тяжёлой тишине.

Её нарушило звяканье металла о дерево. Что-то завертелось и шлёпнулось — словно на пол швырнули полупенсовую монету.

— Зажгите свет! — воскликнул Фишер довольно громко и даже весело, вскакивая на ноги с необычной для него резвостью. — Мне нужно уходить, но я всё-таки хотел бы взглянуть на неё... Я ведь для этого и пришёл.

Свет зажгли, и он увидел то, что хотел: монета святого Павла лежала на полу у его ног.

— ...Что до той вещицы, — объяснил Фишер, пригласивший Марча и Твифорда на ленч примерно через месяц, — мне просто захотелось сыграть с этим магом в его собственную игру.

— Я думал, что вы решили поймать его в его же ловушку, — сказал Твифорд. — И до сих пор ничего не понимаю. Но, признаться, он с самого начала вызвал у меня подозрение. Я не хочу сказать, что он вор в вульгарном смысле слова. Среди полицейских бытует мнение, что деньги крадут только из-за самих денег, но ведь эту монету можно было похитить из религиозной мании. Беглому монаху, ставшему вольным мистиком, она могла понадобиться для какой-нибудь высшей цели.

— Нет, — ответил Фишер. — Беглый монах — не вор. Во всяком случае, монеты он не крал. И даже в заведомой лжи его обвинить трудно, так как в одном отношении он оказался целиком прав.

— В чём же именно? — спросил Марч.

— Он сказал, что во всём повинен магнетизм. Так оно и было. Кража была совершена при помощи обыкновенного магнита.

Затем, увидев неподдельное изумление на лицах собеседников, он добавил:

— Это был игрушечный магнит вашего племянника, мистер Твифорд.

— Простите, — возразил Марч. — Коль скоро это так, выходит, кражу совершил школьник!

— Вот именно, — задумчиво произнёс Фишер. — Только какой школьник?..

— Что вы хотите сказать?!

— Душа школьника — любопытная штука, — продолжал Фишер всё так же задумчиво. — Она способна пережить многое, кроме лазания по дымоходам. Человек может поседеть в боях, а душа у него останется всё та же мальчишеская. Человек может вернуться во славу из Индии, а у него — душа школьника, и она ждёт только случая, чтобы проявить себя. Это во много раз сильнее, если школьник — ещё и скептик: ведь скепсис чаще всего — упрямое мальчишество. Вот вы сейчас сказали, что это можно было сделать из религиозной мании. А вы слышали когда-нибудь об антирелигиозной мании? Поверьте, она существует и свирепствует всего сильнее среди тех, кто любит разоблачать индийских факиров.

— Неужели вы думаете, — сказал Твифорд, — что реликвию похитил полковник Моррис?

— Только он один мог воспользоваться магнитом, — ответил Хорн Фишер. — Ваш племянник любезно оставил ему много полезных вещей. В его распоряжении оказался моток бечёвки и, заметьте, инструмент для просверливания отверстий в дереве. Кстати, с этой дыркой в полу я немного схитрил. Там просто были пятна света, они проникали сквозь неё и блестели, как новенький шиллинг.

Твифорд подскочил в кресле.

— Почему же, — крикнул он не своим голосом, — почему вы сказали... что там сталь?

— Я сказал, что вижу два кусочка стали, — ответил Фишер. — Гнутый кусок — это был магнит вашего племянника. Другой кусок — монета.

— Но она же серебряная, — возразил археолог.

— В том-то вся и штука, — пояснил Фишер, — она только покрыта тонким слоем серебра.

Наступило тягостное молчание; наконец Гарольд Марч произнёс:

— А где же в таком случае настоящая реликвия?

— Там, где она и была последние пять лет, — ответил Хорн Фишер. — В Небраске. У выжившего из ума американского миллионера по фамилии Вэндем.

Гарольд Марч хмуро уставился в скатерть. Затем он сказал:

— Кажется, я начинаю понимать. Дело было так. Полковник Моррис просверлил дырку в потолке подвала и выудил монету бечёвкой с магнитом. На такие трюки способны только ненормальные люди, но я догадываюсь, почему он спятил, — нелегко сторожить подделку, если сам об этом догадываешься, а доказать — не можешь. Наконец появился случай в этом убедиться. И он решился, как в былые времена, подшутить над магом. Да, теперь мне многое ясно. Одного я никак не возьму в толк: как вообще вместо реликвии здесь оказалась поддельная монета?

Фишер, не шелохнувшись, долго смотрел на него сквозь полуопущенные веки.

— Были предприняты все меры предосторожности, — сказал он. — Герцог сам принёс реликвию и сам её запер...

Марч молчал, а Твифорд пробормотал, запинаясь:

— Я вас не понимаю. Это ерунда какая-то. Вы не можете говорить яснее?

— Ну что ж, — сказал Фишер со вздохом. — Самая главная ясность в том, что дело это — грязное. Все это знают, кто хоть как-то с этим связан. Но так уж оно повелось, и не нам их судить. Влюбись в заморскую принцессу, пустую и надутую, как кукла, — и пропал. На сей раз герцог пропал надолго и всерьёз.

Не знаю, была ли это благопристойная морганатическая связь, но нужно быть сущим болваном, чтобы швырять тысячи на таких женщин. Под конец это превратилось в неприкрытый шантаж. Но старый осёл, к его чести, не стал выкачивать деньги из

налогоплательщиков. Выручил его американец. Вот и всё...

— Ну, я счастлив, что мой племянник не причастен к этому, — произнёс преподобный Томас Твиффорд. — И если высший свет таков, я надеюсь, что он никогда не будет с ним связан...

— Уж кто-кто, а я-то знаю, — сказал Фишер, — что иногда приходится быть с ним связанным.

Саммерс Младший и вправду был совершенно с этим не связан, и высокая его доблесть отчасти в том и состояла, что он не был связан ни с этой историей и ни с какой другой. Он пулей пролетел сквозь все хитросплетения нечестной политики и злой иронии и вылетел с другой стороны, влекомый своей невинной целью. С трубы, по которой он вылез на волю, он увидел новый омнибус, цвет и марка которого были ему ещё незнакомы, как видит натуралист новую птицу или неведомый цветок. И он кинулся за ним и уплыл на этом волшебном корабле.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Гарольд Марч и те немногие, кто поддерживал знакомство с Хорном Фишером, замечали, что при всей своей общительности он довольно одинок. Они встречали его родных, но ни разу не видели членов его семьи. Его родственники и свойственники пронизывали весь правящий класс Великобритании, и казалось, что почти со всеми он дружит или хотя бы ладит. Он отлично знал вице-королей, министров и важных персон и мог потолковать с каждым из них о том, к чему собеседник относился серьёзно. Так, он беседовал с военным министром о шелковичных червях, с министром просвещения — о сыщиках, с министром труда — о лиможских эмалях, с министром религиозных миссий и нравственного совершенства (надеюсь, я не спутал?) — о прославленных мимах последних четырёх десятилетий. А поскольку первый был ему кузеном, второй — троюродным братом, третий — зятем, а четвёртый — мужем тетки, эта гибкость способствовала, бесспорно, укреплению семейных уз. Однако Гарольд Марч считал, что у Фишера нет ни братьев, ни сестер, ни родителей, и очень удивился, когда узнал его брата — очень богатого и влиятельного, хотя, на взгляд Марча, гораздо менее интересного. Сэр Генри Гарленд Фишер (после его фамилии шла ещё длинная вереница имён) занимал в министерстве иностранных дел какой-то пост, куда более важный, чем пост министра. Держался он очень вежливо, тем не менее Марчу показалось, что он смотрит сверху вниз не только на него, но и на собственного брата. Последний, надо сказать, чутьём угадывал чужие мысли и сам завёл об этом речь, когда они вышли из высокого дома на одной из фешенебельных улиц.

— Как, разве вы не знаете, что в нашей семье я дурак? — спокойно промолвил он.

— Должно быть, у вас очень умная семья, — с улыбкой заметил Марч.

— Вот она, истинная любезность! — отозвался Фишер. — Полезно получить литературное образование. Что ж, пожалуй, «дурак» слишком сильно сказано. Я в нашей семье банкрот, неудачник, белая ворона.

— Не могу себе представить, — сказал журналист. — На чём же вы срезались, как говорят в школе?

— На политике, — ответил Фишер. — В ранней молодости я выставил свою кандидатуру и прошёл в парламент «на ура», огромным большинством. Разумеется, с тех пор я жил в безвестности.

— Боюсь, я не совсем понял, при чём тут «разумеется», — засмеялся Марч.

— Это и понимать не стоит, — сказал Фишер. — Интересно другое. События разворачивались, как в детективном рассказе. К тому же тогда я впервые узнал, как делается современная политика. Если хотите, расскажу.

Дальше вы прочитаете то, что он рассказал, — правда, здесь это меньше похоже на притчу и на беседу.

Те, кому в последние годы довелось встречаться с сэром Генри Гарлендом Фишером,

не поверили бы, что когда-то его звали Гарри. На самом же деле в юности он был очень ребячлив, а присущая ему толстокожесть, принявшая ныне форму важности, проявлялась тогда в неумейной весёлости. Друзья сказали бы, что он стал таким непробиваемо взрослым, потому что смолodu был по-настоящему молод. Враги сказали бы, что он сохранил былую лёгкость в мыслях, но утратил добродушие. Как бы то ни было, история, поведанная Хорном Фишером, началась тогда, когда юный Гарри стал личным секретарем лорда Солтауна. Дальнейшая связь с министерством иностранных дел перешла к нему как бы по наследству от этого великого человека, вершившего судьбы империи. В Англии было три или четыре таких государственных деятеля; огромная его работа оставалась почти неведомой, а из него можно было выудить только грубые и довольно циничные шутки. Тем не менее, если бы лорд Солтаун не обедал как-то у Фишеров и не сказал там одной фразы, простая застольная острота не породила бы детективного рассказа.

Кроме лорда Солтауна, в гостиной были только Фишеры, — второй гость, Эрик Хьюз, удалился сразу после обеда, покинув своих сотрапезников за кофе и сигарами. Он очень серьёзно и красноречиво говорил за столом, но, отобедав, немедленно ушёл на какое-то деловое свидание. Это было весьма для него характерно. Редкая добросовестность уживалась в нём с позёрством. Он не пил вина, но слегка пьянел от слов. Портреты его и слова красовались в то время на первых страницах всех газет: он оспаривал на дополнительных выборах место, прочно забронированное за сэром Франсисом Вернером. Все говорили о его громовой речи против засилья помещиков, даже у Фишеров все говорили о ней — кроме Хорна, который, притулившись в углу, мешал кочергой в камине. Тогда, в молодости, он был не вялым, а скорее угрюмым. Определённых занятий он не имел, рылся в старинных книгах и — один из всей семьи — не претендовал на политическую карьеру.

— Мы здорово ему обязаны, — говорил Эштон Фишер. — Он вдохнул новую жизнь в нашу старую партию. Эта кампания против помещиков бьёт в больное место. Она расшевелила остатки нашей демократии. Актом о расширении полномочий местного совета мы, в сущности, обязаны ему. Он, можно сказать, диктовал законы раньше, чем попал в парламент.

— Ну, это и впрямь легче, — беспечно сказал Гарри. — Держу пари, что лорд в этом графстве большая шишка, поважнее совета. Вернер сидит крепко. Все эти сельские местности, что называется, реакционны. Тут ничего не попишешь, сколько ни ругай аристократов.

— А ругает он их мастерски, — заметил Эштон. — У нас никогда не было такого удачного митинга, как в Баркингтоне, хотя там всегда проходили конституционалисты. Когда он сказал: «Сэр Франсис кичится голубой кровью так покажем ему, что у нас красная кровь!» — и повёл речь о мужестве и свободе, его чуть не вынесли на руках.

— Говорит он хорошо, — пробурчал лорд Солтаун, впервые проявляя интерес к беседе.

И тут заговорил столь же молчаливый Хорн, не отводя задумчивых глаз от пламени в камине.

— Я одного не понимаю, — сказал он. — Почему людей не ругают за то, за что их следует ругать?

— Эге, — насмешливо откликнулся Гарри, — значит, и тебя пробрало?

— Возьмите Вернера, — продолжал Хорн. — Если мы хотим напасть на него, почему не напасть прямо? Зачем присваивать ему романтический титул реакционного аристократа? Кто он такой? Откуда он взялся? Фамилия у него как будто старинная, но что-то я о ней не слышал. К чему говорить о его голубой крови? Да будь она хоть жёлтая с прозеленью — какое нам дело? Мы знаем одно: прежний владелец земли, Гокер, каким-то образом промотал свои деньги, вернее, деньги второй жены и продал поместье человеку по фамилии Вернер. На чём же тот разбогател? На керосине? На поставках для армии?

— Не знаю, — сказал Солтаун, задумчиво глядя на Хорна.

— В первый раз слышу, что вы чего-то не знаете! — воскликнул пылкий Гарри.

— И это ещё не всё, — продолжал Хорн, внезапно обретший дар слова. — Если мы

хотим, чтобы деревня голосовала за нас, почему мы не выдвинем кого-нибудь, хоть немного знакомого с деревней? Горожанам мы вечно долбим о репе и свинарниках. А с крестьянами почему-то говорим исключительно о городском благоустройстве. Почему не раздать землю арендаторам? Зачем припутывать сюда совет графства?

— Три акра и корову! — выкрикнул Гарри (точнее, издал то самое, что называют в парламентских отчётах ироническим возгласом).

— Да, — упрямо ответил его брат. — Ты думаешь, земледельцы и батраки не предпочтут три акра земли и корову трем акрам бумаги с советом в придачу? Почему не учредить крестьянскую партию? Ведь старая Англия славилась иоменами, мелкими землевладельцами. И почему не преследовать таких, как Вернер, за их настоящие пороки? Ведь он так же чужд Англии, как американский нефтяной трест!

— Вот сам и возглавил бы этих йоменов, — засмеялся Гарри. — Ну и потеха!.. Вы не находите, лорд Солтаун? Хотел бы я посмотреть, как мой братец поведёт в Сомерсет весёлых молодцов с самострелами! Конечно, все будут в зелёном сукне, а не в шляпах и пиджаках.

— Нет, — ответил старик Солтаун. — Это не потеха. По-моему, это чрезвычайно серьёзная и разумная мысль.

— Ах ты чёрт! — воскликнул Гарри и удивлённо воззрился на него. — Я только что сказал, что вы в первый раз чего-то не знаете. А теперь скажу, что вы впервые не поняли шутки.

— Я за свою жизнь навидался всякого, — довольно сухо сказал старик. — Столько раз я говорил неправду, что она мне порядком надоела. И всё-таки должен сказать, что неправда неправде рознь. Дворяне лгут, как школьники, потому что держатся друг за друга и в какой-то мере друг друга выгораживают. Но убей меня бог, если я понимаю, зачем нам лгать ради каких-то проходимцев, которые пекутся только о себе. Они нас не выгораживают, а просто-напросто выпирают. Если такой человек, как ваш брат, захочет пройти в парламент от йоменов, дворян, якобитов или староангличан, я скажу, что это великолепно!

Секунду все молчали. Вдруг Хорн вскочил, вся его вялость исчезла.

— Я готов хоть завтра! — воскликнул он. — Вероятно, никто из вас меня не поддержит?

Тут Генри Фишер показал, что в его экспансивности есть и хорошие стороны. Он повернулся к брату и протянул ему руку.

— Ты молодчина, — сказал он. — И я тебя поддержу, даже если другие не поддержат. Поддержим его, а? Я понимаю, куда клонит лорд Солтаун. Разумеется, он прав. Он всегда прав.

— Значит, я еду в Сомерсет, — сказал Хорн Фишер.

— Это по пути в Вестминстер, — улыбнулся лорд Солтаун.

И вот через несколько дней Хорн Фишер прибыл в городок одного из западных графств и сошёл на маленькой станции. С собой он вез лёгкий чемоданчик и легкомысленного брата. Не надо думать, что брат только и умел что зубоскалить, — он поддерживал нового кандидата не просто весело, но и с толком. Сквозь его шутливую фамильярность просвечивало горячее сочувствие. Он всегда любил своего спокойного и чудаковатого брата, а теперь, по-видимому, стал его уважать. По мере того как кампания развёртывалась, уважение перерастало в пламенное восхищение. Гарри был молод и ещё мог обожать застрельщика в предвыборной игре, как обожает школьник лучшего игрока в крикет.

Надо сказать, восхищаться было чем. Трёхсторонний спор разгорался — и не только родным, но и чужим открывались неведомые дотоле достоинства младшего Фишера. У фамильного очага просто вырвалось на волю то, о чём он долго размышлял, он давно лелеял мысль выставить новое крестьянство против новой плутократии. Всегда — и в те дни, и позже — он изучал не только нужную тему, но и всё, что попадалось под руку. Обращения его к толпе блистали красноречием, ответы на каверзные вопросы блистали юмором. Природа с избытком наделила его этими двумя насущными для политика талантами. Разумеется, он знал о деревне гораздо больше, чем кандидат реформистов Хьюз или

кандидат конституционалистов сэр Франсис Вернер. Он изучал её так пылко и основательно, как им и не снилось. Вскоре он стал глашатаем народных чаяний, никогда ещё не выходивших в мир газет и речей. Он умел увидеть проблему с неожиданной точки зрения, он приводил доказательства и доводы, привычные не в устах джентльмена, а за кружкой пива в захолустном кабаке; воскрешал полузабытые надежды; мановением руки или словом переносил людей в далекие века, когда деды их были свободными. Такого ещё не видали, и страсти накалялись.

Людей просвещённых его мысли поражали новизной и фантастичностью. Люди невежественные узнавали то, что давно думали сами, но никогда не надеялись услышать. Все увидели вещи в новом свете и никак не могли понять, закат это или заря нового дня.

Успеху способствовали и обиды, которых крестьяне натерпелись от Вернера. Разъезжая по фермам и постоянным дворам, Фишер убедился, что сэр Франсис — очень дурной помещик. Как он и предполагал, тот воцарился тут недавно и не совсем достойным способом. Историю его воцарения хорошо знали в графстве, и, казалось бы, она была вполне ясна. Прежний помещик Гокер — человек распутный и тёмный — не ладил с первой женой и, по слухам, свёл её в могилу. Потом он женился на красивой и богатой даме из Южной Америки. Должно быть, ему удалось в кратчайший срок спустить и её состояние, так как он продал землю Вернеру и переселился в Америку, вероятно, в поместье жены. Фишер подметил, что распушенность Гокера вызывала гораздо меньше злобы, чем деловитость Вернера. Насколько он понял, новый помещик занимался в основном сделками и махинациями, успешно лишая ближних спокойствия и денег. Фишер наслушался про него всякого; только одного не знал никто, даже сам Солтаун. Никак не удавалось выяснить, откуда Вернер взял деньги на покупку земли.

«Должно быть, он особенно тщательно это скрывает, — думал Хорн Фишер. — Наверное, очень стыдится. Чёрт! Чего же в наши дни может стыдиться человек?»

Он перебирал подлости, одна страшней и чудовищней другой; древние, гнусные формы рабства и ведовства мерещились ему, а за ними — не менее мерзкие, хотя и более модные пороки. Образ Вернера преображался, чернел всё гуще на фоне чудовищных сцен и чужих небес.

Погрузившись в размышления, он шёл по улице и вдруг увидел соперника, столь непохожего на него. Эрик Хьюз садился в машину, договаривая что-то на ходу своему агенту; белокурые волосы развевались, лицо у него было возбуждённое, как у студента-старшекурсника. Завидев Фишера, Хьюз дружески помахал рукой. Но агент — коренастый, мрачный человек по фамилии Грайс — взглянул на него недружелюбно. Хьюз был молод, искренне увлекался политикой и знал к тому же, что с противником можно встретиться на званом обеде. Но Грайс был угрюмый сельский радикал, ревностный нонконформист, один из тех немногих счастливых, у которых совпали дело и хобби. Когда машина тронулась, он повернулся спиной и зашагал, насвистывая, по крутой улочке. Из кармана у него торчали газеты.

Фишер задумчиво поглядел ему вслед и вдруг, словно повинувшись порыву, двинулся за ним. Они прошли сквозь суету базара, меж корзин и тележек, миновали деревянную вывеску «Зеленого дракона», свернули в тёмный переулок, вынырнули из-под арки и снова нырнули в лабиринт мощенных булыжником улиц. Решительный, коренастый Грайс важно выступал впереди, а тощий Фишер скользил за ним словно тень в ярком солнечном свете. Наконец они подошли к бурому кирпичному дому; медная табличка у дверей извещала, что в нём живёт мистер Грайс. Хозяин дома обернулся и с удивлением увидел своего преследователя.

— Не разрешите ли побеседовать с вами, сэр? — вежливо осведомился Фишер.

Агент удивился ещё больше, но кивнул и любезно провёл гостя в кабинет, заваленный листовками и увешанный пёстрыми плакатами, сочетавшими имя Хьюза с высшим благом человечества.

— Мистер Хорн Фишер, если не ошибаюсь, — сказал Грайс. — Ваш визит, конечно, большая честь для меня. Однако не буду лукавить, меня совсем не радует, что вы вступили в

спор. Да вы и сами знаете. Мы здесь храним верность старому знамени свободы, а вы являетесь и ломаете наши боевые ряды.

Мистер Элайджа Грайс не любил милитаризма, но питал пристрастие к военным метафорам. У него была квадратная челюсть, грубое лицо и драчливо взлохмаченные брови. В политику он ввязался чуть не мальчиком, знал всё и вся и отдал политической борьбе своё сердце.

— Вероятно, вы думаете, что меня гложет честолубие, — сказал Хорн Фишер, как всегда, с расстановкой. — Мечу, так сказать, в диктаторы. Что ж, сниму с себя это подозрение. Просто я хочу кое-чего добиться. Но сам делать ничего не хочу. Я очень редко хочу что-нибудь делать. И я пришёл сюда, чтобы сказать я готов немедленно прекратить борьбу, если вы мне докажете, что мы оба добиваемся одного и того же.

Агент реформистов растерянно взглянул на него, но Фишер не дал ему ответить и продолжал так же медленно:

— Как ни трудно в это поверить, я ещё не потерял совести и меня терзают сомнения. Например, мы оба хотим провалить Вернера, но как? Я слышал о нём пропасть сплетен, но можно ли пользоваться сплетнями? Я хочу вести себя честно и с вами, и с ним. Если хоть часть слухов верна, перед ним надо закрыть дверь парламента, как закрыли бы дверь любого клуба. Но если они неверны, я не хочу ему вредить.

Тут боевой огонёк вспыхнул в глазах Грайса, и он заговорил пылко, если не сказать — гневно. Он-то не сомневался, что все рассказы верны, и подкрепил их собственными. Вернер не только жесток, но и подл, он разбойник и кровопийца, он дерёт с крестьян три шкуры, и всякий порядочный человек вправе от него отвернуться. Он выжил старика Уилкинса с земли подло, как карманный вор; он довёл до богадельни тетку Биддл; а когда он вёл тяжбу с Длинным Адамом, браконьером, судьи краснели за него.

— Так что, если вы встанете под старое знамя, — бодро закончил Грайс, — и свалите такого мерзавца, вы об этом не пожалеете!

— Но раз всё это правда, — сказал Фишер, — вы расскажете её?

— То есть как это? Сказать правду? — удивился Грайс.

— Сказали же вы мне, — ответил Фишер. — Расклейте по городу плакаты про старика Уилкинса. Заполните газеты гнусной историей с тетушкой Биддл. Изобличите Вернера публично, призовите его к ответу, расскажите про браконьера, которого он преследовал. А кроме того, разузнайте, как он добыл деньги, чтобы купить землю, и открыто скажите об этом. Тогда я стану под старое знамя и спущу свой маленький вымпел.

Агент смотрел на него кислотовато, хотя и дружелюбно.

— Ну, знаете!.. — протянул он. — Такие вещи приходится делать по правилам, как положено, а то никто ничего не поймёт. У меня очень большой опыт, и я боюсь, что ваш способ не годится. Люди понимают, когда мы обличаем помещиков вообще; но личные выпады делать непорядочно. Это — удар ниже пояса.

— У старого Уилкинса, наверное, пояса нет и в помине, — сказал Фишер. — Вернер может бить его куда попало, никто и слова не скажет. Очевидно, главное — иметь пояс. А пояса бывают только у важных персон. Может быть, — задумчиво прибавил он, — так и надо толковать старинное выражение «препоясанный граф», смысл которого всегда ускользал от меня.

— Я хочу сказать, что нельзя переходить на личности, — хмуро сказал Грайс.

— А тетушка Биддл и Адам — браконьер не личности, — сказал Фишер. — Что ж, видимо, не приходится спрашивать, каким образом Вернер сколотил деньги и стал... личностью.

Грайс по-прежнему смотрел на него из-под нависших бровей, но странный огонёк в его глазах стал светлее. Наконец он заговорил другим, более спокойным тоном:

— Послушайте, а вы мне нравитесь. Я думаю, вы действительно человек честный и стоите за народ. Может быть, вы гораздо честнее, чем сами думаете. Тут нельзя действовать напролом, так что лучше не вставляйте под наше знамя, играйте на свой страх и риск. Но я

уважаю вас и вашу смелость и окажу вам на прощанье хорошую услугу. Я не хочу, чтобы вы ломились в открытую дверь. Вы спрашиваете, каким образом новый помещик добыл деньги и как разорился старый? Отлично. Я скажу вам кое-что ценное. Очень немногие об этом знают.

— Спасибо, — серьёзно сказал Фишер. — Что же это такое?

— Буду краток, — ответил Грайс. — Новый помещик был очень беден, когда получил земли. Старый помещик был очень богат, когда их потерял.

Фишер в раздумье глядел на него, а он резко отвернулся и принялся перебирать бумаги на письменном столе. Кандидат снова поблагодарил его, простился и вышел на улицу, по-прежнему в большой задумчивости.

Раздумья его, по-видимому, привели к какому-то решению, и, ускорив шаг, он вышел на дорогу, ведущую к воротам огромного парка, принадлежавшего сэру Франсису. День был солнечный, и ранняя зима походила на позднюю осень, а в тёмных лесах ещё пестрели кое-где красные и золотые листья, словно последние клочки заката. Путь пролегал через пригорок, и Фишер увидел сверху, у самых своих ног, длинный классический фасад, усеянный окнами. Но когда дорога спустилась к ограде поместья, за которой высились деревья, он сообразил, что до ворот усадьбы добрых полмили. Он пошёл вдоль ограды и через несколько минут увидел, что в одном месте в стене образовалась брешь и её, по-видимому, чинят. В серой каменной кладке, будто тёмная пещера, зиял большой пролом, но, приглядевшись, Фишер рассмотрел за ним шелестящие в полутьме деревья. Этот неожиданный пролом был словно заколдованный вход в сказочную страну.

Он прошёл через этот тёмный и незаконный ход так же свободно, как входят в собственный дом, думая, что это укоротит путь. Довольно долго он не без труда пробирался по тёмному лесу, наконец внизу, сквозь деревья, замерцали непонятные серебряные полосы. Тут он вышел на свет и очутился на крутом обрыве. Внизу, по краю красивого озера, вилась тропинка. Пелена воды, мерцавшая сквозь деревья, была довольно широка и длинна, а со всех сторон её окружала стена леса — не только тёмного, но и жуткого. На одном конце тропинки стояла статуя безголовой нимфы, на другом — две классические урны; мрамор был изъеден непогодой и испещрен зелёными и серыми пятнами. Сотня признаков — мелких, но красноречивых — говорила о том, что Фишер забрёл в дальний, заброшенный уголок парка. Посреди озера виднелся остров, а на острове — павильон, задуманный, видимо, в стиле античного храма, хотя дорические колонны соединяла глухая стена. Нужно сказать, что остров только казался островом, от берега к нему шла перемычка из плоских камней, превращавшая его в полуостров. И разумеется, храм только казался храмом. Фишер прекрасно знал, что никакой бог не обитал никогда под его сенью.

«Вот почему все эти классические украшения садов так унылы, — подумал он. — Унылее Стоунхенджа и пирамид. Мы не верим в египетских богов, египтяне же верили, и я думаю, даже друиды верили в друидизм. Но дворянин восемнадцатого столетия, построивший эти храмы, верил в Венеру или Меркурия не больше нашего. Отражение в озере этих бледных колонн поистине только тень тени. В век разума сады заселяли каменными нимфами, но за всю историю не было людей, которые так мало надеялись бы встретить живую нимфу в лесу».

Монолог его был прерван грохотом, похожим на удар грома. Эхо мрачно гудело вокруг печального озера, и Фишер понял, что кто-то выстрелил из ружья. Станные мысли закружились в его мозгу, но он тут же засмеялся: недалеко, на тропинке, лежала убитая птица.

В ту же минуту он увидел и нечто другое, куда более загадочное. Храм окружало кольцо густых деревьев с тёмной листвой, и Фишер заметил, что листья как будто зашевелились. Он был прав: какой-то оборванный человек выступил из тени храма и зашагал к берегу по плоским камням. Даже сверху он казался на удивление высоким, и Фишер увидел, что под мышкой он держит ружьё. В памяти сразу всплыли слова «Длинный Адам, браконьер».

Мгновенно сообразив, что делать, Фишер прыгнул с обрыва и побежал вокруг озера к началу перешейка. Он понимал: если браконьер дойдёт до суши, он может немедленно скрыться в чаще. Фишер вступил на плоские камни, и Адам оказался в ловушке; ему оставалось одно — вернуться к храму. Так он и сделал. Прислонившись к стене широкой спиной, он ждал, приготовившись к защите. Он был довольно молод; над тонким худым лицом пламенели лохматые волосы, а выражение его глаз испугало бы всякого, кто очутился бы с ним наедине на пустынном острове.

— Здравствуйте, — приветливо сказал Фишер. — Я было принял вас за убийцу. Но вряд ли эта куропатка кинулась между нами из любви ко мне, как романтическая героиня. Так что вы, вероятно, браконьер?

— Не сомневаюсь, что вы назовёте меня браконьером, — ответил незнакомец, и Фишера удивило, что такое пугало говорит изысканно и резко, как те, кто блюдёт свою утончённость среди необразованных людей. — Я имею полное право стрелять тут дичь. Но я прекрасно знаю, что люди вашего сорта считают меня вором. Полагаю, вы постараетесь упечь меня в тюрьму.

— Тут есть небольшие осложнения, — ответил Фишер. — Начать с того, что вы мне польстили: я не егерь, и уж никак не три егеря, а только они справились бы с вами. Есть у меня ещё одна причина не тащить вас в тюрьму.

— Какая? — спросил Адам.

— Да просто я с вами согласен, — ответил Фишер. — Не знаю, какие у вас права, но мне всегда казалось, что браконьер совсем не то, что вор. Трудно понять, что человек получает в собственность любую птицу, которая пролетит над его садом. С таким же основанием можно сказать, что он владеет ветром или может расписаться на утреннем облаке. И ещё одно: если мы хотим, чтобы бедные уважали собственность, мы должны дать им свою собственность. Вам следовало бы иметь хоть клочок собственной земли, и я вам его дам, если смогу.

— Дадите мне клочок земли!.. — повторил Длинный Адам.

— Простите, что я говорю с вами, как на митинге, — сказал Фишер, — но я политический деятель совершенно нового типа и говорю одно и то же публично и в частной беседе. Я повторял это сотням людей по всему графству и повторяю вам на этом странном островке, среди унылого пруда. Это поместье я разделил бы на мелкие участки и роздал бы их всем, даже браконьерам. Человек вроде вас должен иметь свой уголок, чтобы разводить там не фазанов, конечно, а хотя бы цыплят.

Адам внезапно выпрямился. Он побледнел и вспыхнул, словно его оскорбили.

— «Цыплят»! — презрительно и гневно повторил он.

— А что ж? — спросил невозмутимый кандидат. — Разве куроводство — слишком скромный удел для браконьера?

— Я не браконьер! — закричал Адам, и его гневный голос раскатился по пустынному лесу, как эхо выстрела. — Эта мёртвая куропатка — моя. Земля, на которой вы стоите, — моя. У меня отнял землю преступник куда похуже браконьеров. Сотни лет тут было только одно поместье, и если вы или всякие там нахалы попытаетесь разрезать его, как пирог... если я услышу ещё раз о вас и ваших идиотских планах...

— Довольно бурный митинг у нас получается, — заметил Хорн Фишер. — Ладно, говорите. Что же случится, если я попытаюсь честно распределить это поместье между честными людьми?

Браконьер ответил спокойно и зло:

— Тогда между нами не будет куропатки.

С этими словами он повернулся спиной, показывая, видимо, что разговор окончен, прошёл мимо храма в дальний конец островка, остановился и стал смотреть в воду. Фишер последовал за ним, заговорил снова, но ответа не получил и пошёл к берегу. Проходя мимо храма, он подметил в нём кое-какие странности. Обычно такие строения хрупки, как декорация, и он думал, что этот классический храм — только декорация, пустая скорлупа.

Но оказалось, что за путаницей серых сучьев, похожих на каменных змей, под зелёными куполами листьев стоит весьма основательная постройка. Особенно удивился Фишер, что в плотной, серовато-белой стене — всего одна дверь с большим ржавым засовом, который, однако, не задвинут. Он обошёл храм кругом и не нашёл никаких отверстий, кроме маленькой отдушины под самой крышей.

Он задумчиво вернулся по камням на берег озера и сел на каменные ступеньки между двумя погребальными урнами. Потом достал сигарету и задумчиво закурил; вынув записную книжку, он стал что-то писать и переписывать, пока не получилось следующее:

- «1) Гокер не любил свою первую жену;
- 2) На второй жене он женился из-за денег;
- 3) Длинный Адам говорит, что поместье, в сущности, принадлежит ему;
- 4) Длинный Адам бродит на острове вокруг храма, похожего на тюрьму;
- 5) Гокер не был беден, когда потерял поместье;
- 6) Вернер был беден, когда его приобрёл».

Он серьёзно смотрел на эти заметки, потом горько улыбнулся, бросил сигарету и пошёл напрямик к усадьбе. Вскоре он напал на тропинку, и та, извиваясь между клумбами и подстриженными кустами, привела его к длинному классическому фасаду. Дом походил не на жилище, а на общественное здание, сосланное в глушь.

Прежде всего Фишер увидел дворецкого, казавшегося гораздо старше здания, ибо дом был построен в XVIII веке, а лицо под неестественным бурым париком бороздили морщины тысячелетней давности. Только глаза навывкате блестели живо и даже гневно. Фишер взглянул на дворецкого, остановился и сказал:

— Простите, не служили ли вы при покойном мистере Гокере?

— Да, сэр, — серьёзно ответил слуга. — Моя фамилия Эшер. Чем могу служить?

— Проводите меня к сэру Франсису, — ответил гость.

Сэр Франсис Вернер сидел в удобном кресле у маленького столика в большой, украшенной шпалерами комнате. На столике стояла бутылка, рюмка с остатками зелёного ликера и чашка чёрного кофе. Помещик был одет в удобный серый костюм, к которому не очень шёл тускло-красный галстук; но, взглянув на завитки его усов и на прилизанные волосы, Фишер понял, что у сэра Франсиса совсем другое имя — Франц Вернер.

— Мистер Хорн Фишер? — спросил хозяин. — Прошу вас, присядьте.

— Нет, благодарю, — ответил Фишер. — Боюсь, что визит мой не дружеский, так что я лучше постою, если вы меня не выставите. Вероятно, вам известно, что я-то уже выставил свою кандидатуру.

— Я знаю, что мы политические противники, — ответил Вернер, поднимая брови. — Но я думаю, будет лучше, если мы поведём борьбу по всем правилам в старом, честном английском духе.

— Гораздо лучше, — согласился Фишер. — Это было бы очень хорошо, будь вы англичанин, и ещё того прекрасней, если бы вы хоть раз в жизни играли честно. Буду краток. Мне не совсем известно, как смотрит закон на ту старую историю, но главная моя цель — не допустить, чтобы Англией правили такие, как вы. И потому, что бы ни говорил закон, лично я не скажу больше ни слова, если вы сейчас же снимете свою кандидатуру.

— Вы, очевидно, сумасшедший, — сказал Вернер.

— Может быть, я не совсем нормален, — печально сказал Фишер. — Я часто вижу сны, даже наяву. Иногда события как-то двоятся для меня, словно это уже было когда-то. Вам никогда так не казалось?

— Надеюсь, вы не буйнопомешанный? — осведомился Вернер.

Но Фишер рассеянно глядел на гигантские золотые фигуры и коричнево-красный узор, испещрявший стены. Потом снова взглянул на Вернера и сказал:

— Мне всё кажется, что это уже было, в этой самой украшенной шпалерами комнате, и

мы с вами — два призрака, вернувшиеся на старое место. Только там, где сидите вы, сидел помещик Гокер, а там, где стою я, стояли вы, — он помолчал секунду, потом прибавил просто: — И ещё мне кажется, что я шантажист.

— Если вы шантажист, — сказал сэр Франсис, — обещаю вам, что вы попадёте в тюрьму.

Но на лицо его легла тень, словно отблеск зелёного напитка, мерцавшего в бокале. Фишер пристально посмотрел на него и сказал спокойно:

— Шантажисты не всегда попадают в тюрьму. Иногда они попадают в парламент. Но, хотя парламент и без того гниёт, вы в него не попадёте. Я не так преступен, как были вы, когда торговались с преступником. Вы принудили помещика отказаться от поместья. Я же прошу вас отказаться только от места в парламенте.

Сэр Франсис Вернер вскочил и окинул взглядом старинные шпалеры в поисках звонка.

— Где Эшер? — крикнул он, побледнев.

— А кто такой Эшер? — кротко спросил Хорн. — Интересно, много ли он знает?

Рука Вернера выпустила шнур сонетки, глаза его налились кровью, и, постояв минуту, он выскочил из комнаты. Фишер удалился так же, как вошёл; не найдя Эшера, он сам открыл парадную дверь и направился в город.

Вечером того же дня, прихватив с собою фонарь, он вернулся один в тёмный парк, чтобы прибавить последние звенья к цепи своих обвинений. Он многого ещё не знал, но думал, что знает, где найти недостающие сведения. Надвигалась тёмная и бурная ночь, и дыра в стене была чернее чёрного, а чаща деревьев стала ещё гуще и мрачнее. Пустынное озеро, серые урны и статуи наводили уныние даже днём, ночью же, перед бурей, казалось, что ты пришёл к Ахерону³⁵ в стране погибших душ. Осторожно ступая по камням, Фишер всё дальше и дальше углублялся в бездны тьмы, откуда уже не докричишься до страны живых. Озеро стало больше моря; чёрная, густая, вязкая вода дремала жутко и спокойно, словно смыла весь мир. Все двоилось, как в кошмаре, и Фишер очень обрадовался, что наконец дошёл до заброшенного островка. Он узнал его по нависшему над ним сверхъестественному безмолвию; ему показалось, что шёл он туда несколько лет.

Он взял себя в руки и, успокоившись, остановился под тёмным драконовым деревом, чтобы зажечь фонарь, а потом направился к двери храма. Засовы не были заложены, и ему почудилось, что дверь приоткрыта. Однако, присмотревшись, он понял, что это просто обман зрения: свет падал теперь под другим углом. Он стал внимательно исследовать ржавые болты и петли, как вдруг почувствовал, что очень близко, над самой головой, что-то есть. Что-то свисало с дерева — но то была не обломанная ветка. Он замер и похолодел, то были человеческие ноги, может быть, ноги мертвеца; но почти сразу понял, что ошибся. Человек — безусловно, живой — взмахнул ногами, прыгнул и шагнул к непрошеному гостю. В ту же секунду ожили ещё три или четыре дерева. Пять или шесть существ вывалились из странных гнезд. Ему показалось, что остров кишит обезьянами, но они бросились на него, схватили — и он понял, что это люди.

Он ударил переднего фонарем по лицу — тот упал и покатился по скользкой траве, но фонарь разбился, погас, и стало совсем темно. Второго человека Фишер швырнул о стену, и тот тоже упал. Третий и четвёртый схватили Фишера за ноги и, как он ни отбивался, понесли к двери. Даже в суматохе драки он заметил, что дверь открыта. Кто-то руководил бандитами изнутри.

Войдя в дом, они швырнули его не то на скамью, не то на кровать, но он не ушибся, а упал на мягкие подушки. Бандиты обращались с ним очень грубо, вероятно, в спешке, и не успел он приподняться, как они кинулись к двери. Кто бы ни были эти люди, они бесчинствовали с явной неохотой и хотели поскорей отделаться. У Фишера мелькнула

³⁵ Ахерон — в греческой мифологии «река вечных страданий», через которую должны переплывать души умерших.

мысль, что настоящие преступники вряд ли впали бы в такую панику. Тяжёлая дверь захлопнулась, заскрипели засовы, и застучали по камням быстрые шаги. И всё-таки Фишер успел сделать то, что хотел. Подняться он не мог, но он вытянул ногу и зацепил ею, как крюком, за лодыжку последнего из выбегавших. Тот споткнулся, опрокинулся навзничь на пол тюрьмы, и тут захлопнулась дверь. Его сообщники не сообразили в спешке, что потеряли одного из своих.

Человек вскочил и отчаянно забарабанил в дверь руками и ногами. К Фишеру вернулось чувство юмора, он сел на диван небрежно, как всегда, и, слушая, как узник дубасит в дверь тюрьмы, задумался над новой загадкой.

Если человек хочет позвать товарищей, он не только колотит в дверь, но и кричит. Этот же барабанил вонючими руками и ногами, но из горла его не вылетело ни единого звука. В чём тут дело? Сначала Фишер подумал, что ему заткнули рот, но это было нелепо. Потом ему пришла в голову другая мысль: а может, с ним немой? Он не мог понять, почему это так гнусно, но ему стало совсем не по себе. Ему было как-то жутко остаться взаперти с глухонемым, словно эта болезнь постыдна, связана с другими ужасными уродствами. Словно тот, кого он не видел в темноте, слишком страшен, чтобы выйти на свет.

И тут его озарила здравая мысль. Всё очень просто и довольно занятно. Человек молчит, потому что боится, как бы его не узнали по голосу. Он надеется уйти из этого тёмного места раньше, чем Фишер разгадает, кто он. Так кто же он? Несомненно одно: он — один из четырёх или пяти человек, с которыми Фишер имел дело в этих местах в связи с последними странными событиями.

— Интересно, кто же вы такой... — сказал он вслух, лениво и любезно, как всегда. — Вряд ли стоит вас душить, чтобы узнать это: не так уж приятно провести ночь с трупом. К тому же трупом могу оказаться и я. Спичек у меня нет, фонарь я разбил... что ж, остаётся гадать. Кто же вы такой? Подумаем.

Тот, к кому он так любезно обращался, перестал барабанировать в дверь и уныло забился в угол. Фишер тем временем продолжал:

— Может быть, вы браконьер, не признающий себя браконьером. Длинный Адам говорил, что он помещик. Надеюсь, он не посетует, если я ему скажу, что он прежде всего дурак. Можно ли рассчитывать, что Англия станет страной свободных крестьян, когда сами крестьяне заразились чванством и возомнили себя господами! Как установить демократию, если нет демократов? Вы хотите быть помещиком; вы согласны стать преступником. Знаете, в этом вы сходитесь с другим известным мне лицом. Вот я и думаю: а вдруг вы и есть это самое «лицо»?

Он замолчал. В углу сопел незнакомец, отдалённый рокот проникал в отдушину над его головой. Наконец Хорн заговорил снова:

— Может, вы только слуга — скажем, тот зловещий тип, что служил и Гокеру, и Вернеру... Если это так, вы единственный мост между ними. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы служите подлому чужеземцу, когда видели последнего из нашей знати? Такие, как вы, обычно любят Англию. Разве вы её не любите, Эшер? Наверное, моё красноречие ни к чему — вы совсем не Эшер. Скорее, вы сам Вернер. Да, на вас не стоит тратить красноречия. Вас всё равно не пристыдишь. Бесплезно бранить вас за то, что вы губите Англию, да и не вас надо бранить. Это нас, англичан, надо ругать за то, что мы пустили таких гадов на стольные места наших королей и героев. Нет, лучше не буду думать, что вы — Вернер, а то без драки не обойтись. Кем же вы ещё можете быть? Неужели вы из реформистов? Никогда не поверю, что вы — Грайс. Хотя есть у него во взгляде что-то такое одержимое... а люди идут на многое в этих подлых политических сварах. А если вы не прислужник, значит, вы... Нет, не верю. Это не красная кровь свободы и мужества. Это не знамя демократии.

Он вскочил — и в ту же секунду над решёткой прогрехотал гром. Началась гроза, и его сознание озарилось новым светом. Он знал, что сейчас случится.

— Понимаете, что это значит? — крикнул он. — Сам господь подержит мне свечку, чтоб я увидел ваше чёртовое лицо!

Оглушительно ударил гром. Но за миг до него белый свет озарил комнату на ничтожную долю секунды.

Фишер увидел две вещи: чёрный узор решетки на белом небе и лицо в углу. То было лицо его брата.

Он выговорил имя, и воцарилась тишина, более жуткая, чем мрак. Потом Гарри Фишер встал, и голос его наконец прозвучал в этой ужасной комнате.

— Ты меня видел, — сказал он, — так что можно зажечь свет. Ты мог зажечь его и раньше, вот выключатель.

Он нажал кнопку, и все вещи в комнате стали чётче, чем днём. Вещи эти, надо сказать, так поразили узника, что он забыл на минуту о своём открытии. Здесь была не камера, а, скорей, гостиная или даже будуар, если б не сигареты и вино на журнальном столике. Хорн пригляделся и понял, что вино и сигареты принесли недавно, а мебель стоит тут давно. Он заметил выцветший узор драпировки — и удивился окончательно.

— Эти вещи из того дома? — сказал он.

— Правильно, — ответил Гарри. — Я думаю, ты понял, в чём тут дело.

— Да, — сказал Хорн. — И прежде чем перейти к более важному, скажу, что же я понял. Гокер был подлец и двоежёнец. Его первая жена не умерла, когда он женился на второй. Он просто запер её тут, на острове. Здесь она родила сына: теперь он бродит вокруг и зовется Длинным Адамом. Разорившийся делец Вернер пронюхал об этом и шантажом вынудил Гокера отдать ему поместье. Всё это проще простого. Теперь перейдём к трудному. Какого чёрта ты напал на родного брата?

Генри Фишер ответил не сразу.

— Ты, наверное, не думал, что это я. Но, по совести, чего же ты мог ожидать?

— Боюсь, что я тебя не понимаю, — сказал Хорн.

— Чего ты мог ожидать, когда наломал столько дров? — заволновался Генри. — Мы все думали, что ты умный. Откуда нам знать, что ты... ну, что ты так провалишься?

— Странно, — нахмурился кандидат. — Не буду хвастать, но мне кажется, я совсем не провалился. Все митинги прошли «на ура», и мне обещали массу голосов.

— Ещё бы! — мрачно сказал Генри. — Твои дурацкие акры и коровы произвели переворот. Вернеру не получить и голоса. Всё пропало!

— О чём ты?

— О чём? Нет, ты правда не в себе? — искренне и звонко крикнул Генри. — Ты что думал, тебя и впрямь прочтат в парламент? Ты же взрослый, в конце концов! Пройти должен Вернер. Кому ж ещё? В следующую сессию он должен получить финансы, а потом повернуть египетский заём и ещё разные штуки. Мы просто хотели, чтоб ты на всякий случай расколол реформистов. Понимаешь, Хьюзу слишком повезло в Баркингтоне.

— Так... — сказал Хорн. — А ты, насколько мне известно, столп и надежда реформистов. Да, я действительно дурак.

Воззвание к партийной совести не имело успеха — столп реформистов думал о другом. Наконец он сказал не без волнения:

— Мне не хотелось тебе попадаться. Я знал, что ты расстроишься. Ты никогда бы меня не поймал, если б я не пришёл проследить, чтоб тебя не обидели. Думал устроить всё поудобней... — И голое его дрогнуло, когда он сказал: — Я нарочно купил твои любимые сигареты.

Чувства — странная штука. Нелепость этой заботы растрогала Хорна Фишера.

— Ладно, — сказал он. — Не будем об этом говорить. Ты — самый добрый подлец и ханжа из всех, кто продавал совесть ради гибели Англии. Лучше сказать не могу. Спасибо за сигареты. Я закурю, если позволишь.

К концу рассказа Марч и Фишер вошли в один из лондонских парков, сели на скамью и увидели с пригорка зелёную даль под светлым, серым небом. Могло показаться, что последние фразы не совсем вытекают из вышеизложенных событий.

— С тех пор я так и жил в этой комнате. Я и теперь в ней живу. На выборах я победил,

но не попал в парламент. Я остался там, на острове. У меня есть книги, сигареты, комфорт; я много знаю и многим занимаюсь, но ни один отзвук не долетает из склепа до внешнего мира. Там я, наверное, и умру.

И он улыбнулся, глядя на серый горизонт поверх зелёной громады парка.

БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ

В оазисе, на зелёном островке, затерянном среди красно-жёлтых песчаных морей, которые простираются далеко на восток от Европы, можно наблюдать поистине фантастические контрасты, которые, однако, характерны для подобных краев, коль скоро международные договоры превратили их в форпосты британских колонизаторов. Место, о котором пойдёт речь, широко известно среди археологов благодаря тому, что здесь есть нечто, едва ли достойное называться памятником древности, ибо представляет оно собою всего-навсего дыру, глубоко уходящую в землю. Но как бы то ни было, а это — круглая шахта, напоминающая колодец и, возможно, являющаяся частью какого-то крупного оросительного сооружения, которое построено так давно, что специалисты ожесточенно спорят, к какой же эпохе её отнести; вероятно, нет ничего древнее на этой древней земле. Чёрное устье колодца зелёным кольцом обступают пальмы и суковатые грушевые деревья; но от надземной кладки не сохранилось ничего, кроме двух массивных, потрескавшихся валунов, которые возвышаются здесь, словно столбы ворот, ведущих в никуда; в их форме, по мнению археологов, наделённых особенно богатым воображением, угадываются порой, на восходе луны или на закате солнца, когда зрителем овладевает соответствующее настроение, смутные очертания, или образы, перед которыми бледнеют даже диковинные громады Вавилона; однако археологи более прозаического склада и в более прозаическое время суток, при дневном свете, не усматривают в них ровно ничего, кроме двух бесформенных каменных глыб. Правда, необходимо отметить, что англичане в большинстве своём весьма далеки от археологии. И многие из тех, кто приехал сюда по долгу службы или для отбывания воинской повинности, увлекаются чем угодно, только не археологическими изысканиями. А стало быть, мы ничуть не погрешим против истины, если скажем, что англичане, заброшенные в эту восточную глушь, с успехом превратили песчаный участок, поросший низкорослым кустарником, в небольшое поле для игры в гольф; у одного его края находится довольно уютный клуб, а у другого — вышеупомянутая достопримечательность. И право же, игроки отнюдь не стремятся угодить мячом в эту допотопную пропасть: если верить легенде, она вообще не имеет дна, ну, а дно, которого нет, само собой разумеется, никак не может принести практической пользы. Если какой-либо спортивный снаряд попадает туда, можно считать его пропавшим в буквальном смысле слова. Но на досуге многие частенько прогуливаются вокруг этого колодца, болтают, покуривая, и только что один такой любитель прогулок пришёл из клуба к колодцу, где застал другого, который задумчиво глядел в чёрную глубину.

Оба эти англичанина были одеты совсем легко и носили белые тропические шлемы, повязанные сверху тюрбанами, но этим, собственно говоря, сходство между ними исчерпывалось. И оба почти одновременно произнесли одно и то же слово; но произнесли они его отнюдь не одинаковым тоном.

— Слыхали новость? — спросил тот, что пришёл из клуба. — Это изумительно.

— Изумительно, — повторил тот, что стоял у колодца.

Но первый произнёс это слово так, как мог бы сказать юноша о девушке; второй же — как старик о погоде: вполне искренне, но явно без особенного воодушевления.

Соответственный тон был очень характерен для каждого. Первый, некто капитан Бойл, был по-мальчишески напорист, темноволос, черты его лица выдавали природную пылкость, которая присуща не спокойной сдержанности Востока, а скорее кипящему страстями и суетному Западу. Второй был постарше и явно жил здесь уже давно; это был гражданский чиновник Хорн Фишер; его печально опущенные веки и печально поникшие усы как бы

подчеркивали неуместность пребывания англичанина на Востоке. Ему было так жарко, что в душе он ощущал лишь тоскливый холод.

Ни один не считал нужным пояснить, что же, собственно говоря, изумительно. Не было смысла попусту болтать о том, что известно всякому. Ведь о блестящей победе над могучими соединёнными силами турок и арабов, разбитых войсками, которыми командовал лорд Гастингс, ветеран многих не менее блестящих побед, кричали газеты по всей империи, и уж тем более всё было известно в этом маленьком гарнизоне, расположенном столь близко от поля битвы.

— Право, никакая другая нация на это не способна! — горячо вскричал капитан Бойл.

А Хорн Фишер по-прежнему молча глядел в колодец; немного погодя он произнёс:

— Мы и в самом деле владеем искусством не ошибаться. На этом и просчитались несчастные пруссаки. Они только и могли совершать ошибки да в них упорствовать. Поистине, чтобы не ошибаться, надо обладать особым талантом.

— Как вас понимать? — сказал Бойл. — О каких это ошибках вы говорите?

— Ну, всякий знает, ведь орешек-то был нам не по зубам, — отозвался Хорн Фишер. У мистера Фишера было обыкновение предполагать, будто всякий знает такие вещи, которые случается услышать одному человеку на миллион. — И поистине большое счастье, что Трейверс подоспел туда в самый решающий миг. Просто страшно подумать, как часто истинную победу одерживает у нас младший по чину, даже когда его начальник — великий человек. Взять хоть Колборна при Ватерлоо.

— Надо полагать, теперь мы изрядно расширили пределы империи, — заметил его собеседник.

— Да, пожалуй, Циммерны не прочь расширить их вплоть до самого канала, — произнёс Фишер задумчиво, — хотя всякий знает, что расширение пределов в наше время далеко не всегда окупается.

Капитан Бойл нахмурился в некотором недоумении. Припомнив, что он в жизни не слышал ни о каких Циммернах, он мог только обронить небрежным тоном:

— Ну, нельзя же ограничиваться только Британскими островами.

Хорн Фишер улыбнулся: улыбка у него была очень приятная.

— Всякий здесь предпочел бы ограничиться Британскими островами, — сказал он. — Все спят и видят, как бы поскорей вернуться туда.

— Право, я решительно не понимаю, о чём это вы толкуете, — сказал молодой человек, подозревая какой-то подвох. — Можно подумать, что вы отнюдь не восхищены Гастингсом и... и вообще презираете всё на свете.

— Я от него в совершенном восторге, — отозвался Фишер, — вне сомнения, более подходящего человека для такого дела найти трудно: это тонкий знаток мусульманской души, а потому он может сделать с ними всё, что ему заблагорассудится. Именно по этой причине я считаю нежелательным сталкивать его с Трейверсом, особенно после недавних событий.

— Нет, я решительно не понимаю, к чему вы клоните, — откровенно признался его собеседник.

— Собственно говоря, тут и понимать нечего, — сказал Фишер небрежным тоном, — но давайте лучше оставим разговор о политике. Кстати, знаете ли вы арабскую легенду про этот колодец?

— К сожалению, я не знаток арабских легенд, — сказал Бойл, едва сдерживаясь.

— И напрасно, — заметил Фишер, — особенно если учесть ваши взгляды. Ведь лорд Гастингс тоже в своём роде арабская легенда. Пожалуй, в этом и заключено его подлинное величие. Если он утратит свою славу, нашему могуществу во всей Азии и Африке будет нанесён немалый ущерб. Ну а про дыру в земле рассказывают, что она ведёт неведомо куда, и такая выдумка кажется мне очаровательной. Теперь легенда приобрела магометанскую окраску, но я не удивлюсь, если она восходит к глубокой древности и родилась задолго до Магомета. Повествует она про некоего султана, который прозывался Аладдин: разумеется,

не тот, который завладел волшебной лампой, но очень на него похожий; он имел дело со злыми духами, или с великанами, или ещё с кем-то вроде них. Говорят, он повелел великанам построить ему нечто наподобие пагоды, которая вознеслась бы превыше всех звёзд небесных. Словом, высочайшее для величайшего, как утверждали люди, когда строили Вавилонскую башню. Но по сравнению со стариной Аладдином, строители Вавилонской башни были покорны и кротки, как агнцы. Они хотели всего-навсего соорудить башню высотой до неба, а ведь это сущий пустяк. Он же возмечтал о башне превыше неба, пожелал, чтобы она возносилась всё вверх, вверх, до бесконечности. Но аллах поразил его громовым ударом, от которого разверзлась земля, и он полетел, пробивая в ней дыру, всё вниз, вниз, до бесконечности, отчего образовался колодец без дна, подобно задуманной им башне без вершины. И вечно низвергается с этой перевернутой башни душа султана, обуянная гордыней.

— Станный вы всё-таки человек, — сказал Бойл, — рассказываете так серьёзно, будто думаете, что кто-то поверит подобным басням.

— Быть может, я верю не в саму басню, а в её мораль, — возразил Фишер. — Но вон идёт леди Гастингс. Кажется, вы с ней знакомы?

Клуб любителей гольфа, как обычно бывает, служил не только нуждам этих любителей, но использовался также для многих иных целей, не имеющих к гольфу никакого отношения — здесь сосредоточилась светская жизнь всего гарнизона. В отличие от штаба, где преобладал сугубо военный дух, при клубе имелись бильярд, бар и даже превосходная специальная библиотека, предназначенная для тех сумасбродных офицеров, которые всерьёз относились к своим служебным обязанностям. К их числу принадлежал и сам великий полководец, чья серебристо-седая голова с бронзовым лицом, словно голова орла, отлитого из бронзы, часто склонялась над картами и толстыми фолиантами в зале библиотеки. Великий Гастингс свято верил в силу науки и знания, равно как и в прочие незыблемые жизненные идеалы; он дал немало отеческих советов по этому поводу юному Бойлу, который, однако, значительно реже своего начальника появлялся в святилище премудрости. Но на сей раз молодой офицер после одного из таких случайных занятий вышел через застеклённые двери библиотеки на поле для гольфа. Клуб, кстати сказать, был предназначен, главным образом, для того, чтобы здесь протекала светская жизнь не только мужчин, но и дам; в этой обстановке леди Гастингс играла роль королевы ничуть не хуже, чем в бальной зале своего дворца. Она была преисполнена возвышенных намерений и, как утверждали некоторые, питала возвышенную склонность к подобной роли. Эта леди была намного моложе своего супруга, очаровательная молодая женщина, чье очарование порой таило в себе нешуточную опасность; и теперь, когда она удалилась в сопровождении юного офицера, мистер Хорн Фишер проводил её глазами, пряча язвительную усмешку. Потом он перевёл скучающий взгляд на зелёные, усеянные колючками растения вблизи колодца; это были причудливые кактусы, у которых ветвистые побеги растут прямо один из другого, без веток или стеблей. При этом изощрённому его воображению представилась зловещая, нелепая растительность, лишённая смысла и облика. На Западе всякая былинка, всякий кустик достигают цветения, которое венчает их жизнь и выражает их сущность. А тут как будто руки бесцельно росли из рук же или ноги из ног, словно бы в кошмарном сне.

— Мы только и делаем, что расширяем пределы империи, — сказал он с улыбкой; потом добавил, слегка погрузнев, — но, в конце концов, я отнюдь не уверен в своей правоте.

Его рассуждения прервал зычный, но благодушный голос; он поднял голову и улыбнулся, увидев старого друга. Голос, право, был гораздо благодушней, чем лицо его обладателя, которое на первый взгляд могло показаться весьма суровым. Это было характерное лицо законоблустителя с квадратными челюстями и густыми седеющими бровями; принадлежало оно выдающемуся юристу, хотя и служившему временно при военной полиции в этом диком и глухом уголке британских владений. Катберт Грейн, пожалуй, скорее, был криминалистом, нежели адвокатом или полисменом; но здесь, в

захолустье, он с успехом справлялся за троих. Раскрытие целого ряда запутанных, совершённых с восточной хитростью преступлений помогло ему выдвинуться; но поскольку в здешних местах лишь очень немногие способны были понять или оценить страстное увлечение этой областью знаний, его тяготило духовное одиночество. В числе немногих исключений был Хорн Фишер, который обладал редкой способностью беседовать с любым человеком на любую тему.

— Ну-с, чем вы тут занимаетесь, ботаникой или, быть может, археологией? — полюбопытствовал Грейн. — Право, Фишер, мне никогда не постичь всей глубины ваших интересов. Должен сказать прямо, что то, чего вы не знаете, наверняка и знать не стоит.

— Вы ошибаетесь, — отозвался Фишер с несвойственной ему резкостью и даже горечью. — Как раз то, что я знаю, наверняка и знать не стоит. Это все тёмные стороны жизни, все тайные побуждения и грязные интриги, подкуп и шантаж, именуемые политикой. Уверяю вас, мне нечем гордиться, если я побывал на дне всех этих сточных канав, тут меня любой уличный мальчишка переплюнет.

— Как это понимать? Что с вами сегодня? — спросил его друг. — Раньше я за вами ничего такого не замечал.

— Я стыжусь самого себя, — отвечал Фишер. — Только что я окатил ледяной водой одного пылкого юношу.

— Но даже это объяснение трудно признать исчерпывающим, — заметил опытный криминалист.

— Понятное дело, в этом захолустье всякая дешёвая газетная шумиха возбуждает пылкие чувства, — продолжал Фишер, — но пора бы мне усвоить, что в столь юном возрасте иллюзии легко принять за идеалы. И, уж во всяком случае, иллюзии эти лучше, чем действительность. Но испытываешь пренеприятное чувство ответственности, когда развенчиваешь в глазах юноши идеал, пускай самый ничтожный.

— Какого же рода эта ответственность?

— Тут очень легко столь же бесповоротно толкнуть его на куда худшую дорогу, — отвечал Фишер. — Дорогу поистине бесконечную — в бездонную яму, в такую же тёмную пропасть, как вот этот Бездонный Колодец.

В ближайшие две недели Фишер не виделся со своим другом, а потом встретил его в садике, разбитом при клубе, со стороны, противоположной полю для гольфа, — в садике этом ярко пестрели и благоухали субтропические растения, озарённые заходящим солнцем. При этой встрече присутствовали ещё двое мужчин, один из которых был недавно прославившийся заместитель главнокомандующего Том Трейверс, ныне известный каждому, худощавый, темноволосый, рано состарившийся человек, чей лоб прорезала глубокая морщина, а чёрные усы устрашающе топорщились, придавая лицу свирепое выражение. Все трое пили чёрный кофе, который им подал араб, временно служивший официантом при клубе, но всем знакомый и даже почитаемый как старый слуга генерала. Звали его Саид, и он выделялся среди своих соплеменников невероятно длинным желтоватым лицом и плоским, высоким лбом, какой изредка бывает у обитателей тех мест, причём, несмотря на добродушную улыбку, он странным образом производил зловещее впечатление.

— Почему-то этот малый всегда кажется мне подозрительным, — заметил Грейн, когда слуга ушёл. — Сам понимаю, что это несправедливо, ведь он, без сомнения, горячо предан Гастингсу и далее, говорят, однажды спас ему жизнь. Но такое свойство присуще многим арабам — они хранят верность только одному человеку. Я не могу избавиться от ощущения, что всякому другому он готов перерезать глотку, и притом самым коварным образом.

— Помилуйте, — сказал Трейверс с кислой улыбкой, — коль скоро он не трогает Гастингса, прочее общественность не волнует.

Воцарилось неловкое молчание, и тут всем вспомнилась славная битва, а потом Хорн Фишер произнёс, понизив голос:

— Газеты не представляют собой общественности, Том. На этот счёт можете быть спокойны. А среди вашей общественности решительно все знают истинную правду.

— Пожалуй, сейчас нам не стоит больше говорить о генерале, — заметил Грейн. — Вон он как раз выходит из клуба.

— Но идёт не сюда, — сказал Фишер. — Он просто-напросто провожает свою благоверную до автомобиля.

И в самом деле, при этих словах из дверей клуба вышла дама, причём супруг с поспешностью опередил её и открыл перед ней садовую калитку. Она тем временем обернулась и что-то сказала человеку, который одиноко сидел в плетёном кресле за дверьми тенистой веранды, — только он и оставался в опустевшем клубе, если не считать троих, пивших кофе в саду. Фишер быстро взгляделся в тёмную дверь и узнал капитана Бойла.

В скором времени генерал вернулся и, ко всеобщему удивлению, поднимаясь по ступеням, в свою очередь, что-то сказал Бойлу. Потом он сделал знак Саиду, который проворно подал две чашки кофе, и оба они вошли в клуб, каждый с чашкой в руке. А ещё недолгое время спустя в сгущавшихся сумерках блеснул луч белого света — это в библиотеке загорелась электрическая люстра.

— Кофе в сочетании с научными исследованиями, — мрачно сказал Трейверс. — Все прелести знаний и теоретической премудрости. Ну ладно, мне пора, меня тоже ждёт работа.

Он неловко встал, распрощался со своими собеседниками и исчез в вечернем полумраке.

— Будем надеяться, что Бойл действительно увлечен научными исследованиями, — сказал Хорн Фишер. — Лично я не вполне за него спокоен. Но поговорим лучше о чём-нибудь другом.

Они разговаривали дольше, чем им, быть может, показалось, потому что уже наступила тропическая ночь и луна во всём своём великолепии заливала садик серебристым светом; но ещё до того, как в этом свете можно было что-либо разглядеть, Фишер успел заметить, как люстра в библиотеке вдруг погасла. Он ждал, что двое мужчин выйдут в сад, но никто не показывался.

— Вероятно, пошли погулять по ту сторону клуба, — сказал он.

— Очень может статься, — отозвался Грейн. — Ночь обещает быть великолепной.

Вскоре после того как это было сказано, кто-то окликнул их из тени, которую отбрасывала стена клуба, и они с удивлением увидели Трейверса, который торопливо шёл к ним, что-то выкрикивая на ходу.

— Друзья, мне нужна ваша помощь! — услышали они наконец. — Там, на поле для гольфа, случилось неладное!

Они поспешно прошли через клубную курительную и примыкавшую к ней библиотеку, словно ослепнув в прямом и переносном смысле слова. Однако Хорн Фишер, несмотря на своё напускное безразличие, обладал странным, почти непостижимым внутренним чутьём и уже понял, что произошёл не просто несчастный случай. Он наткнулся на какой-то предмет в библиотеке и вздрогнул от неожиданности: предмет двигался, хотя мебели двигаться не положено. Но эта мебель двигалась, как живая, отступала и вместе с тем противилась. Тут Грейн включил свет, и Фишер обнаружил, что просто-напросто натолкнулся на вращающуюся книжную полку, которая описала круг и сама толкнула его; но уже тогда, невольно отпрянув, он как-то подсознательно почувствовал, что здесь кроется некая зловещая тайна. Таких вращающихся полок в библиотеке было несколько, и стояли они в разных местах, на одной из них оказались две чашки с кофе, на другой — большая открытая книга, как выяснилось, это было исследование Баджа, посвященное египетским иероглифам, прекрасное издание с цветными вклейками, на которых изображены причудливые птицы и идолы. Фишеру, когда он быстро проходил мимо, показалось странным, что именно эта книга, а не какое-нибудь сочинение по военной науке, лежит здесь, раскрытая на середине. Он заметил даже просвет на полке, в ровном ряду корешков, — место, откуда её сняли, и просвет этот будто издевался над ним, как чьё-то отвратительное лицо, оскалившее щербатые зубы.

Через несколько минут они уже были на другом конце поля, у Бездонного Колодца, и в

нескольких шагах от него при лунном свете, который теперь по яркости почти не уступал дневному, они увидели то, ради чего так спешили сюда.

Великий лорд Гастингс лежал ничком, в позе странной и неподвижной, вывернув локоть согнутой руки и вцепившись длинными, костлявыми пальцами в густую, пышную траву. Неподалеку оказался Бойл, тоже недвижимый, но он стоял на четвереньках и застывшим взглядом смотрел на труп. Возможно, это всего-навсего сказалось потрясение после несчастного случая, но было что-то неуклюжее и неестественное в позе человека, стоявшего на четвереньках, и в его лице с широко раскрытыми глазами. Он словно сошёл с ума. А дальше не было ничего, только безоблачная синева знойного южного неба и край пустыни, да две потрескавшиеся каменные глыбы у колодца. При таком освещении и в этой обстановке легко могло померещиться, будто с неба смотрят огромные, жуткие лица.

Хорн Фишер наклонился и потрогал мускулистую руку, которая сжимала пучок травы, рука эта была холодна, как камень. Он опустился на колени подле тела и некоторое время внимательно его обследовал; потом встал и сказал с какой-то безысходной уверенностью:

— Лорд Гастингс мёртв.

Наступило гробовое молчание, наконец Трейверс произнёс хрипло:

— Грейн, это по вашей части. Попробуйте расспросить капитана Бойла. Он что-то бормочет, но я не понимаю ни единого слова.

Бойл кое-как совладал с собою, встал на ноги, но лицо его по-прежнему хранило выражение ужаса, словно он надел маску или самого его подменили.

— Я глядел на колодец, — сказал он, — а когда обернулся, лорд уже упал.

Лицо Грейна потемнело.

— Вы правы, это по моей части, — сказал он. — Прежде всего попрошу вас помочь мне отнести покойного в библиотеку, где я его хорошенько осмотрю.

Когда они положили труп в библиотеке, Грейн повернулся к Фишеру и сказал голосом, в котором уже снова звучала прежняя сила и уверенность.

— Сейчас я запрусь здесь и всё обследую самым тщательным образом. Прошу вас остаться при остальных и подвергнуть Бойла предварительному допросу. Сам я потолкую с ним несколько позже. И позвоните в штаб, чтобы прислали полисмента: пускай явится немедленно и ждёт, пока я его не позову.

После этого знаменитый криминалист, не тратя более слов, прошёл в освещённую библиотеку и затворил за собой дверь, а Фишер, ничего не ответив, повернулся и тихо заговорил с Трейверсом.

— Право же любопытно, — сказал он, — что это случилось именно там, у колодца.

— Очень даже любопытно, — отозвался Трейверс, — если только колодец сыграл здесь какую-то роль.

— Думается мне, — заметил Фишер, — что роль, которой он здесь не сыграл, ещё любопытней.

Высказав эту явную бессмыслицу, он повернулся к потрясённому Бойлу, взял его под руку, и они стали прохаживаться по залитому лунным светом полю, разговаривая вполголоса.

Уже занялась заря, которая подкралась как-то незаметно, и небо посветлело, когда Катберт Грейн погасил люстру в библиотеке и вышел оттуда. Фишер, угрюмый, как всегда, слонялся в одиночестве; полисмен, которого он вызвал, стоял навтыжку поодаль.

— Я попросил Трейверса проводить Бойла, — обронил Фишер небрежно. — Трейверс о нём позаботится. Ему надо хоть немного поспать.

— А удалось ли вам что-нибудь из него вытянуть? — осведомился Грейн. — Сказал он, что именно они с Гастингсом там делали?

— Да, — ответил Фишер, — он всё объяснил вполне вразумительно. По его словам выходит, что, когда леди Гастингс уехала в автомобиле, генерал предложил ему выпить кофе в библиотеке и заодно навести кое-какие справки о здешних древностях. Бойл стал искать книгу Баджа на одной из вращающихся полок, но тут генерал сам нашёл её на стеллаже.

Просмотрев несколько рисунков, они вышли, пожалуй, несколько внезапно, на поле для гольфа и пошли к древнему колодцу. Бойл заглянул в колодец, но вдруг услышал у себя за спиной глухой удар; он обернулся и увидел, что генерал лежит на том самом месте, где мы его нашли. Он быстро опустился на колени, чтобы осмотреть тело, но его сковал ужас, и он не мог ни приблизиться, ни прикоснуться к покойнику. Я не нахожу тут ничего удивительного: людей, потрясённых неожиданностью, порой находят в самых нелепых позах.

Грейн выслушал его внимательно, с мрачной улыбкой, помолчал немного, потом заметил:

— Ну, он вам изрядно наврал. Разумеется, это достохвально чёткое и последовательное изложение случившегося, но о самом важном он умолчал.

— Вы там что-нибудь выяснили? — спросил Фишер.

— Решительно всё, — ответил Грейн.

Некоторое время Фишер угрюмо молчал, а его собеседник продолжал толковать тихим, уверенным тоном:

— Вы были совершенно правы, Фишер, когда сказали, что этот юноша может сбиться с пути и очутиться на краю пропасти. Имеет или нет какое-либо отношение к этому делу влияние, которое вы, как вам кажется, на него оказали, но с некоторых пор Бойл переменил своё отношение к генералу в худшую сторону. Это пренеприятная история, и я не хочу тут особенно распространяться, но совершенно ясно, что и супруга генерала относилась к мужу без особой благосклонности. Не знаю, как далеко у них зашло, но, во всяком случае, они всё скрывали: ведь леди Гастингс сегодня заговорила с Бойлом, дабы сообщить ему, что она спрятала в книге Баджа записку. Генерал слышал эти её слова или же узнал об этом ещё каким-то образом, немедленно взял книгу и нашёл записку. Из-за этой записки он повздорил с Бойлом, и, само собой, сцена была весьма бурная. А Бойлу предстояло ещё другое — ему предстояло сделать ужасный выбор: сохранить старику жизнь было для него равносильно гибели, а убить его значило восторжествовать и даже обрести счастье.

— Что ж, — промолвил Фишер, поразмыслив. — Я не могу винить его за то, что он предпочел не замешивать женщину в эту историю. Но как вы узнали про записку?

— Обнаружил её у покойного генерала, — ответил Грейн. — А заодно я обнаружил и кое-что похуже. Тело лежало в такой позе, которая свидетельствует об отравлении неким азиатским ядом. Поэтому я осмотрел чашки с кофе, и моих познаний в химии оказалось достаточно, чтобы найти яд в гуще на дне одной из них. Стало быть, генерал подошёл прямо к полке, оставив свою чашку с кофе на стеллаже. Когда он повернулся спиной, Бойл сделал вид, будто рассматривает книги, и мог спокойно сделать с чашками всё что угодно. Яд начинает действовать минут через десять, и за эти десять минут оба как раз успели дойти до Бездонного Колодца.

— Так, — сказал Хорн Фишер. — Ну а при чём же тут Бездонный Колодец?

— Вы хотите доискаться, какое отношение к этому делу имеет Бездонный Колодец? — осведомился его друг.

— Ровно никакого, — решительно заявил Фишер. — Это представляется мне совершенно бессмысленным и невероятным.

— А почему, собственно, эта дыра вообще должна иметь какое-либо отношение к делу?

— Именно эта дыра в данном случае имеет особое значение, — сказал Фигнер. — Но сейчас я не буду ни на чём настаивать. Кстати, мне нужно сообщить вам кое-что ещё. Как я уже говорил, я отослал Бойла домой под присмотром Трейверса. Но в равной мере можно сказать, что я отослал Трейверса под присмотром Бойла.

— Неужели вы подозреваете Тома Трейверса? — воскликнул Грейн.

— У него гораздо больше причин ненавидеть генерала, чем у Бойла, — отозвался Хорн Фишер с каким-то странным бесстрашием.

— Дружище, неужели вы это серьёзно? — вскричал Грейн. — Говорю вам, я обнаружил яд в одной из чашек.

— Само собой, тут не обошлось без Саида, — продолжал Фишер. — Он сделал это из ненависти, или, быть может, его подкупили. Мы же недавно согласились, что он, в сущности, способен на всё.

— Но мы согласились также, что он не способен причинить зла своему хозяину, — возразил Грейн.

— Ну полно вам, в самом-то деле, — добродушно сказал Фишер. — Готов признать, что вы правы, но всё-таки я хотел бы осмотреть библиотеку и кофейные чашки.

Он вошёл в дверь, а Грейн повернулся к полисмену, по-прежнему стоявшему навтыжку, и дал ему торопливо нацарапанную телеграмму, которую следовало отправить из штаба. Полисмен козырнул и поспешно удалился. Грейн пошёл в библиотеку, где застал своего друга у стеллажа, на котором стояли пустые чашки.

— Вот здесь Бойл искал книгу Баджа или делал вид, будто ищет её, если принять вашу версию, — сказал он.

С этими словами Фишер присел на корточки и стал осматривать книги на вращающейся полке; полка эта была не выше обычного стола. Через мгновение он подскочил, как ужаленный.

— Боже правый! — вскричал он.

Очень немногие, если вообще были такие люди, видели, чтобы мистер Хорн Фишер вёл себя, как в эту минуту. Он метнул взгляд в сторону двери, убедился, что отворённое окно ближе, выскочил через него одним гигантским прыжком, словно взяв барьер, и устремился, как будто на состязании в беге, по лужайке вслед за полисменом. Грейн, с недоумением проводив его глазами, вскоре снова увидел высокую фигуру Фишера, который лениво брел назад со свойственным ему спокойным равнодушием. Он флегматично обмахивался листком бумаги: это была телеграмма, каковую он с такой поспешностью перехватил.

— К счастью, я успел вовремя, — сказал он. — Надо спрятать все концы в воду. Пускай считают, что Гастингс умер от апоплексии или от разрыва сердца.

— Но в чём дело, чёрт побери? — спросил его друг.

— Дело в том, — отвечал Фишер, — что через несколько дней мы окажемся перед хорошеньким выбором: либо придётся отправить на виселицу ни в чём не повинного человека, либо Британская империя полетит в преисподнюю.

— Уж не хотите ли вы сказать, — осведомился Грейн, — что это дьявольское преступление останется безнаказанным?

Фишер пристально поглядел ему в глаза.

— Наказание уже совершилось, — произнёс он И добавил после недолгого молчания: — Вы восстановили последовательность событий с поразительным искусством, старина, и почти всё, о чём вы мне говорили, истинная правда. Двое с чашками кофе действительно вошли в библиотеку, поставили чашки на стеллаж, а потом вместе отправились к колодцу, причём один из них был убийцей и подсыпал яду в чашку другому. Но сделано это было не в то время, когда Бойл рассматривал книги на вращающейся полке. Правда, он действительно их рассматривал, искал сочинение Баджа со вложенной туда запиской, но я полагаю, что Гастингс уже переставил его на стеллаж. Одним из условий этой зловещей игры было то, что сначала он должен был найти книгу.

А как обычно ищут книгу на вращающейся полке? Никто не станет прыгать вокруг неё на четвереньках, подобно лягушке. Полку попросту толкают, чтобы она повернулась.

С этими словами он поглядел на дверь и нахмурился, причём под его тяжёлыми веками блеснул огонёк, который не часто можно было увидеть. Затаённое мистическое чувство, сокрытое под циничной внешностью, пробудилось и шевельнулось в глубине его души. Голос неожиданно зазвучал по-иному, с выразительными интонациями, словно говорил не один человек, а сразу двое.

— Вот что сделал Бойл: он легонько толкнул полку, и она начала вращаться, незаметно, как земной шар. Да, весьма похоже на то, как вращается земной шар, ибо не рука Бойла направляла вращение. Бог, который предначертал орбиты всех небесных светил, коснулся

этой полки, и она описала круг, дабы совершилась справедливая кара.

— Теперь наконец, — сказал Грейн, — я начинаю смутно догадываться, о чём вы говорите, и это приводит меня в ужас.

— Всё проще простого, — сказал Фишер. — Когда Бойл выпрямился, случилось нечто, чего не заметил ни он, ни его недруг и вообще никто. А именно: две чашки кофе поменялись местами.

На каменном лице Грейна застыл безмолвный страх; ни один мускул не дрогнул, но заговорил он едва слышно, упавшим голосом.

— Понимаю, — сказал он. — Вы правы, чем меньше будет огласки, тем лучше. Не любовник хотел избавиться от мужа, а... получилось совсем иное. И если станет известно, что такой человек решился на такое преступление, это погубит всех нас. Вы заподозрили истину с самого начала?

— Бездонный Колодец, как я вам уже говорил, — спокойно отвечал Фишер, — смущал меня с первой минуты, но отнюдь не потому, что он имеет к этому какое-то отношение, а именно потому, что он к этому никакого отношения не имеет.

Он умолк, словно взвешивая свои слова, потом продолжал;

— Когда убийца знает, что через десять минут недруг будет мёртв, и приводит его к бездонной дыре, он наверняка задумал бросить туда труп. Что ещё может он сделать? Даже у безмозглого чурбана хватило бы соображения так поступить, а Бойл далеко не глуп. Так почему же Бойл этого не сделал? Чем больше я об этом раздумывал, тем сильнее подозревал, что при убийстве произошла какая-то ошибка. Один привёл другого к колодцу с намерением бросить туда его бездыханный труп. У меня уже была тогда смутная и тягостная догадка, что роли переменились или перепутались, а когда я сам приблизился к полке и случайно повернул её, мне вдруг сразу всё стало ясно, потому что обе чашки снова описали круг, как луна на небе.

После долгого молчания Катберт Грейн спросил:

— А что же мы скажем газетным репортёрам?

— Сегодня из Каира приезжает мой друг Гарольд Марч, — ответил Фишер. — Это очень известный и преуспевающий журналист. Но при всём том он человек в высшей степени порядочный, так что незачем даже открывать ему правду.

Через полчаса Фишер снова расхаживал взад-вперёд у дверей клуба вместе с капитаном Бойлом, у которого теперь был окончательно ошеломлённый и растерянный вид; пожалуй, это был вконец разочарованный и умудрённый опытом человек.

— Что же со мной станется? — спрашивал он. — Падёт ли на меня подозрение? Или я буду оправдан?

— Надеюсь и даже уверен, — отвечал Фишер, — что вас ни в чём и не заподозрят. А насчёт оправдания не может быть и речи. Ведь против него не должно возникнуть даже тени подозрения, а стало быть, и против вас тоже. Малейшее подозрение против него, не говоря уж о газетной шумихе, и всех нас загонят с Мальты прямоком в Мандалей. Ведь он был героем и грозой мусульман. Право, его вполне можно назвать мусульманским героем на службе у Британской империи. Разумеется, он так успешно справлялся с ними благодаря тому, что в жилах у него была примесь мусульманской крови, которая досталась ему от матери, танцовщицы из Дамаска, это известно всякому.

— Да, — откликнулся Бойл, как эхо, глядя на Фишера округлившимися глазами. — Это известно всякому.

— Смею думать, что это нашло выражение в его ревности и мстительной злобе, — продолжал Фишер. — Но как бы там ни было, раскрытие совершившегося преступления бесповоротно подорвало бы наше влияние среди арабов, тем более что в известном смысле это было преступление, совершённое вопреки гостеприимству. Вам оно отвратительно, а меня ужасает до глубины души. Но есть вещи, которые никак нельзя допустить, чёрт бы их взял, и пока я жив, этого не будет.

— Как вас понимать? — спросил Бойл, глядя на него с любопытством. — Вам-то что за

дело до всего этого?

Хорн Фишер посмотрел на юношу загадочным взглядом.

— Вероятно, суть в том, что я считаю для нас необходимым ограничиться Британскими островами.

— Я решительно не могу вас понять, когда вы ведёте такие речи, — сказал Бойл неуверенно.

— Неужели, по-вашему, Англия так мала, — отозвался Фишер, и в его холодном голосе зазвучали тёплые нотки, — что не может оказать поддержку человеку на расстоянии нескольких тысяч миль? Вы прочли мне длинную проповедь о патриотических идеалах, мой юный друг, а теперь мы должны проявить свой патриотизм на практике, и никакая ложь нам не поможет. Вы говорили так, будто за нами правота во всём мире и впереди полное торжество, которое увенчают победы Гастингса. А я уверяю вас, что нет здесь за нами никакой правоты, кроме Гастингса. Вот единственное имя, которое нам оставалось твердить как заклинание, но и это не выход из положения, нет, чёрт побери! Чего уж хуже, если шайка проклятых дельцов загнала нас сюда, где ничто не служит интересам Англии, и все силы ада восстанут против нас просто потому, что Длинноносый Циммерн ссудил деньгами половину кабинета министров. Чего хуже, когда старый ростовщик из Багдада заставляет нас воевать ради своей выгоды: мы не можем воевать, после того как нам отсеки правую руку. Единственным нашим козырем был Гастингс, а также победа, которую в действительности одержал не он, а некто другой. Но пострадать пришлось Тому Трейверсу и вам тоже.

Он помолчал немного, потом указал на Бездонный Колодец и продолжал уже более спокойным тоном.

— Я вам говорил, — сказал он, — что не верю в мудрёные выдумки насчёт башни Аладдина. Я не верю в империю, которую можно возвысить до небес. Я не верю, что английский флаг можно возносить всё ввысь и ввысь, как Вавилонскую башню. Но если вы думаете, будто я допущу, чтобы этот флаг вечно летел вниз всё глубже и глубже, в Бездонный Колодец, во мрак бездонной пропасти, в глубины поражений и измен, под насмешки тех самых дельцов, которые высосали из нас все соки, — нет уж, этого я не допущу, смею заверить, даже если лорд-канцлера будут шантажировать два десятка миллионеров со всеми их грязными интригами, даже если премьер-министр женится на двух десятках дочерей американских ростовщиков, даже если Вудвилл и Карстерс завладеют пакетами акций двух десятков рудников и станут на них спекулировать. Если положение действительно шаткое, надо положиться на волю божию, но не нам это положение подрывать.

Бойл смотрел на Фишера в изумлении, которое граничило со страхом и даже с некоторым отвращением.

— А всё-таки, — сказал он, — есть что-то ужасное в делах, которые вы знаете.

— Да, есть, — согласился Хорн Фишер. — И меня вовсе не радуют мои скромные сведения и соображения. Но поскольку в известной мере именно они могут спасти вас от виселицы, не думаю, чтобы у вас были основания для недовольства.

Тут, словно устыдившись этой своей похвальбы, он повернулся и пошёл к Бездонному Колодцу.